

ВАДИМ
ВОЙКО

ПОСЛЕ
КАЗНИ



- -
 -
 - [Слово после казни](#)
 -
 - [Я уже умер?](#)
 - [Настоящий немецкий порядок](#)
 - [«Посетители, будьте взаимно вежливы!»](#)
 - [Процесс длился не более 15 минут](#)
 - [«Тихая ночь, святая ночь»](#)
 - [50 кг женских волос стоили 50 марок](#)
 - [Театр абсурда](#)
 - [Божественная рука](#)
-



ВАДИМ БОЙКО

«ПОСЛЕ КАЗНИ»

документальная повесть
 литературная запись Николай Сидоренко
 перевод с украинского Татьяна Стах
 художник А.Сухоруков

Книга сканирована по изданию:
 Москва «Молодая гвардия» 1975
 Б 70803-155

078(02)-75

148-75

тираж 150 000

OCR и вычитка Инклер

**ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА,
 УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ
 АВТОР ПОСВЯЩАЕТ ЭТУ КНИГУ**

От автора

Из десятков миллионов людей в фашистских тюрьмах и лагерях смерти выжили немногие. Одним из них оказался и я.

Попав впервые в концлагерь, я дал себе клятву: выжить! Выжить, чтобы рассказать людям о чудовищных злодеяниях фашизма.

Книга эта рождалась в муках, она написана кровью моего сердца. Я искал беспощадные, острые как бритва слова и не находил. Рвал написанное и начинал заново. Я писал ночи напролет, а утром, забыв о завтраке, бежал на работу. С работы спешил домой, садился за стол и писал, писал... Это был мой неоплатный долг перед погибшими...

В моем повествовании нет ни выдуманных событий, ни выдуманных имен, хотя, возможно, то, о чем я рассказываю, может показаться невероятным. Но все это было! Пепел замученных стучит в мое сердце. Это обязывает писать правду, и только правду.

Меня расстреляли 28 июня 1943 года, в час ночи, в подвале гестаповской тюрьмы в Кракове. Я беру слово после казни.

Прежде чем начать свой рассказ, хочу выразить сердечную признательность бывшим узникам гитлеровских концлагерей, участникам движения Сопротивления,— Логачову Павлу Антоновичу, Гайко Петру Алексеевичу, Чернышеву Михаилу Ивановичу, Королеву Валентину Архиповичу, Алексеенко Ивану Петровичу, Янковскому Михаилу Сергеевичу, Кравчуку Ивану Кирилловичу, Шевченко Петру Ивановичу, Яцюку Анатолию Федоровичу, Рудас Ольге Ивановне, Сукало Валентине Романовне, Терещенко Ивану Дмитриевичу, Искре Дмитрию Федоровичу, Сердюк Марии Еремовне, Малёванному Петру Федосеевичу, Збаржевскому Борису Андреевичу, Мартыненко Алексею Александровичу, Смыку Ивану Йосифовичу, Козунице Николаю Дмитриевичу, Козлову Владимиру Никифоровичу, Коротун Марии Николаевне, Вовку Степану Ивановичу, Педану Анатолию Александровичу, Стецюку Василию Саввичу, Подолинному Ивану Серафимовичу, Бондарю Василию Трофимовичу, Кузьменко Игнату Остаповичу, Лищуку Демьяну Кузьмичу, Антоненко Ивану Кирилловичу, Болотову Евгению Ивановичу, Мамоте Ивану Максимовичу, Романенко Наталии Йосифовне, Шрамко Валентину Ксенофоновичу, Гребенюку Павлу Федоровичу, Старинщук Валентине Терентьевне, Форысь Анне Гавриловне, Дубнику Михаилу Ильичу, Левчишину Парфену Васильевичу, Клименко Андрею Тимофеевичу.

Они помогли мне советом, морально поддержали меня. Великое им спасибо!

Выражаю также глубокую благодарность коллективам и отдельным

товарищам, приславшим в редакции газет и журналов взволнованные отзывы на эту книгу, вышедшую на украинском языке.

БОЙТЕН

Глава 1



Прошло тринадцать месяцев с той поры, как меня, шестнадцатилетнего подростка из украинского городка Сквиры, схватили на улице и насильственно вывезли в Германию. За это время я совершил шесть побегов, но, к сожалению, все они кончались неудачей. Я крался балками, оврагами, перелесками, ужом полз по чужой земле, помня, что малейшая оплошность может стоить жизни. Превозмогая сомнения, отчаяние и страх, упорно пробирался на восток и... вновь попадался.

В тюрьмах фашистского рейха с утомительным однообразием повторялось одно и то же: меня фотографировали, брали отпечатки пальцев, допрашивали, пытали. Я успел побывать в тюрьмах Лейпцига, Берлина, Франкфурта-на-Майне, Дрездена, Бреслау, Гинденбурга, Кройцбурга и Бойтена.

Восточный фронт требовал новых и новых дивизий. В Германии проводились тотальные мобилизации, и промышленность остро нуждалась в рабочих руках, поэтому пленников, бежавших из лагерей, в тюрьмах долго не держали. Там их только «обрабатывали», стремясь выбить из них даже мысль о новом побеге, а затем отправляли на работы.

И все-таки мне везло: я не угодил на виселицу и, вопреки всему, остался жив. И я не собирался сдаваться. Я верил: рано или поздно судьба улыбнется мне, я обойду все западни, все преграды и вернусь на Родину. Она казалась невероятно далекой, но жила в моем сознании во сне и наяву, и страстное желание возвращения было куда мучительнее, чем гестаповские пытки. В моем мозгу роились все новые и новые планы побегов, начиная от самых простых и кончая самыми фантастическими, которые все же казались реальными и осуществимыми. Вспоминая детали облав и погонь, я неизбежно приходил к выводу, что, если бы не чистая

случайность, незначительная оплошность — и первый, и третий, и последний побег, по крайней мере один из них, несомненно, удался бы.

Читатель спросит: как могло случиться, что меня шесть раз ловили и все-таки не казнили? Дело в том, что на допросах я неизменно держался одной и той же версии: меня везли в Германию, по дороге отстал от эшелона.

Следователи обычно спрашивали: каким образом? Разве эшелон не охранялся? На это у меня был заготовлен ответ: «Охранялся, но меня мучила жажда, и, когда на одной из станций часовой зазевался, я выскочил из вагона и бросился искать воду. Поезд ушел, а я, боясь наказания, к властям не обращался... и побирался, пока не задержали...»

Конечно, выручало и то, что выглядел я совсем жалким мальчонкой. В свои шестнадцать лет я выдавал себя за четырнадцатилетнего сироту, вывезенного из оставленного всеми детского дома. Очевидно, я неплохо играл роль забитого, несчастного беспризорника, у которого на уме было одно: поесть. На допросах, как бы меня ни истязали, я твердо придерживался этой версии и никогда не путался в показаниях. Фамилию, разумеется, каждый раз называл вымышленную. Кроме всего, «сироте» действительно везло.

Обычно попадался далеко от места побега, а производить тщательное расследование через начальство многочисленных тюрем и лагерей, сверять личность мальчишки у полиции не было ни времени, ни особого желания. Проваландавшись со мной две-три недели, гитлеровцы спрашивали меня в ближайший по месту концлагерь.

Шестой раз я был схвачен полицейскими в Силезии, близ города Бойтена, и, как всегда, водворен в тюрьму. Однажды после двухнедельного заключения нас вывели во двор, где уже была построена сотня узников-русских. Началась процедура пересчитывания и выравнивания рядов, мелькали резиновые дубинки тюремщиков, раздавались стоны и вопли узников. Это продолжалось около часа. Наконец появилось тюремное начальство и объявило решение прокурора: всех нас как преступников, не захотевших работать на «Великую Германию», посылают на тяжелые исправительные работы в шахты до победного завершения войны.

Колонну под усиленным конвоем вывели на улицу. Разглядываю узников, с которыми отныне у меня общая судьба. Все они истощены, измучены до предела, одеты в грязное тряпье, у большинства — следы от побоев.

Конец мая. Щедро светит солнце, пахнет молодой листвой и теплой землей. Идем по улицам Бойтена, подставляя лица животворному потоку

тепла и света. От слабости и истощения кружится голова.

О том, что ожидает нас, думать не хотелось. Такова, видимо, природа человека — он всегда надеется на лучшее.

В Бойтене было много заводов и шахт. Высоко в небе висели аэростаты воздушного заграждения.

На площади, среди маскировочных щитов — длинные стволы зениток. На лицах жителей — тревога, озабоченность, усталость. Как оказалось, авиация союзников изредка, правда, но бомбила и Бойтен.

Всматриваясь в лица прохожих, я был уверен, что безошибочно отличу среди немцев поляка. Польша была рядом. А среди поляков найдется, наверное, не один, который ненавидит гитлеровцев и подаст руку помощи беглецу из фашистской неволи. Я не зря рисковал — ведь дошел же я до Польши! Еще один побег — и воля. Кто-кто, а поляки не выдадут меня. Разыщу партизанский отряд и «отблагодарю» фашистов за все свои страдания и муки. Только бы посчастливилось...

Город выглядел довольно мрачно. Всюду, куда ни кинь взгляд, терриконы шахт, копры, громоздкие промышленные сооружения из серого и красного кирпича, аккуратные кагаты антрацита, огромные движущиеся краны, трубы, эстакады. По рельсам, дымя и сигналив, снуют паровозы, подгоняя пульманы под шахтные бункеры, из которых вырываются черные потоки угля, наполняя вагон за вагоном. Все здесь угрюмо и хмуро: дома, покрашенные в унылые грязно-серые тона, маленькие, стандартно квадратные пруды, окруженные тяжелыми каменными оградами, памятники немецким полководцам. Общий вид города производил угнетающее впечатление казармы. Гитлеровцы превратили Бойтен в военно-промышленный центр, работающий исключительно на войну.

Несмотря на воскресный день, улицы были пустынные. Лишь изредка проходили колонны советских, английских и французских военнопленных. Нас поражала разница в их внешнем облике. Англичане и французы — особенно офицеры — выглядели отлично: упитанные, бритые, чисто одетые в шерстяную, тщательно отутюженную форму. Их сопровождали два-три конвоира.

И совершенно иное зрелище представляли колонны советских военнопленных, окруженные усиленным конвоем. Их вид ужасал даже нас: крайне истощенные, на лицах кровоподтеки, язвы или кровоточащие раны, изредка перевязанные грязными тряпками. Одетые в истлевшие красноармейские галифе и гимнастерки (без единой пуговицы и ремней!), они были похожи на мертвецов, случайно задержавшихся на этой земле. Шли понуро, тяжело волоча отекавшие от голода, обутые в деревянные

колодки ноги. На спине у каждого, как клеймо страданий, выведено было большими желтыми буквами SU), что означало «Soviet union». Эти шахтеры Бойтена только что поднялись из черных каторжных подземелий. Их печальное шествие наполняло душу болью и тоской.

В зеленом скверике гуляла молодая холеная немка с ребенком лет пяти. Нарядная девочка, казалось, излучала тихое счастье. На ней была белоснежная пелеринка, белые гольфы со шнурками и пушистыми шариками, крохотные туфельки. Волна льняных кудряшек, опавших на плечи, и большие голубые банты оттеняли васильковый цвет ее глаз. Она чем-то напоминала красивую порхающую бабочку. Заключенные зачарованно смотрели на них, и, наверное, не один с горькой болью вспомнил свою жену, детей...

— Куда они идут? — спросила девочка.

— Это русские бандиты. Их ведут в тюрьму, — ответила женщина. — Там их посадят за решетку, чтобы они не причиняли людям зла.

Девочка испуганно спряталась за мать. Ее глаза-васильки смотрели уже настороженно, недоверчиво, омрачилось беленькое личико. Если б она только знала, как оскорбительно и больно было слушать нам эту мерзкую ложь! Я впервые пожалел, что понимаю их речь. Почему-то вспомнилась старая немка, которая часто подходила к ограде детского лагеря во Франкфурте-на-Майне, показывая сквозь проволоку кусок хлеба. Как только кто-то из ребят протягивал руку, она старалась ткнуть ему в лицо палкой и при этом шипела: «Русише швайн». Ее морщинистое лицо искажала гримаса лютой злобы. Мы прозвали ее змеей.

— Лос, лос, ферфлюхте швайне!* — крикнул один из конвоиров и стал подгонять невольников резиновой дубинкой. Один удар пришелся и на мою долю — тупой болью заныла ключица, глаза затуманились слезами.

* Быстрее, быстрее, проклятые свиньи! (нем.).

С барабанным боем, горланя песни, навстречу колонне шел отряд гитлерюгенда. Наглые, лихие юнцы были одеты в желтую форму: короткие — до колен — штаны, рубашки со свастикой на рукавах, пилотки с фашистскими эмблемами. На поясе у каждого болтался кинжал, а командиры отделений были вооружены пистолетами. Возглавлял колонну щеголеватый офицерик лет двадцати. Когда расстояние между нами уменьшилось, он подал команду, и желторотики с гиканьем, улюлюканьем и свистом рассыпались по улице. В нашу колонну полетели камни, куски угольного шлака, щебень. Юные гитлеровцы, ошалело размахивая кинжалами, бросились на нас. Строй колонны нарушился. Невозможно было укрыться от града сыпавшихся на нас камней. Один угодил в

конвоира. Он подбежал к офицеру и что-то сердито сказал. Тот кивнул своему горнисту. Затрубил горн, затрещали барабаны, и лихие юнцы поспешно построились.

Воздух сотрясло: «Хайль Гитлер!»

— Хайль! Хайль! Хайль!— в истерике захлебывались гитлерюгендовцы.

— У-у, собаки! — не сдержался высокий, сутуловатый узник, вытирая кровь с лица.

— Нет, голубь мой, не то слово, — рассудительно сказал его сосед. — Собака — друг человека, а эти...

— Им глайшрит марш!*— скомандовал офицер.

*Шагом марш! (нем.).

Еще сильнее затарахтели барабаны. Бравое воинство удалялось с таким видом, будто и в самом деле одержало боевую победу. Вскоре они затянули «Марш гитлерюгенда» и скрылись за поворотом.

Так встретил нас Бойтен, последний немецкий город, за окраинами которого в 1939 году проходила государственная граница между Германией и Польшей.

Мой сосед, пожилой человек, о котором я успел перебраться несколькими словами, тронув меня за локоть, сказал:

— Так готовят кадры убийц. Сначала учат бросать камни в беззащитных людей, а затем стрелять им в затылок.

Нашим глазам открылась высоченная, из красного кирпича, башня. Формой она напоминала гигантский молот, поставленный вертикально ручкой вниз. На верху сооружения ярко блестели на солнце метровые готические буквы из нержавеющей стали: «Гогенцоллернгрубе».

— Что означает эта надпись: «Гогенцоллернгрубе»?— спросил я у соседа.

— «Грубе»— «шахта», а Гогенцоллерн — династия самых крупных немецких капиталистов. Когда-то им принадлежали почти все шахты Силезии.

— Откуда вы все это знаете?

— Видишь ли, парень, в свое время я немного интересовался историей.

Скрипнули, качнулись створки массивных ворот, и колонна начала втягиваться на территорию шахты, обнесенную со всех сторон колючей проволокой. Возле пятиэтажного здания — это была контора — нас остановили. Прямо передо мной на стене висел огромный щит с десятками приказов, распоряжений, объявлений, инструкций. Я стоял в двух шагах от

него и мог свободно прочесть напечатанные тексты. Мое внимание привлекла обведенная траурной каемкой листовка-некролог с портретом молодого немецкого обер-лейтенанта Зигфрида Гоппе, который прославил себя «необычайными подвигами» во имя «Великой Германии». Здесь же я прочел еще один любопытный документ. Местная организация фашистской партии и администрация шахты выражали сочувствие своему руководителю и обер-инженеру Паулю Гоппе в связи с гибелью на Восточном фронте уже второго его сына. «Дорогой Гоппе! Будьте мужественны и гордитесь! Ваши сыновья отдали свою жизнь за фюрера и фатерлянд!»— говорилось в послании.

Работая на заводах Германии, я не раз видел подобные некрологи, администрация с немецкой педантичностью вывешивала их ежедневно на досках объявлений.

Тем временем из конторы вышли несколько немцев во главе с низеньким хромым стариком. Он опирался на палку с набалдашником в виде металлического молоточка. Таким молоточком железнодорожники выстукивают бандажи колес. Судя по всему, старик был важной птицей.

Немцы пропустили его вперед, подобострастно обнажая головы и кланяясь. Старик был хил, сутул, с дряблыми отвисшими щеками и вспухшими венами на висках. Глубоко посаженные глаза с воспаленными белками смотрели презрительно и зло. Несмотря на преклонный возраст, старик очень напоминал лицом обер-лейтенанта Зигфрида Гоппе. Значок на лацкане и траурная повязка на рукаве подтвердили мою догадку.

— Ахтунг!— неожиданно воскликнул начальник конвоя и подбежал к старику:— Герр обер-инженер! Сто русских заключенных доставлены в ваше распоряжение!

Обер-инженер небрежно выбросил руку в нацистском приветствии и медленно прошел мимо рапортовавшего, не удостоив последнего даже взглядом. Колючие глаза старика скользнули по нашим рядам и остановились на одном узнике в первой шеренге. Подойдя ближе, Гоппе несколько раз размашисто ударил его своим молоточком. Сухие, костлявые руки тряслись, как в лихорадке, обвислые щеки покрылись розовыми пятнами, лицо исказилось злобой:

— Эти свиньи не умеют стоять в строю! — прохрипел он, задыхаясь. — Посадите его в карцер на двое суток без пищи и воды. И займитесь ими как следует,— приказал он офицеру из своей свиты.— На разгрузку леса! Вагоны очистить к восьми вечера, а с утра этих свиней — в первую смену, в забой. Выполняйте!

Нас повели в глубину территории.

— Вот хромая холера! — пробурчал кто-то позади.— Ну и паук!
Кличка Хромой так и осталась за Гоппе.

В тупике стояли вагоны с крепежным лесом — сырыми сосновыми кругляками. Прозвучал сигнал — и работа началась. Надрываясь, мы перетаскивали их, складывая в штабеля. И если кто-нибудь на мгновение делал передышку, сразу раздавался грозный окрик часового: «Лос! Лос!»* Только в двенадцать ночи чуть живых нас погнали в лагерь. Он был рядом. Я увидел густую паутину колючей проволоки высотой в добрых пять метров, яркую полосу освещения, вышки с часовыми и понял, что бежать отсюда будет нелегко.

* Скорей! Скорей! (нем.).

Пропуская через ворота, нас считали ударами резиновых дубинок. Лагерь оказался всего на шесть барачков. Два, последние от ворот, были уже заселены. Остальные пока пустовали.

В бараке было душно, несло плесенью и запахом прелой соломы. Я поспешил занять место на нарах рядом с пожилым пленным, с которым успел познакомиться в колонне.

— Отмучились еще один день,— сказал он устало,— а поесть не дали, твари! Вот такая, земляк, невеселая наша жизнь!

Я придвинулся к нему поближе.

— Дяденька, а как вас звать?

— Зови дядей Петром, а фамилия моя Кравчук. Да она тут ни к чему.

— Послушайте, дядя Петр,— шепчу я ему на ухо,— а что, если...

— Бежать?— спросил он едва слышно.— Эх, голубок ты мой, пока что забудь и думать об этом...

Глава 2

От удара дубинкой я как ошпаренный срываюсь с нар.

В бараке невероятная суматоха.

— Ауфштеен, ферфлюхтес швайне!*— орут веркшютц-полицаи.

* Вставайте, проклятые свиньи! (нем.).

Сонных узников выгоняют на поверку — апель. Четыре часа утра. На востоке едва брезжит рассвет. Со станции доносятся гудки маневровых паровозов; слышно, как из бункеров с грохотом сыплется в вагоны уголь. Шахта работает непрерывно день и ночь. Она нас ждет. У меня после вчерашнего ноет все тело и ломит поясницу. В животе тупая боль. Прохладно. Поеживаясь и зевая, мы стоим в строю. У некоторых закрыты глаза — досыпают.

Наконец пересчитывание закончено, и нам разрешают отлучиться в уборную. Тут несусветная толчея, а возле единственного крана с водой —

молчаливая давка. Те, кому удалось плеснуть себе в лицо водой, вытираются рукавами тюремного халата. Полотенец и мыла нет, да нам они и не полагаются, ведь мы только «швайне». У нас только одно право — безропотно умирать.

Свисток — снова стройся, снова замелькали дубинки. Привезли завтрак — брюквенную бурду. Нам выдают жестяные миски, и в них по черпаку горького, вонючего пойла. Стоя в строю, глотаем эти помои, сдаем миски и с тоской посматриваем на пустые бачки. Под конвоем идем на склад, разместившийся за воротами. Здесь нам выдают рабочие номера, твердые шахтерские каски, карбидные лампы, лопаты, кайла, брезентовые робы, гольцшуги**, после чего ведут в раздевалку. Там вешаем на крюки свое тюремное рванье и переодеваемся. И гольцшуги, и роба мне порядком велики, приходится чуть ли не на полметра подсучить штаны и рукава спецовки. Если бы мне и удалось чудом выбраться отсюда, в такой «униформе», конечно, далеко не уйдешь.

** Обувь на деревянной подошве.

Нас ведут в специальное помещение, там мы заряжаем карбидом лампы, потом подходим к стволу № 1 (в шахте несколько стволов). Влезаем на чугунные плиты надшахтной постройки. Тяжело грохочут четырехэтажные клетки, вынося на-гора третью смену — молчаливые черные привидения, у которых светятся одни только глаза.

Штейгеры разбирают нас по бригадам. Каждый стремится взять себе рослых, физически сильных. Немцы бесцеремонно ощупывают наши руки, плечи, дабы удостовериться, насколько годен «товар». Все это похоже на невольничий рынок, о котором я читал в детстве.

Я самый маленький, и в своей робе, в огромной каске, которая сидит на моей голове, как ведро, закрывая чуть ли не все лицо, выгляжу, наверное, жалко и нелепо. Проходит десять, пятнадцать минут. Мои товарищи уже спустились под землю. А я стою один среди железного грохота, крика, звонков, среди лязга металла, и, удивительная вещь, меня никто не замечает. Я даже подумал: «А может, не возьмут? В самом деле, какой из меня работник?» Но в этот момент подходят два штейгера: приземистый толстяк с бычьей шеей и сонным лицом и долговязый здоровила с синим шрамом на переносице.

— Бери себе это сокровище, Нагель!— говорит толстяк долговязому и неожиданно сильно ударяет меня по плечу.

Я падаю и роняю свои шахтерские причиндалы. Они с грохотом катятся по чугунным плитам, в довершение всего с ног слетают Я деревянные гольцшуги. Толстяк захлебывается от хохота и говорит

долговязому:

— С ним выполнишь двойную норму. Это же клоун, его бы в цирк!

— И откуда ты взялся такой ничтожный!— сердится Нагель и толкает меня в открытую клеть.

Сердце мое замерло. Нагель вошел вслед за мной. Звонок. Вспыхнули сигнальные лампы. Захлопнулись дверцы клетки, и она с головокружительной стремительностью падает вниз. С непривычки перехватывает дыхание, к горлу подступает тошнота. Через равные промежутки мелькают пятна электрического освещения — это горизонты шахты, я насчитал их четыре. На подходе к пятому клеть замедляет свой полет. Нагель подталкивает меня, и я ступаю на чугунные плиты. Над нами нависает покрытый известью огромный кирпичный свод. Яркий электрический свет ослепляет глаза. Грохот стоит, как в котельной. Лоснятся мокрые рельсы, радиально разбегаясь в подземные коридоры-штольни. Они забиты нескончаемой вереницей вагонеток с углем, составами порожняка, вагонетками с крепильным лесом. Уже заканчивается пересмена, и уголь начинают поднимать на-гора.

Нагель ведет меня к крану, зажигает свою лампу и поливает карбид водой. В результате соединения воды с карбидом выделяется газ. Если закрыть крышку, газ попадает в светильник, его нужно зажечь, и лампа загорается белым пламенем.

— Закрывай!— командует Нагель.

С проклятой крышкой никак не сладить.

— Ферфлюхте шайзе!*— неистовствует Нагель и отвечает мне оплеуху, потом сам закрывает крышку моей лампы и зажигает ее от своей.

— Ферштее?**— спрашивает он и показывает здоровенный кулачище, после чего всматривается в циферблат часов.— Мы запаздываем на целых пять минут! — кричит он. — За мной! Да пошевеливайся!

— *Проклятое дерьмо! (нем.).

— **Понимаешь? (нем.).

Бегу спотыкаясь. После сложных переходов по штрекам и проходам, после переползаний через вагонетки мы наконец выбираемся на прямую магистраль.

— Болван! Ты обязан нести портфель своего штейгера, — кричит Нагель и сует мне свой огромный кожаный портфель, тяжелый, как двухпудовая гиря. И зачем ему такой груз?

Я не могу бежать в гольцшугах. Опасаясь вывихнуть, а то и сломать ногу, сбрасываю деревяшки, сую их за пазуху, подхватываю кайло, лопату, портфель, лампу и догоняю Нагеля. Он снова показывает мне кулак и орет:

— Лос, лос, ферфлюхте шайзе!*

*Скорее, скорее, проклятое дерьмо! (нем.).

Острые куски породы и угля впиваются в подошвы ног, бегу, словно по битому стеклу, стараясь не отставать от Нагеля. И так не менее километра. Свет лампы выхватывает из мрака серые глыбы породы, причудливо изломанные крепильные стойки. Грохот центральной магистрали остается позади. Сворачиваем в относительно глухие разветвления штреков, душные и паркие. Первая смена уже работает. В черном косом разрезе лавы тархтят отбойные молотки. На плитах бромсберга грохочет лебедка. Возгласы, окрики, резкие слова команды, проклятия и брань звучат на всех языках.

Где-то далеко от нас слышатся взрывы — это приступили к работе немецкие мастера-подрывники. В мою первую смену мне непрестанно мерещилось, будто своды штрека содрогаются и оседают и катастрофа неминуема. Но почему-то при этом я ощущал не страх, а злорадство.

Наконец показался забой проходки штрека. Как светлячки мерцали шахтерские лампы. Когда мы подошли, подрывник заканчивал свою работу: орудуя длинной деревянной палкой, он закладывал в отверстия шпуров патроны со взрывчаткой и запечатывал их мокрой глиной. От зарядов тянулись нити тонких проводов, которые мастер какое-то время перебирал на ладони. Но вот он стремительно поднялся, оглянулся и, разматывая провода, подался прочь от забоя. На одном его плече покачивалась сумка с динамо-машиной, на другом — ящик со взрывчаткой. Не ожидая команды, все подхватили инструменты и поспешили оставить забой.

Я успел вскочить в боковой штрек.

— Ахтунг!— это крикнул мастер.

.И сразу же раздался огромной силы взрыв. В лице ударила волна горячего воздуха. Штрек наполнился угольной пылью и гарью.

— Я дал восемь зарядов,— сказал мастер Нагелю.— Почти двойная норма. На смену достаточно, а не хватит — пусть поработают кайлами. — Он скользнул по нас презрительным взглядом.— Проследи, Нагель, чтобы твои кретины не воровали провод.

— За работу! Быстрее!— уже командовал Нагель.

Я не знал, что должен делать. И вдруг штейгер подскочил ко мне, вырвал из рук лопату, швырнул ее на землю.

— Надевай свои гольцшуги, идиот!

Я обулся. Нагель толкнул меня в спину:

— Форвертс! *

* Вперед! (нем.).

Шахтеры уже отцепили одну вагонетку с крепильными стойками, и мы сообща покатали ее в забой. Вскоре рельсы кончились, и стойки нужно было носить на плечах. Шестеро работников разбились на пары. Каждая пара, взяв на плечи колоду, пошатываясь от непосильного груза, направилась к забою.

Ко мне подошел высокий, атлетического сложения поляк, приветливо улыбнулся и спросил:

— По-польски понимаешь?

— Немного...

— Вот и хорошо. Бери колоду за конец, а я стану посередине. Помогать будешь для видимости, я сам понесу. Для меня это игрушка, понятно?

Я промолчал и только всматривался несколько секунд в ясные, веселые глаза парня.

— Ну, взяли! — скомандовал он. — Так, хорошо, малыш! Только не торопись, смотри под ноги и меньше слушай этого идиота Нагеля.

Нам вдвоем надлежало перетаскать не менее двадцати бревен. За второй стойкой мы шли не спеша, с любопытством разглядывая друг друга. Моему напарнику на вид лет двадцать пять. Сложения он богатырского: широкоплечий, мускулистый атлет, с мощной шеей и выпуклой широкой грудью. Голос у него низкий, густой. Серые глаза излучают доброту, лицо освещает доброжелательная улыбка, столь неожиданная в этом черном аду.

— Тебя как звать? — спросил он, протягивая мне флягу с водой.

— Владимир.

— По-польски Владек. Так я и буду звать тебя. А ты меня Стасиком. Ну вот, дроги товажишу, мы и познакомились.

Он протянул свою широкую, как лопата, ладонь и, осторожно пожимая мою руку, спросил:

— Откуда ты родом?

— Из-под Киева.

— Значит, советский?

— Советский.

— За что сидел?

— За побег из Германии.

Он положил мне на плечо руку:

— Ладно, не тужи. Со мной не пропадешь.

— Спасибо, Стасик. Мне сейчас очень трудно. Какая здесь норма?

— Девять вагонеток на одного за смену. Правда, Гоппе старается и ее перекрыть. Выслуживается, холера! Готов выжать из нас, иноземцев,

последние соки. Да и Нагель у нас подлюга.

Я задумался. Было ясно, что такая норма для меня непосильна.

Как бы разгадав невеселые мои мысли, Стасик подбодрил:

— Не падай духом, я помогу.

Мне хотелось сказать ему в ответ самое теплое, самое искреннее слово, какое я только знал, но оно почему-то не приходило на ум.

Когда мы отнесли в забой второе бревно, я взглянул на Стасика и увидел, как дорого ему обходилась жалость ко мне: весь в градинках пота, он дышал, как тяжелобольной. На глубине шестисот метров, в этой глухой норе было парко, как в бане, и я еле передвигал ноги.

— Шлях бы его трафил! Ну и работенка! А Гоппе еще хвастается, что эта шахта — лучшая в Германии, а стало быть, и во всем мире... Погляди, что здесь делается, пся крев! Вентиляция почти на нуле. Крепления держатся на честном слове, обвал за обвалом, в каждую смену гибнут люди. «Алес фюр криг, алес фюр зиг!»* Чертовы попугаи, холера б их забрала!— Стасик сплюнул.

* «Все для войны, все для победы!»— нацистский лозунг во время войны.

Возвращаясь порожняком, мы разговаривали. Стасик расспрашивал меня о родной стороне, о жизни в довоенные годы. Я и не заметил, как проникся к нему полным доверием, не таясь, рассказывал даже о своих побегах из лагерей.

— А знаешь, у меня какая идея? Давай учить друг дружку языкам, — предложил Стасик.

— Но когда же?

— Во время работы. Так оно пройдет быстрее.

Пока мы переносили стойки, а потом разгрузили рельсы, прибывшие на платформах, крепильщики перешли на другой участок. Стасик, Нагель и я остались втроем.

— Тридцать вагонеток — и ни грамма меньше!— категорически заявил немец.

— Увидим, — спокойно ответил Стасик. Мы принялись забрасывать уголь в вагонетки. Вскоре Стасик разделся и остался в одних трусах. Он ловко орудовал большой железной лопатой. Я старался как мог помогать ему, но у меня от истощения и духоты сильно кружилась голова. Стасик, вероятно, заметил это.

— Сядь, передохни, — сказал он. — Я поработаю за двоих! — И улыбнулся своей приветливой улыбкой, обнажив два ряда красивых, удивительно белых зубов.

Не успел я положить лопату, как на меня с бранью накинулся Нагель и уже было замахнулся своим кулаком-кувалдой. Стасик стал между нами:

— Не трогай!

Обычно доброе выражение его серых глаз неузнаваемо изменилось: стало колючим, злым, хотя голос прозвучал спокойно.

— Вот оно что! Саботаж! — истерически взвизгнул Нагель.

— Успокойся,— осадил его Стасик.— Иначе я тебя остужу.

Штейгер чуть не зашипел от ярости:

— За оскорбление — карцер! Я тебе покажу! За угрозу немцу — тюрьма!

— Мы и так в тюрьме. Лучше подумай, кто тогда вместо меня станет работать? Пришлют тебе пару доходяг, будешь выносить их из лавы на носилках. Смекнул?

Нагель сразу как-то сник, отошел от нас, даже закурил, что строго воспрещалось. Я взял лопату и начал набрасывать в вагонетку уголь. А Стасик, будто ничего и не произошло, сохраняя прежнее спокойствие, подмигнул мне:

— Ничего, малыш... Не переживай. Набирай угля как можно меньше и не торопись.

Каждую наполненную вагонетку мы выталкивали из забоя и гнали метров двести к бромсбергу. Там цепляли ее к стальному тросу, и она двигалась к центральной магистрали. Иногда вагонетка сходила с рельсов, и приходилось ее поднимать. Это была каторжная работа, с которой я без помощи силача Стасика ни за что бы не справился.

После четырехчасовой работы Нагель объявил фриштик — пятнадцатиминутный перерыв. Он уселся поудобнее, открыл свой портфель, вытащил термос, сверток с провизией и принялся уплетать бутерброды с маслом, сыром, колбасой и мармеладом.

Стасик коснулся моего плеча:

— Пошли, малыш! И у меня кое-что найдется.

На свободной сухой площадке мы сели на спецовку Стасика, он извлек из своей сумки хлеб, пачку маргарина, кусок колбасы, луковицу и соль. В термосе было стакана два горячего чая. Все это Стасик разделил пополам.

— Спасибо. Скажи, это вам, полякам, дают такой паек?

Он с удивлением взглянул на меня.

— Черта лысого дают! Сам добываю... После смены сплю часов шесть, потом иду на подработки в город. Я ведь немного столяр, электрик, сантехник. У меня уже есть своя клиентура. Словом, от голода мы с тобой не помрем. Завтра я принесу тебе кожаные ботинки, трусы — будет легче

работать. Все, что принесу, будешь оставлять в раздевалке, чтоб не отобрали веркшютцы.

— Чем же я отблагодарю тебя, Стасик?

— Оставь... Мы должны помогать друг другу, иначе эти клятые швабы заедят нас...

Мы дали двадцать семь вагонеток угля и «ни грамма больше», как сказал Стасик. Нагель молчал, довольный и этим. Появилась вторая смена, и мы пошли к стволу. Нагель поспешил вперед. Немцев поднимали на поверхность в первую очередь, во вторую всех, кроме русских. Узники нашего лагеря собирались в так называемом «зале ожидания» у шахтного ствола и поднимались на-гора последними.

В надшахтной постройке нас ждали вооруженные карабинами веркшютцы и конвоировали в раздевалку, в душевую, а потом, переодетых в тюремные лохмотья, отводили в лагерь. За день нас пересчитывали раз десять, и я все больше убеждался, что бежать отсюда невозможно.

В очередную смену Стасик спустился в шахту с большой сумкой. В ней был новый термос, не меньший, чем у Нагеля, а также кожаные ботинки, трусы, носовой платок и складной ножичек. Все это предназначалось мне. А главное — Стасик принес килограмма два продуктов. Только тот, кто голодал в концлагерях, смог бы по-настоящему оценить поступок поляка. Потрясенный и растроганный, я даже прослезился, а он только улыбнулся своей добродушной улыбкой и смущенно пробормотал:

— Мелочи... Ну что тут особенного? Это мой долг, Владек, иначе ты протянешь ноги...

Я понял, что, пока Стасик рядом, мне не угрожает голод, да и Нагель при нем не решится пускать в ход кулаки...

Так оно и получилось. Поляк был отчаянно смел, и Нагель побаивался его: под землей, где на каждом шагу шахтера подстерегала опасность, недалеко и до греха. Кроме того, Нагель понимал, что таких здоровых парней, как Стасик, в шахте почти не было, потому и терпел строптивного поляка, хотя и ненавидел его.

23

Глава 3

Дни проходили, строго размеченные лагерным стандартом: подъем, проверка, порция баланды в строю, раздевалка шахты, снова проверка, смена, высасывающая все силы, потом душ, раздевалка, лагерь, сон.

Благодаря заботам Стасика я заметно окреп и все чаще отдавал свой паек дяде Петру. Здоровье у бедняги ухудшалось. Не проходило смены,

чтобы его штейгер, этот мрачный детина с водянистыми глазами, не избивал заключенных, особенно стараясь в отношении русских. Дядя Петр показывал мне ссадины и кровоподтеки на спине и груди — следы проволочной плетки, с которой не расставался штейгер. Как-то поздно вечером, лежа на твердых досках нар, мы разговорились.

— Все думаешь свою думу? — спросил дядя Петр.

— А откуда вы знаете, о чем я думаю?

— Да уж наверное, как все невольники, о побеге. Я и сам рискнул бы, но... Если тебя и поймают, ты выдюжишь, ты молод, а я нет. На ладан дышу... — Он тяжело вздохнул.

Я долго не мог заснуть, мысленно отыскивая в густом колючем проволочном ограждении малейшую щель, через которую можно было бы пролезть. Прошло уже две недели с той поры, как нас пригнали сюда, и за это время ни один узник не смог осуществить побега.

В шахте круглосуточно шла напряженная работа. Война пожирала не только людей, но и миллионы тонн угля. Из разговоров наших надсмотрщиков мы узнали, что в начале сорок третьего Гитлер потребовал от немецких шахтопромышленников резкого увеличения добычи угля.

Как ни скрывало начальство лагеря и шахты правду о положении на фронтах, мы знали о разгроме фашистских армий под Москвой и Сталинградом. Известив уже в который раз об окончательном разгроме Красной Армии, Геббельс вдруг переменял пластинку и заговорил о секретном оружии, которое, дескать, резко изменит весь ход войны в пользу фюрера. Но пока это секретное оружие ковалось где-то в подземных тайниках рейха, немецкая военная промышленность требовала уголь Силезии в огромном количестве, и снижение его добычи вызывало у начальства бешеную ярость.

На шахту «Гогенцоллернгрубе» пригнали еще пятьсот советских военнопленных. Уже через несколько дней после их прибытия участились аварии. Партии вагонеток слетали с рельсов, выбивали крепления, вызывая значительные обвалы. Кто-то неуловимый откручивал на стыках гайки, портил стрелки, рубил резиновые шланги, обрывал воздухопроводы.

Часто портилась электросеть, выходила из строя сигнализация, механизмы. Ломалось все, что до этого безукоризненно служило месяцы и годы. Однажды на шестом горизонте в течение целой смены не было выдано на-гора ни одной вагонетки угля. Переодетые агенты гестапо шныряли по всем закоулкам шахты, кого-то хватали, тащили к стволу, однако аварии не прекращались.

Никто не сомневался, что все это дело рук советских военнопленных.

Стасик торжествовал. Даже от Нагеля не мог скрыть своей радости. Мы втроем работали в глухом забое, обособленно от других, между нами постепенно сложились особые отношения. Для нас Нагель долгое время был единственным представителем «оттуда», с вражеской линии фронта, мы имели возможность, как выражался Стасик, «исследовать это насекомое».

Нагель, несомненно, знал, что происходит на фронте. Затевая с ним спор, Стасик хитро выведывал новости. Ариец-штейгер иногда снисходил до дискуссии с поляком. Нагель был уверен, что Стасик работает добровольно.

Кто такой Стасик, знал хорошо лишь я.

Станислав Бжозовский был родом из Ченстохова. Мобилизованный в армию незадолго до начала второй мировой войны, он попал в кавалерийскую бригаду, куда отбирали рослых, физически сильных парней. На военных учениях он завоевал репутацию превосходного рубака и терпеливо прошел ту обработку в антисоветском духе, которую проходили все солдаты панской Польши.

Когда 1 сентября 1939 года вооруженные силы фашистской Германии неожиданно обрушились на Польшу, в первом же бою с танками Гудериана бригада, в которой служил Бжозовский, была разбита. Стасик чудом добрался до Варшавы и там уже сражался как пехотинец. Правительство панской Польши бежало в Румынию. Варшаву захватили немцы. Стасик вступил в подпольную патриотическую организацию, которую вскоре выследило гестапо. Ее участники были казнены. Стасик спасся чудом и бежал в Ченстохов. Здесь, попав в случайную облаву, он был отправлен на принудительные работы в Германию. Вскоре, раздобыв чужие документы, совершил побег из лагеря и пробрался в Польшу. В родном городе он узнал, что мать расстреляна фашистами.

Около года Стасик скитался по стране. Но даже мне он никогда не рассказывал об этом периоде своей жизни.

В начале 1943 года его снова схватили и привезли в Бойтен. Так он очутился на шахте «Гогенцоллерн-грубе».

Мрачный, заносчивый и до глупости самовлюбленный, Ганс Нагель был уверен, что он представитель «высшей» расы, и относился к нам с презрением. Это иногда даже забавляло Стасика, и тогда он откровенно насмеялся над штейгером, нарочно путая польскую и немецкую речь, чтобы Нагель не все мог понять.

— Вы, господин Нагель, умный человек. Между прочим, как только увидел вас впервые, я понял это. Вот и сейчас, — говорил Стасик, — вы

сидите, жуete бутерброды, а ваш лоб показывает напряженную работу мозга.

Нагель еще более пыжился и произносил:

— Ты знаешь, кто я есть? Я есть немецкий технический интеллигент. А вы только и умеете что махать лопатами. Вы есть неполноценная раса.

— А чем же объяснить, господин Нагель,— вопрошал Стасик, невинно заглядывая штейгеру в глаза,— что неполноценные бьют вас, полноценных, в хвост и в гриву?

Нагель переставал жевать, сбитый с толку.

— То есть это как же... бьют?

— Да очень просто. Бьют и плакать не дают. Вот хотя бы и в Сталинграде.

Фашист сопел, потом сердито возражал:

— Доктор Геббельс недавно заявил... Стасик хохотал, всплескивая руками:

— Ну-ну, давайте поведайте нам очередную басню Геббельса.

Не слушая Стасика, Нагель продолжал:

— На востоке фюрер подготовил неприступный вал. О него расшибуются большевистские орды. Фюрер сказал, что этим летом Россия будет разгромлена.

— О фюрере и говорить не приходится. Ведь это же великий... великий... ну как бы это выразиться получше...— Стасик не находил нужного слова и стучал пальцем по своей голове.— А скажите, господин Нагель, почему бы вам теперь не отправиться на этот неприступный вал?

— Мне? Я, конечно, охотно пошел бы, но герр Гоппе сказал, что и каждая тонна угля — удар по врагу.

— Вы же умный человек, Нагель, и должны знать, что этого Гоппе давно уже надо было запрятать в сумасшедший дом.

— Напрасно ты так думаешь. Он способный инженер и крупный организатор.

— Верно. Способности палача у него выдающиеся. Нагель не понимает этих слов, талдычит свое:

— Герр Гоппе на собраниях высказывает ценные мысли,

— Те же, что и доктор Геббельс?

Нагель, глотнув кофе из термоса и переведя дух, приводит, по его мнению, самый веский аргумент в пользу Гоппе.

— Не забывай, что двое его сыновей сложили свои головы на Восточном фронте за фюрера, но у него там еще и третий сын. Он сумеет отомстить за смерть своих братьев.

А через несколько дней после этой дискуссии на доске объявлений шахты появился некролог. В жирной траурной рамке красовался портрет третьего сына обер-инженера Гоппе.

О положении на фронте мы догадывались по состоянию Нагеля, наблюдая за ним во время работы. Участвовавшие вспышки гнева у него иногда доходили до бешенства, после чего он внезапно остывал, тупо уставясь в одну точку.

После смены мы со Стасиком не спешили к стволу, все равно нам подниматься последними. Впереди два километра дороги, есть время поговорить.

— Зачем ты лезешь на рожон? Зачем ты затеваешь эти разговоры с Нагелем? Стасик только рукой махнул.

— Скоро подмажу салом пятки — только меня и видели. Плевать я хотел на этого придурка. Я резко остановился, схватил его за руку!

— А я, как же я? Ты меня оставишь? Он задумался.

— Что же мне делать? Ведь из лагеря я не смогу тебя вырвать. Оставлю тебе денег, будешь покупать продукты, как-нибудь перебежешь...

— Эх ты... дело разве в деньгах? Я тоже должен бежать.

Стасик остановился, поднял лампу, посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом.

— Хорошо. Я подумаю. Вообще ты парень подходящий.

Прощаясь со мной около клетки, он тихо сказал:

— Помни только: никому ни слова!

Он поехал с группой поляков на-гора, а я долго ждал своей очереди. Когда мы поднялись на поверхность, веркшютцев у ствола было втрое больше обычного. Они тотчас же стали сверять рабочие номера. На шахте что-то произошло, иначе бы нас не погнали в лагерь под таким усиленным конвоем, с карабинами наготове.

У ворот колонну встретил худощавый, по-военному подтянутый, как всегда, чем-то недовольный лагерфюрер Фаст, которого заключенные прозвали Мерином, очевидно, за его длинную нижнюю челюсть. Он отдал распоряжение начальнику конвоя, и тот развернул колонну перед домом, где размещались караульное помещение, канцелярия, кабинет лагерфюрера.

Мы замерли по команде «смирно». Появился маленького роста, с круглым брюшком переводчик — вертлявый, скользкий и противный. Положив руку на кобуру пистолета, Мерин неторопливо прошелся вдоль колонны, резко остановился и сперва спокойно, а дальше все больше распаляясь и срываясь на визг, начал всячески ругать нас неизвестно за что. Толстяк переводчик слушал, подавшись вперед, угодливо склонив голову

набок. Его круглая физиономия расплылась в заискивающей улыбке.

Фаст помахал кожаной плеткой и замолчал. Переводчик вмиг преобразился. Несколько секунд тому назад мы видели его на крылечке, будто на подмостках сцены, отвратительного проныру-подхалима, угодливо пресмыкавшегося перед начальством. А сейчас он хищно оскалил зубы, сузил глаза и, грязно выругавшись, сказал:

— Господин лагерфюрер прекрасно понимает, что все вы отпетые негодяи. Ваша работа в шахте — сплошной преступный саботаж... Господину лагерфюреру известно, что в этом грязном стаде, кроме лодырей, затесались еще и преступники, замышляющие побег. Сегодня был задержан один такой мерзавец. Сейчас он получит урок, после которого у всех отпадет охота бежать.

Переводчик обернулся и поклонился Мерину.

Тот кивнул.

Пожилой осанистый шуцман опростелом бросился в канцелярию и вынес оттуда большую дубовую лавку. Двое полицаев с резиновыми дубинками стали по бокам. Они знали свои обязанности и напоминали молотобойцев, которых ждала нелегкая работа.

Переводчик приподнялся на носки, норовисто мотнул головой, как бы бодая невидимого врага, и воскликнул:

— Заключенный номер тысяча семьсот двадцать три получает пятьдесят палок... выведите его! Я обмер. Да ведь это номер дяди Петра! Осанистый шуцман стал навтыжку перед Фастом:

— Номер тысяча семьсот двадцать третий идти не может....

Мерин брезгливо поморщился.

— Ну что ж, несите...

Стоявшие у скамьи шуцманы, чеканя шаг, вошли в домик и вынесли оттуда бесчувственного человека.

Это был Петр Кравчук. Его положили на скамейку лицом вниз, один из палачей зажал голову узника меж своих колен, другой пристегнул ремнем ноги к скамье. Мерин сделал знак рукой, и, рассекая воздух, замелькали дубинки. В жуткой тишине слышны были глухие удары и тихие, протяжные стоны.

Скрестив на груди руки, Фаст внимательно следил за экзекуцией и вслух считал удары:

— Айн, цвай, нойн, цен...

Тишина была напряженной до звона в ушах. Затаили дыхание сотни узников в неподвижных шеренгах.

Когда счет перевалил за двадцать, Кравчук затих.

— Фюнфциг, генуг!*— наконец объявил Фаст, и шуцманы, отдуваясь, стали вытирать свои вспотевшие физиономии. Обмякшее тело неподвижно лежало на скамье.

* Пятьдесят, довольно! (нем.).

Мерин вынул из кармана галифе портсигар и зажигалку, неторопливо закурил. Сделав две затяжки, он встрепенулся и весело сказал переводчику:

— Объяви этим свиньям, что моя фирма работает с гарантией, всыпьте ему еще пятьдесят!

Шеренга дрогнула.

Я видел побелевшие лица, плотно сжатые бескровные губы, расширенные глаза, вздувшиеся под кожей желваки и слышал ту затаенную зловещую тишину, какая заполняет выработки шахт перед взрывом. Я четко уловил мгновение, когда приблизился последний рубеж тоски и отчаяния, за которым таилось одно: бунт.

Быть может, и Мерин, и его шуцманы учуяли это. Не ожидая команды, они взяли карабины наизготовку, а лагерфюрер торопливо вынул из кобуры пистолет и что-то сказал переводчику. Он заметно струсил. В зловещем молчании узников Фаст разгадал неодолимую злую решимость и даже мельком взглянул на дверь конторы, как бы измеряя расстояние на случай, если придется спасаться бегством.

Куда только девалась франтоватость переводчика. Оглянувшись на Фаста, он сказал:

— Господин лагерфюрер сожалеет, что преступник не выдержал заслуженной кары... Он и тут обманул начальство — преждевременно отдал богу душу, — попытался даже пошутить переводчик. — Пусть же этот случай послужит всем вам наукой... Это передает вам сам господин Фаст — кавалер двух железных крестов...

Вечером стали известны подробности неудавшегося побега. После окончания второй смены Петр Кравчук с группой немецких шахтеров поднялся на поверхность. Это был крайне рискованный шаг: заключенным строго запрещалось подниматься на-гора вместе с немецкими шахтерами. Дежурный по третьему горизонту, где работал Кравчук, сразу же по телефону доложил об этом начальнику охраны. И тот забил тревогу. Территорию шахты окружили шуцманы, на проходной началась тщательная проверка пропусков.

Кравчук тем временем, не заходя в душевые, стал пробираться в затемненную галерею, по которой уголь транспортировался в бункеры. К этим бункерам маневровый паровоз подкатывал огромные железные пульманы. И если бы узнику удалось вместе с потоком угля очутиться в

вагоне, у него был бы верный шанс покинуть не только шахту, но и город.

Вся сложность заключалась в том, чтобы пройти незамеченным расстояние от клетки до бункера. В надшахтном строении постоянно находились немцы. В галерее, куда пробирался Кравчук, дежурил мастер. Даже если бы заключенному и удалось убрать немца, впереди у него была еще большая опасность. Бункеры размещались вдоль железной дороги на высоте нескольких метров от борта вагона. Спрыгнуть с такой высоты на дно пульмана, скрючиться и ждать, пока на тебя обрушится многотонная лавина антрацита, было равносильно самоубийству. Но Кравчук избрал именно этот путь. В галерее он столкнулся лицом к лицу с мастером. У немца в руках оказался тяжелый гаечный ключ. Узник шел на него с голыми руками. Силы были слишком неравны, и заключенный № 1723, оглушенный, упал.

Ночью я долго не мог заснуть. Закрывал глаза и слышал знакомый шепот дяди Петра: «Смерть мне не страшна. Сил нет, здоровье надорвано».

Неудача Петра Кравчука и его мученическая смерть, новые строгости контроля, надзора и проверок, введенные администрацией шахты, усложнили выполнение нашего со Стасиком плана.

Взвесив все «за» и «против», я убедился, что куда легче было бы бежать Стасику без меня, одному. Как ни тяжело было расставаться со столь верным товарищем, я окончательно смирился с этой мыслью.

Глава 4

Прошел еще один день. Мы снова встретились в «зале ожидания». Покосившись на угрюмого Нагеля, Стасик пожал мою руку и прошептал:

— О делах после смены. Потерпи...

Молча дошли до забоя проходки, где после выпала взрывчатки громоздились огромные глыбы породы, перемешанные с углем. За первую половину смены мы не обмолвились и словом. Во время перерыва, протянув мне кусок сыра, Стасик только сказал:

— Ешь, малыш, набирайся сил.

Смена закончилась. Нагель поспешил к стволу. Мы остались вдвоем и могли говорить без опасения быть услышанными. Однако Стасик не доверял тишине и безмолвности штрека. Еще недавно беспечный и безразличный к собственной судьбе, мой друг стал собранным и осторожным.

По его знаку я пошел вслед за ним к нижнему штреку, затопленному водой. Тут начинались перекрытые завалами, мертвые лабиринты шахты. Посветив лампой, Стасик выбрал сухое место, и мы сели на мягкую осыпь породы.

— Давай обсудим, Владек, положение. Прежде чем решиться бежать, надо хорошенько изучить обстановку.

Стасик рассказал, как он перед началом каждой смены несколько минут проводит у стенда с объявлениями и приказами. В это время там обычно толпятся немецкие шахтеры, и можно кое о чем услышать. Самой неприятной для немцев новостью был приказ об отмене выходного дня. Он нарушал извечную традицию: до сих пор, как бы ни усложнялись дела на фронте, свой выходной добропорядочные отцы семейств отдавали детям и церкви. Но сейчас шахта хронически не выполняла план...

— Немцы поговаривают, — сказал Стасик, — будто бы прошлой ночью пан Гоппе выехал в Берлин по вызову самого Гитлера. Как ты считаешь, на кой ляд бесноватому психопату понадобилось это старое отребье?

Стасик огляделся вокруг и, еще ближе подвинувшись ко мне, горячо заговорил:

— Но дело не в Гоппе. Я продумал план побега.

Мне придется обшарить весь город и достать тебе приличную одежду. Нужен костюм, туфли, галстук, носки и даже шляпа. Все это я по частям перенесу в раздевалку и запрячу в свой ящик. Потом раздобуду для тебя аусвайс, такой, как у местных поляков. Ты знаешь, что здесь все советские стрижены под машинку. Полякам же разрешено носить шевелюру. Может случиться, что ты не пройдешь из душевой в раздевалку. Правда, расстояние-то мизерное — всего каких-нибудь двадцать шагов, — но именно там веркшютцы могут увидеть твою стриженую голову. Я и это предусмотрел: достану парик.

— Где же ты его возьмешь?— удивился я.

— Куплю в местном театре за деньги, сигареты или масло. А пока давай измерим твою голову. Он вынул из кармана тесемку.

— Ты сам потом убедишься, что этот нехитрый маскарад удастся нам самым лучшим образом. Никто не додумается, что узники могут дойти до такой хитрости. Они уверены, что советские только и способны бросаться на колючую проволоку и конвейерную ленту шахтной галереи.

Этот план показался мне слишком уж фантастическим, и я откровенно поделился своими сомнениями с другом.

— Имей в виду, — успокоил меня Стасик, — часто бывает так: чем больше риска, тем вернее удача.

— Я готов на любой риск.

На какое-то мгновение он призадумался.

— Меня тревожит только, как бы начальство в связи с попыткой побега Кравчука не изменило порядок выезда из шахты. Тот же Гоппе за

милую душу возьмет и заставит штейгеров подниматься на поверхность вместе с пленными и узниками, чтобы непосредственно у клетки передавать их конвою.

На этом разговор закончился, и мы направились к стволу.

Среди узников нашего барака кто-то распустил слух, что Кравчук жив. Большинство сошлось на том, что это очередная «параша» пущена в ход начальством с целью успокоения пленных и узников, взбудораженных расправой над несчастным, которого после экзекуции отнесли в подземный бункер, что находился рядом с караульным помещением.

В лагере, пожалуй, одному мне кое-что было известно о заключенном № 1723. Кравчук неохотно и скупно рассказывал о себе, но все же я узнал, что до войны он учительствовал в Житомире, где жил с женой и двумя детьми. В армии он был командиром пехотного взвода и в плен попал в районе Коростышева, защищая до последнего патрона отведенный для обороны рубеж.

Его неожиданное решение бежать оставалось для меня загадкой. Ведь он утверждал, что дело это безнадежное. Выходит, отчаяние овладело им, и он сознательно пошел на явное самоубийство.

Сегодня в лагере было сравнительно спокойно: дежурил старый и ленивый шуцман Пфарц. Тучный, обрюзгший, он ко всему еще страдал астмой. Пфарц не хуже других шуцманов умел орудовать дубинкой, но в отличие от них применял ее редко и не так охотно. Мы прозвали его Астматиком. Среди надзирателей он считался наименее опасным. Безучастный и равнодушный Астматик неторопливо бродил по территории, натужно пыхтя, как старый шахтный паровозик, а если поблизости не было Мерина, предпочитал отсиживаться где-нибудь в укромном месте.

До отбоя, выслуживаясь перед начальством, веркшютцы не давали нам ни минуты передышки — гоняли на бесконечные построения, проверки, разгрузки крепильного леса, уборку территории и только после вечернего апелля* мы ложились спать, чтобы в четыре утра начать новый голодный, суетливый и нескончаемый день.

*Проверки (нем.).

Сегодня, поскольку дежурил Астматик, заключенные, выставив около каждого барака наблюдателя, отдыхали на нарах, что возбранялось категорически. Вольготнее чувствовали себя и наши, как мы называли их, «искатели счастья». Несмотря на то, что на территории лагеря была выщипана и съедена буквально вся трава, они, не теряя надежды, ползали за бараками вблизи проволочных заграждений, тщательно обшаривая каждую пядь земли. Натыкаясь на какие-то корешки, осторожно

откапывали их, складывали в ржавые банки из-под консервов, чтобы потом сварить.

Трудились они и в одиночку, и небольшими артелями, представляя собой жуткую картину полнейшего упадка и одичания. Большинство смотрели на старания «искателей счастья», как на напрасную трату сил. Некоторые узники, примостившись на солнцепеке и сбросив рубаху, дремали либо уничтожали паразитов. Они могли молча сидеть часами: о прошлом уже все давным-давно было сказано и пересказано, а своего будущего никто не знал.

Я от нечего делать слонялся по лагерю. В пепельно-голубом небе лениво плыли белесые облака. Все вокруг: лужа возле барака, сами бараки, окна, толевые крыши, столбы проволочного ограждения, асфальт — всё было желтым и ржавым, выглядело утомительно-унылым и однообразным на этой клятой, чужой земле, как наша каторжная жизнь. Все вызывало невыразимую тоску.

Я вернулся в барак и с минуту вслушивался в печальную песню про бедную вдову, которая, вспахивая свою убогую ниву, поливала ее слезами. Стало еще нестерпимее. Но вот на певца шикнули, и он замолчал. Я решил подлатать свои истлевшие тюремные лохмотья. Взяв иголку и нитку, принялся штопать рубаху.

За этим занятием и застал меня Астматик, которому, видно, наскучило сидеть в укромном месте. Став на пороге, он некоторое время наблюдал за моей работой, а потом сказал:

— Гут... Я уважаю узников, которые следят за собой, не опускаются.

— Мы все стараемся, господин начальник, следить за собой,— отрапортовал я.

Ответ ему понравился, особенно обращение «господин начальник». Собрав в морщины лоб и напряженно о чем-то думая, он спросил:

— А ты умеешь и по-немецки?

— Малость умею, господин начальник, учусь...

— Весьма похвально. Сейчас ты пойдешь со мной и приберешь в кабинете лагерфюрера. Ты должен понимать, кого попало я туда не возьму.

— Спасибо вам, господин начальник, за такую честь!— с притворной радостью воскликнул я.

Узники смотрели на меня завистливо: удостоиться прибирать кабинет самого лагерфюрера считалось большой удачей. Это наверняка давало добавочную миску баланды или даже пайку хлеба. Эти подачи узникам были частью продуманной тюремной системы: за них холуи и доносчики готовы были на любую подлость; им ничего не стоило продать своего же

брата-заключенного.

Астматик привел меня на склад, дал щетки, тряпки, пачку соды, кусок мыла и швабру.

— Ты уж постарайся,— напутствовал он меня, пыхтя и отдуваясь.— Не забывай, ведь это для самого лагерфюрера!

— Понимаю, господин веркшюцман, это большая ответственность. Постараюсь!

После этого он осторожно постучал в дверь, и мы вошли в кабинет Мерина. Я сбросил картуз, отвесил преувеличенно вежливый поклон и, видимо, своей покорностью и забитым видом произвел должное впечатление.

— Герр лагерфюрер!— вкрадчиво произнес Пферц.— Этот маленький руссе весьма аккуратен и послушен. Он очень рад, что ему поручено прибраться в вашем кабинете.

Я взглянул на Мерина. Развалившись на диване, он курил. Знал бы этот палач, что творилось в это мгновение в моей душе! Перед глазами предстала картина вчерашней расправы над дядей Петром.

— Подойди сюда,— сказал лагерфюрер, протягивая мне пепельницу, полную окурков. — Можешь взять, но сделай так, чтобы все блестело!

Я поблагодарил и, хотя сам не курил, «подарок» завернул и спрятал в карман. Потом принес ведро воды, сбросил в коридоре гольцшуги, закатал штаны, засучил рукава и приступил к работе, вкладывая в нее все свое умение.

Мерин ушел, оставив в кабинете Астматика. Явился же, когда я заканчивал уборку. Придирчиво осмотрел кабинет, заглянул под стол и диван и, видимо, остался доволен. Астматика он куда-то послал, а сам, усевшись за письменный стол, стал рассматривать иллюстрированные журналы.

Я уже заканчивал мыть дверь, когда к воротам лагеря подъехал пикап с красным крестом. Дверцы кабины открылись, и из нее вылез маленький круглый толстяк в светлом костюме, с фашистским значком на лацкане пиджака. Он снял с лысой головы шляпу и стал обмахивать ею, как веером, свое взмокшее от жары лицо. Часовой, заглянув в удостоверение и франтовато козырнув, пропустил его в помещение. Через мгновение толстяк вкатился в кабинет, стрельнул круглыми маленькими глазками на портрет Гитлера, выбросил руку вперед...

— Хайльхитла!— отозвался Мерин, махнув своей длинной, как весло, рукой.

— Фишер!— отрекомендовался толстяк.— Представитель научно-

исследовательского медицинского учреждения доктора Баршке.

Они пожали друг другу руки, после чего хозяин предложил толстяку стул и поинтересовался целью его визита.

Дверь была уже вымыта, но я продолжал старательно протирать ее чистой тряпкой. Из дальнейшего разговора я понял, что толстяк приехал забрать труп. Оказывается, между фирмой и медицинским заведением Баршке существовал специальный договор, согласно которому фирма снабжала заведение «сырьем».

— А для чего вам трупы? — поинтересовался лагерфюрер, открывая перед Фишером свой золотой портсигар.

Гость взял сигарету, закурил и деловито объяснил:

— Анатомируем, делаем скелеты, которые поставляем в анатомические театры и медицинские учебные заведения. Делаем и еще кое-что... Но это не подлежит разглашению.

Только теперь Фаст заметил мое присутствие и резким окриком выгнал из кабинета. Я собрал свои тряпки, потихоньку притворил дверь и пошел искать Астматика, чтобы доложить о выполнении задания.

Глава 5

Ненавистный фон Гоппе возвращался из Берлина. Радио и газеты наперебой сообщали о величайшей чести, оказанной самим фюрером «скромному герою», «убежденному национал-социалисту», «подлинному арийцу, отдавшему на алтарь победы трех своих сыновей». Фюрер собственноручно за «исключительные заслуги перед родиной» прикрепил к его груди четвертый железный крест. (Три креста получили его погибшие сыновья.)

На шахте устроили торжественную встречу: гремели фанфары, играл духовой оркестр, произносились речи. Потом был дан завтрак для узкого круга. Наконец все успокоилось. Наступили часы зловещего затишья.

Гоппе боялись даже немцы. Угодить этому озверелому старикашке было невозможно. Он требовал от подчиненных строго придерживаться раз навсегда заведенного порядка. Инженеров и штейгеров этот деспот ценил не столько за технические знания и организаторские способности, сколько за вкус к власти, служебное рвение, умение и готовность тиранить и истязать узников. Когда после прибытия советских военнопленных шахта резко снизила добычу, Гоппе неистово бесновался. Выстроит, бывало, немецких горных специалистов и давай их всячески поносить, оскорблять, накладывать штрафы.

Неожиданно появляясь где-нибудь в штреке или лаве, обер-инженер лично обыскивал советских военнопленных, и горе тому, у кого он находил

коробок спичек, зажигалку или складной нож. С каким упоением он подымал тогда свою палку-молоток и натренированным ударом сбивал жертву с ног. Постепенно он переставал различать, где немец, а где пленный, и, случалось, раздавал зуботычины и шахтерам-фольксдойче, и даже «чистокровным» арийцам, требуя при этом от них «патриотического энтузиазма». Никогда нельзя было заранее угадать его настроение — оно менялось по нескольку раз в час. То он бился в истерике, то бешено хохотал, то, громко бранясь, хватался за браунинг.

В первый же день своего возвращения на шахту Гоппе провел совещание с инженерной верхушкой, потом устроил собрание фашистской организации, после него — совещание с начальниками участков. Во второй половине дня он обошел основные участки шахты, троих узников отправил в карцер, двоих жестоко избил «за лень». Он появлялся в шахте и во вторую, и в третью смену, удивив этим даже такого тупоголового служаку, как Нагель.

— Майн готт!* — разводил руками штейгер. — Когда же наш обер-инженер спит? Хотя бы сюда не заглянул, а то — чего греха таить — работаем без огонька!

* Боже мой! (нем.)

Оставшись вдвоем со Стасиком, я открылся ему в своих опасениях: не упустили ли мы подходящий момент для побега? Ведь после возвращения фон Гоппе на контрольно-пропускном пункте куда строже будут обыскивать и проверять аусвайсы.

Стасик успокаивал меня.

— Наберись терпения и жди...

Легко сказать! Только с утра мы узнали, что в лагерь нагрязнула целая свора гестаповцев и криминалистов. Они фотографировали заключенных в профиль и анфас, брали отпечатки пальцев. Для нас эта процедура не была новинкой. В лагерях и тюрьмах меня фотографировали не менее пяти раз и столько же брали отпечатки пальцев. И хотя под каждой новой фотографией появлялась и новая вымышленная фамилия, я опасался, что гестаповцам вдруг вздумается их сверить. Даже повторный побег расценивался гестапо как тяжкое преступление, а у меня их уже шесть!

На следующий день Стасик успокаивал меня как мог.

— Ты же знаешь, — сказал он, — троих узников вчера забрали как беглецов-рецидивистов. Тебя не трогают, значит, волноваться нечего.

Мой друг шепотом сообщил, что все нужное для побега, кроме парика и аусвайса, он уже достал и спрятал в своем ящике в раздевалке. Завтра добудет все остальное, а там давай бог ноги!

После смены, как всегда, мы не спеша пошли к стволу и по дороге еще раз обсудили в деталях наш план.

Стасик поднялся с поляками на-гора, а я остался ждать своей очереди. В зале, куда я вошел, сидели и лежали десятки советских военнопленных. Большинство из них занимались изготовлением портсигаров, мундштуков, трубок, перстней. Голод вынудил людей заняться этим кустарным промыслом, и многие овладели им в совершенстве. Из куска алюминия, меди, бронзы, пластмассы, слюды или дерева ловкие умельцы делали красивые вещицы с удивительно тонкой художественной гравировкой. Для плетения корзинок и сумок использовали проволоку с яркой изоляцией — красной, вишневой, желтой, синей, зеленой. Она оставалась после взрывов в лаве. Узники создавали великолепные узоры, похожие на цветные вышивки на тканях.

Вся эта продукция очень нравилась немцам, особенно их женам. Они давали заказы заключенным через своих мужей-шахтеров. Все это, конечно, делалось втайне от начальства. Разбазаривание дефицитного материала рассматривалось как вредительство. Но, несмотря на это, торговля не прекращалась. Немцы за эти красивые вещицы платили хлебом, маргарином, табаком.

Пленные жили коммуной. Все, кто только мог, добывали «сырье» и передавали его своим «мастерам». Выручку делили поровну.

Вдруг тишину нарушил предостерегающий возглас: «Хромой!» — но уже было поздно.

Опираясь на свою палку, Гоппе остановился в трех шагах от меня. Его бульдожья физиономия покрылась розовыми пятнами, в глазах засветились хищные огоньки. Несколько секунд он молча смотрел на «мастера», потом зловеще прошипел:

— Иди сюда... Лос!

Узник подошел к Хромому. Тот размахнулся, намереваясь ударить свою жертву по голове, но заключенный перехватил палку и несколько секунд продержал ее в своих руках. Гоппе яростно рванул палку, как штыком, нанес ею колющий удар прямо в лицо несчастному. Затем ударил еще и еще. Узник не выдержал, в бессильном бешенстве бросился на палача. С неожиданным для своего возраста проворством Хромой отскочил назад, дрожащей рукой выхватил маленький браунинг и разрядил в заключенного всю обойму.

На выстрелы сбежались немцы, штейгеры, дежурный с повязкой на рукаве и несколько веркшютцев.

— Обыскать! Всех обыскать! Тут бандиты, саботажники! — верещал

Хромой, топая ногами и брызгая слюной.

В эту ночь я долго не мог заснуть. Перед глазами все время стояла картина жестокой расправы. А что ждет меня? Ведь завтра решается моя судьба: либо я обрету свободу и смогу отомстить извергам, либо окажусь на виселице.

Глава 6

Стасик уже поджидал меня на пятом горизонте. Чуть замедлив шаг, мы немного отстали от Нагеля.

— Владек, — торжественно обратился ко мне друг. — Ты готов?

Я почувствовал, как сжалось и рванулось сердце.

— Значит, после смены. Давай поднажмем и отработаем как следует, чтобы Нагель не задержал нас ни на одну минуту. На-гора поднимемся с первой группой поляков.

В забое уже все были на месте. Бринтмастер подготавливал взрыв. Заложив шпур, он стал разматывать проволоку. Мы взялись помогать крепильщикам: принесли несколько стоек, подогнали порожняк.

Нагель был недоволен креплением штрека. Да мы и сами видели, что оно никудышное, особенно на последнем отрезке, который прошли перед нами две предыдущие смены...

Мы приступили к работе. После мощного взрыва угля было достаточно, и мы дружно взялись накидывать его в вагонетки. Работали сосредоточенно, молча.

Внезапно позади раздался оглушительный треск и грохот... Мы трое, как по команде, обернулись и увидели ужасную картину: метрах в двадцати от нас обрушилась огромнейшая глыба породы и завалила выход из забоя. Мы очутились в каменной западне.

— О, майн готт, майн готт! — закричал Нагель, обеими руками схватившись за голову.

От его крика у меня по коже забегали мурашки. Да и у Стасика сдали нервы. Он подбежал к штейгеру, и закричал:

— Заткнись, идиот, а не то, клянусь маткой боской, я проломлю тебе череп! Куда ты раньше смотрел?

— О, пан Езус, святая Мария? Разве ж я виноват? — заскулил Нагель. В это мгновение он совсем позабыл о своем расовом превосходстве и перешел на польский язык, что было для меня совершенной неожиданностью. Польская речь Нагеля поразила и Стасика. Он как-то сразу успокоился.

Мы подошли к обвалу. Осмотрев его, убедились: своими силами нам отсюда не выбраться. Не исключено, что порода осела по всему штреку.

Для устранения такого обвала нужны недели.

Наш забой напоминал собой пещеру шириной в десять метров и метров в двадцать длиной, при высоте свода в три метра. Он мог обеспечить нас воздухом на сутки, не больше.

Нами овладело гнетущее чувство обреченности. Нагель впал в полное отчаяние и все время, точно молитву, растерянно бормотал:

— Нас откапают... нас откапают... нас непременно откапают...

— Ничего, Владек,— обнадеживал меня Стасик.— Не вешай носа! Наше счастье, что с нами фашист. Его не бросят.

Время, казалось, остановилось. Минуты тянулись как сама вечность. В голове у меня царил какой-то хаос.

Нагель сел на отвал породы, тупо посмотрел вокруг и вдруг стал всхлипывать, как дитя. Он расклеился окончательно.

— Простите меня, ребята!— сказал он сквозь слезы. — Я был к вам несправедлив.

И странное дело — мне стало жаль ненавистного до этого штейгера. Очевидно, точно такое же чувство появилось и у Стасика. Он взволнованно шагал по забою, потом остановился и сказал:

— Вместо того чтобы киснуть, шлях бы его трафил, давайте лучше пообедаем. Все равно двум смертям не бывать, чего уж...

С этими словами Стасик взял свою сумку и, подсев ко мне, выложил все продукты. Потом обратился к штейгеру:

— Подсаживайся, Нагель, пообедаем, небось на голодный желудок помирать тяжело.

Штейгер сразу как-то встрепенулся, выложил из своего портфеля все, что там было, и сказал:

— Ешьте, ребята, вы молодые...

— А ты разве старик,— усмехнулся Стасик.— Сколько тебе лет?

— Сорок два.

— Какая же это старость? Жена, дети у тебя есть?

Лицо Нагеля прояснилось, взгляд стал ласковым, даже нежным.

— У меня молодая, очень красивая жена. Я ее так люблю...— Голос его дрогнул.— А дочка... ей пять лет... кудрявенькая такая...— И он снова начал всхлипывать.

Стасик был уже не рад, что затеял этот разговор.

— Ну хватит, будет уж! Все обойдется.

После обеда Стасик, как только мог, подбадривал меня и Нагеля тем, что спасательные работы уже ведутся. Я охотно верил ему, и наше положение уже не казалось столь безнадежным. Даже Нагель немного

повеселел. Он предложил нам поспать, а сам вызвался дежурить.

Проснулся я весь в поту. Раскальвалась от боли голова, зверски хотелось пить. В потемках едва мерцала одна карбидная лампа, словно свеча над покойником. Рядом сидел Стасик, а Нагель нервно вышагивал по забою. Его долговязая фигура сновала взад-вперед, как привидение. Под ногами трещал уголь, и этот треск лишь усиливал мертвую тишину и гнетущее чувство безысходности.

— Как-то странно держит себя Нагель, — шепнул мне Стасик. Он помолчал, потом окликнул штейгера: — Нагель, пить хочешь? Иди-ка сюда, выпей немного чаю.

— Пить?— удивленно переспросил Нагель и ни с того ни с сего расхохотался.

— Иди сюда, — повторил Стасик, — доедим, что осталось, выпьем чай и ляжем спать. Нужно беречь силы.

Штейгер послушно сел. Мы доели все до последней крошки и допили чай. Стасик, попросив меня подежурить, заснул.

Я сидел и не сводил глаз с Нагеля, а он все ходил и ходил по забою. Несколько раз я пробовал заговорить с ним, но штейгер не обращал на меня никакого внимания. Так продолжалось часа два. Мне стало не по себе, и я разбудил Стасика.

— Ничего не слышно? — спросил он.— А Нагель все шагает?

— Шагает,— сказал я.

— Гм...— обеспокоенно хмыкнул Стасик.— Нагель, который час?

Тот ничего не ответил.

— Ну и черт с ним. Ох, голова будто свинцом налита, и пить хочется... — впервые за это время пожаловался Стасик.

Через несколько часов мы будем отравлены углекислотой, ведь с каждой минутой кислорода становилось все меньше и меньше. По всему телу разливалась слабость, мною овладело тупое безразличие ко всему, и я заснул.

Разбудил меня какой-то крик, непонятная возня в забое.

— Владек, помоги!— услышал я голос своего друга.— Я тут, я держу Нагеля, он тронулся! Возьми в кармане моей куртки зажигалку и присвети. Только быстро.

Словно в бреду, я поднялся на ноги, вслепую кинулся на голос Стасика.

Вдвоем мы одолели Нагеля, связали ему поясами руки и ноги. Он орал не своим голосом, извивался, как спрут, бился головой об уголь, и мы с трудом кое-как его. утихомирили.

При свете зажигалки я увидел исцарапанное, окровавленное лицо Стася.

— Пока горит зажигалка,— хрипло произнес Стась,— поищи проволоку, а то ремень может не выдержать.

Мы скрутили руки сумасшедшего и привязали его к стойке. Нагель судорожно дергался, неистово кричал или дико хохотал. Жутко было слышать этот хохот безумного штейгера.

Зажигалка погасла, и все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Наконец успокоился и Нагель. Мы уже потеряли всякую надежду. Несколько раз я терял сознание, бредил.

В ту минуту, когда я пришел в себя, мой слух уловил какое-то слабое постукивание. Как видно, его услышал и Стасик, потому что на несколько секунд затаил дыхание и напряженно прислушивался. Постукивание стало отчетливее.

— Слышишь? — прошептал Стасик, словно боясь спугнуть эти глухие и призрачные звуки.

— Слышу! Слышу!— радостно произнес я и зарыдал, прильнув к груди своего товарища.

И хотя мы задыхались от недостатка кислорода, настроение наше заметно улучшилось. Мы сидели обнявшись и плакали. Сколько времени это продолжалось — не знаю, но вот отчетливо послышалось скрежетание бура, вгрызавшегося в породу. Стасик вынул зажигалку и без конца щелкал ею. Наконец появился слабый огонек. Осторожно, чтобы не погасить его, Стасик встал и, с трудом переставляя ноги, подошел к завалу. Через секунду послышался его радостный голос:

— Владек, сюда! Мы спасены!

Из последних сил я пополз к нему. То, что я увидел, заставило радостно дрогнуть сердце. Из отверстия в породе торчал конец тонкой металлической трубки. Припав к ней, Стасик жадно вдыхал. Это наши спасатели пробуравили в каменной глыбе отверстие, вставили в него длинную трубку и пустили по ней из баллона кислород. Мы по очереди втягивали в легкие прохладные живительные струи. Потом подтащили к завалу уже бесчувственного Нагеля и положили лицом к отверстию трубки. Через некоторое время он очнулся и начал что-то бормотать.

Кислород поступал непрерывно. Мы могли свободно дышать.

Ползая на четвереньках, мы нащупали кайло и, вернувшись к завалу, стали осторожно стучать по трубке. В ответ слышали точно такие же постукивания.

И наконец настала столь желанная, столь незабвенная минута.

Откололся кусок породы, и в образовавшееся отверстие брызнул электрический свет.

— Живы?

Мы оттащили Нагеля в глубину забоя.

— Давай развяжем его, а то еще обвинят нас в насилии над немцем, — сказал Стасик.

Высвободившись от пут, Нагель стал на четвереньки, потом поднялся на ноги и, словно пьяный — его качало из стороны в сторону, — начал ходить по забою, натываясь на стойки и вагонетки. Вдруг он снова захохотал, но мы уже не обращали на него никакого внимания. Вскоре через довольно просторное отверстие пролез человек в каске. Он подбежал к нам с санитарной сумкой и кислородной маской в руках и спросил:

— Раненые есть? Кто нуждается в медицинской помощи?

— Да вот Нагель... наш штейгер, — ответил Стасик.

Санитар подбежал к Нагелю и, увидя его окровавленное лицо, стал доставать из сумки бинт и вату.

— Хайльхитла! Хайльхитла! — дико заорал Нагель, а потом взорвался хохотом и бранью. Сильным ударом сбил с ног санитар. Немцы, которые пролезли в отверстие вслед за санитаром, бросились к потерявшему рассудок штейгеру, а он крушил своими кулачищами всех подряд. Спасатели, не ожидая такой встречи, сперва растерялись, но потом свалили сумасшедшего и, уложив на носилки, унесли.

— Давно с ним такое? — спросил санитар, вытирая разбитый нос.

— Недавно, — ответил Стасик.

— Как же вы с ним...

— Держали в объятиях, — усмехнулся Стасик.

Санитар с уважением посмотрел на мощную фигуру поляка.

Нас напоили чаем и спросили, сможем ли мы пойти сами.

Мы пролезли через только что сделанное отверстие, догнали санитаров, несших носилки с Нагелем, и, поддерживая друг друга, побрели к стволу. За нами шла команда спасателей. Не знаю, сколько часов они работали, но усталость валила их с ног. Это были простые немецкие шахтеры, и их сочувственное, человеческое отношение глубоко тронуло нас. Они же сказали нам, что в заваленном забое мы просидели сорок шесть часов.

И вот подъемная клетка мчит нас вверх. Возле эстакады надшахтного строения стоят две машины «скорой помощи», а рядом с врачами в белых халатах два веркшютца, вооруженные карабинами и дубинками. Они ожидали нас. Шуцманы явились за мной (причем двое — за одним

узником) независимо от того, придется ли им конвоировать живого или мертвого.

К носилкам с Нагелем подбежала необычайно красивая молодая женщина, с которой была маленькая девочка. Женщина упала на колени, прижалась к груди связанного мужа и зарыдала. Девочка испуганно смотрела на эту сцену, не узнавая отца,— ведь он был весь черный от угольной пыли, и она никогда не видела его таким. Она горько заплакала. Каково же было мое изумление! В этой рыдающей женщине и ее дочери я узнал тех, что прогуливались в скверике, когда нас вели из тюрьмы в шахту...

Носилки с Нагелем поставили в санитарную машину, она умчалась в городскую больницу. Нас со Стасиком шуцманы повезли в душевую.

После душевой нас отправили в медпункт. Врач на скорую руку осмотрел обоих, дал выпить какие-то порошки и сказал:

— Все в порядке. Телесных повреждений нет. Сутки отдыха, в воскресенье на работу.

Стоял погожий теплый день. Ослепительно светило солнце. Воздух, напоенный ласковым солнечным теплом и ароматом зелени, пьянил. Весело чирикали воробьи в густых кронах деревьев. После всего пережитого в заваленном забое на глубине шестисот метров под землей прекрасным и необычным показался мне этот мир, мир солнца, тепла, зелени...

Возле раздевалки мы встретили большую группу английских военнопленных, которых только что привезли сюда на вторую смену. Увидя нас, англичане оживленно заговорили, приветливо закивали. Кто-то им сказал, что мы и есть те шахтеры, которых почти двое суток откапывали и уже считали погибшими. Нас окружили, приветливо улыбаясь, жестикулировали, что-то говорили, а потом надавали мне и Стасику сигарет, плиточного шоколада, пакетиков с галетами и бутербродами.

— Мне не нужно,— пробовал отказаться Стасик.— Ему — дело другое... Он русский, заключенный...

Но его не слушали. Англичане успокоились только тогда, когда увидели, что нам уже некуда девать их подарки.

Растроганные и взволнованные, мы с трудом выбрались из их окружения. Стасик пошел к воротам, а меня два веркшютца повели в лагерь. Карманы мои были набиты до отказа, в руках я нес коробки с галетами, печеньем, шоколад, пачки сигарет. Веркшютцы посматривали на меня с плохо скрытой завистью, а потом дипломатически завели разговор о качестве английских сигарет.

Я понял, куда они гнут, и предложил им несколько пачек. Воровато оглянувшись по сторонам, веркшютцы поспешно спрятали их в карманы, прихватив заодно и по две плитки шоколада.

— Если лагерфюрер отберет у тебя все, мы подбросим тебе зуппе,— милостиво посулил мне один из них. Я поблагодарил его, а сам невольно подумал, что, если бы заключенный отобрал у немца хотя бы одну пачку сигарет, его непременно повесили бы как вора.

Когда мы подошли к лагерю, из ворот выходила колонна узников, которых вели в шахту. Пересчитывал их сам Мерин.

— Хайльгитла! Герр лагерфюрер! Заключенный номер тысяча семьсот двадцать девять, которого завалило в забое, доставлен!— отрапортовал один из веркшютцев.

— А это что?— Мерин кивнул на мои оттопыренные карманы и пакеты в руках.

— Это англичане, герр лагерфюрер. Нам неудобно было перечить. Все-таки англичане...

— Англичане... алее шайзе... — буркнул себе под нос Мерин, а потом гаркнул:— Марш за мной!

В кабинете Фаст потребовал, чтобы я все выложил на стол. После чего выбрал самый маленький пакетик с бутербродами, ткнул его мне и приказал:

— А теперь — марш! Вон!

Веркшютцы сдержали слово и во время раздачи баланды дали мне добавочную миску пойла. Более того, они доверительно сообщили, что в связи с субботой лагерфюрера не будет на вечернем аппеле и я смогу поспать.

Я сразу же пошел в барак, забрался на нары и заснул мертвецким сном.

Глава 7

Весь последующий день меня трясло как в лихорадке. Я окончательно решил бежать, не откладывая. Но теперь это зависело от многих неизвестных: а вдруг

Стасика переведут в другую смену? А что если нашу бригаду расформируют и меня пошлют на другой горизонт, в другую лаву?

На утреннем аппеле я ни жив ни мертв стоял среди тех, кто должен был идти в первую смену. Мой номер не вызвали. Я с облегчением вздохнул. Однако волнения на этом не кончились. А что, если Стасика перевели в третью смену? Можно было сойти с ума от этих мыслей! После обеда выстроили вторую смену. В ней оказался и я. Возле клетки штейгеры начали разбирать своих заключенных. Неожиданно меня кто-то

подтолкнул:

— А ну шевелись, сонная тетеря, доннер веттер!

Я чуть не закричал от радости. Это был Стасик. Когда клеть остановилась и из нее высыпали шахтеры и начали растекаться в разные стороны, мы отошли немного, остановились и обнялись, словно после долгой разлуки. От огромного нервного напряжения я весь дрожал.

— Владек, успокойся,— ободрял меня Стась. — Мы живы и снова вместе. Сегодня же уйдем отсюда навсегда, успокойся, малыш!

Вот и наш штрек. Его уже не узнать. Он расчищен от обвала, поставлено новое крепление. Три предыдущие смены углубили выработку. В новом забое мы застали бринтмастера и бригаду крепильщиков.

— Хайль Гитлер!— неожиданно приветствовал Стасик немцев.

Те с удивлением поглядели на поляка и не ответили.

— С каких это пор поляки начали так почитать фюрера? — язвительно спросил один из шахтеров.

— Да будет вам известно, камрады,— ничуть не смутился Стась,— что я не поляк, а фольксдойче. Сегодня получил документы. Наконец-то справедливость восторжествовала!

— Выходит, теперь ты будешь замещать Нагеля?

— Конечно. Завтра мне дадут еще двух русских, и я возглавлю бригаду.

Стась мастерски копировал Нагеля. Даже на меня покрикивал точно так же. Поставив крепления, немцы перешли в другой забой, а мы со Стасем взялись за работу. Он был очень возбужден, шутил, заражая своим настроением и меня.

— Представляешь, как завтра явятся эти болваны, а новоиспеченного штейгера фольксдойче пана Станислава Бжозовского и его доблестной бригады в лице пана Владека и след простыл. Вот диковина будет! Хотел бы я увидеть их рожи, — не унимался Стасик.

— А из тебя мог бы получиться неплохой актер,— сказал я, любуясь своим другом.

— Актер — пустое дело,— серьезно ответил Стась.— Вместо того чтобы паясничать в этой дыре перед ослами, лучше бы нам с тобой пускать под откос фашистские эшелоны, взрывать мосты. Вот то, настоящее дело! Ты готов к этому?

— Я ко всему готов. Если нужно будет, и к смерти.

— Помирать не торопись. Мы еще повоюем, еще не одному арийцу свернем шею. Я купил две финки. Это уже оружие. С ними мы раздобудем карабины или автоматы. Тогда начнем настоящую борьбу. И еще запомни,

— продолжал Стась. — Дело, на которое мы идем, требует мужества. Бывает так: человек решился на отчаянный шаг, но в критический момент может спасовать. Тогда конец. Понимаешь, о чем я говорю?

— Все понимаю и клянусь свободой: не подведу тебя ни в чем!

Обнявшись, мы поклялись друг другу в верности. Я понимал, что это делалось не из любви к романтике. Ведь мы решились на отчаянное дело, где ставкой была жизнь.

За работой и разговорами прошло несколько часов. Стась предложил перекусить. После обеда он настоял, чтобы мы по очереди немного поспали.

— Нужно набрать сил на дорогу. Засни ты первый,— сказал он,— а я покараулю.

События последних дней так измотали нас, что Стась и сам не заметил, как прикорнул возле меня. Проснулся я от удара по спине. Как ужаленный вскакиваю и первое, что вижу, ослепительный свет аккумуляторной лампы, а в нем прямо перед собой студенистую, как желе, искривленную яростью физиономию обер-инженера Гоппе. Он задышался от злобы, обрушивая на меня удар за ударом. Не успел я крикнуть «Стась!», как разъяренный Гоппе набросился и на сонного поляка. Все дальнейшее произошло мгновенно. Вскочив, Стась вырвал из рук обер-инженера палку, переломил ее о колено и шагнул на Хромого. Перепуганный Гоппе попятился, дрожащая его рука полезла в карман.

— Берегись!— крикнул я Стасю. И в ту же секунду в руке Хромого блеснула сталь пистолета.

Стасик что-то крикнул, схватил кайло и ударил им по голове обер-инженера. Уронив браунинг и лампу, Гоппе беззвучно рухнул на груды угля, прямо к моим ногам. Рука, только что державшая оружие, дернулась в последней конвульсии. Сухие крючковатые пальцы, украшенные дорогими перстнями, словно когти хищника царапнули уголь и замерли.

По спине поползли мурашки, лоб взмок от пота. Нас обоих ждала виселица. Страх парализовал меня. Я не знал, что делать. Понимал только одно: нельзя терять ни секунды. Первым пришел в себя Стасик. Он поднял пистолет, сдул с него угольную пыль, вынул обойму, деловито проверил патроны. Внешне Стась выглядел спокойно, но я заметил, как у него дрожали пальцы.

— Ну что ж, — сказал он, пряча браунинг в карман,— немного не по плану, но начало все же положено: одним гадом стало меньше.

Обыскав карманы Хромого, он снял с него пиджак и обернул голову убитого, крест-накрест связав рукава. Мы отнесли труп чуть в сторону, а

место, где он лежал, засыпали, чтоб уничтожить следы крови. После этого сунули ему под ремень сломанную палку. Взяв тело за руки и за ноги, мы понесли его к старым выработкам затопленного штрека.

Никто нам не встретился. Мы перебросили мертвого через кирпичную кладку, которой был обложен затопленный штрек, перелезли туда сами и, сгибаясь под нависшими глыбами осевшей породы, отнесли Хромого в глубину выработки, присыпали породой и кусками сгнивших стоек, а сами поспешили назад.

Кайлы, лопаты, вагонетки — все было на месте. Это нас немного успокоило. Чувство тревоги и страха постепенно проходило.

Еще никогда мы не работали с таким рвением. Надо было торопиться, чтобы до конца смены отправить хотя бы с десяток вагонеток и таким образом замести все следы.

Когда мы отправляли свою первую вагонетку и перед выходом из штрека на центральную магистраль цепляли ее к веренице остальных, Стасик, стерев номера, обозначенные мелом на чужих наполненных вагонетках, поставил цифру 43 — номер нашей бригады. До конца смены мы отправили семь своих вагонеток и приписали себе десяток чужих. Для выполнения нормы оставалось дать еще одну. Мы нагрузили ее, а когда пришла смена, собрали инструмент, сложили его на вагонетку и собрались уходить.

— Сколько дали?— спросил прибывший штейгер.

— Восемнадцать,— ответил Стась.

— А почему в забое осталось так много угля?

— Бурильщики обрушили больше нормы, думали, что нас будет трое.

— Ладно, ступайте, только отправьте свою вагонетку, — сказал штейгер.

На поверхности еще не было ни веркшютцев, ни солдат конвоя. Они появятся здесь минут через пятнадцать. У меня неистово колотилось сердце: достаточно было кому-нибудь увидеть нас, и все планы лопнут, как мыльный пузырь. Но Стась продумал мельчайшие подробности побега.

Сойдя с эстакады, мы очутились в шахтном дворе, по которому нас, узников, водили только под конвоем.

Начинало смеркаться. Парило. Небо обложили тяжелые черные тучи. Надвигалась гроза.

Мы подошли к большому помещению из красного кирпича. Там размещались раздевалки и душевые. В них между сменами мылись и переодевались тысячи шахтеров «Гогенцоллернгрубе».

Мы пошли в раздевалку польских рабочих. Она занимала половину

огромного зала, перегороженного от пола до потолка металлической сеткой, за которой переодевались немцы.

Стась отомкнул свой шкафчик и, став спиной к сетке, вынул пистолет и переложил его в свой новый костюм.

— Раздевайся, но только не торопись. Спокойно! И не оглядывайся на немцев.

Раздевшись, мы спрятали свои черные робы в нижнее отделение, взяли мыло, мочалку и отправились в душевую. Стась плотно притворил за собой дверь, развернул мочалку и достал спрятанный в ней парик.

— Теперь надо подождать поляков,— сказал он.— Пока их не будет, воду пускать нельзя, иначе веркшютцы услышат.

Проходили минуты страшного напряжения. Мне показалось, что биение моего сердца слышно за дверью. Но вот в коридоре раздался шум, долетели обрывки разговора, смех. Это пришли веркшютцы и немецкая военная охрана. Мучительно медленно тянулось время. Наконец распахнулись двери, и голые, черные, как сажа, польские шахтеры ввалились в душевую.

Помещение наполнилось паром, раздавались громкие голоса. Мы помылись раньше всех, но выходить не торопились. Только после того как душевую покинул последний поляк, Стась ловко натянул мне на голову парик и подтолкнул под душ, чтобы я смочил свои новые волосы. Потом, обняв меня за плечи и насвистывая какую-то немецкую песенку, провел по коридору в раздевалку. Там мы переоделись. На мне был костюм, шляпа, даже галстук

Вместе с поляками мы прошли по коридору во двор.

В воздухе все сильнее пахло грозой. Фиолетовые молнии то и дело раскалывали низко нависшие тучи. Могучие удары грома сотрясали воздух. Налетел вихрь, взметнул к небу черную пыль и мусор.

Поляки торопились к проходной, чтобы успеть до дождя добраться к своим баракам. Мы не отставали ни на шаг. Оставалось самое трудное — пройти контрольно-пропускной пункт. Там проверяли аусвайсы.

— Подожди! — остановил меня Стась. Он вынул пистолет, поставил на боевой взвод и осторожно опустил во внутренний карман пиджака.

— Иди вперед,— сказал он.— Когда поравняешься с часовым, небрежно вынешь аусвайс, чуть поднимешь его и, не замедляя шага, пройдешь дальше. Если он и попытается остановить тебя, я буду стрелять. Тогда беги за ворота, там свернешь в улицу направо. Я догоню тебя.

Мы снова пристроились за поляками. Очередь быстро продвигалась. Вправо и влево от ворот, вооруженные карабинами, в плащах-дождевиках

стояли веркшютцы. При свете прожекторов они просматривали аусвайсы.

В это мгновение в небе вспыхнула огромная извилистая молния, загрохотал гром, и по земле застучали первые капли дождя. Теперь вахтеры не очень-то станут приглядываться к нам. Дело в том, что у меня был польский аусвайс, но с чужим фото. Правда, на лацкане моего пиджака был нашит знак в виде желтого четырехугольника с немецкой буквой Р, как у всех поляков. Так что в этом отношении я не должен был вызвать подозрение.

Тем временем дождь припустил по-настоящему. Веркшютцам было не до фотографий. «Вайтер, вайтер, бевегтойх, шнель!»* — покрикивали они, и очередь быстро продвигалась. «Шнель!» — услышал я обращенный ко мне окрик и ускорил шаг. За мною вышел Стась. Если бы он только знал, каких огромных усилий стоило мне сдержать себя и не броситься бежать!

*Давай, давай, шевелись, быстрее! (нем.).

— Спокойно! — сказал Стась, сжав мою руку. — Выйдем на главную магистраль Бойтен — Катовице, по ней доберемся до восточной окраины и глухими переулками выскользнем из города. До утра мы должны быть в Польше. Выспимся и отдохнем в лесу.

Поляки, с которыми мы вышли, повернули влево, в западную часть Бойтена, где находились их бараки, мы же со Стасем свернули на Катовицкое шоссе. Черная густая тьма ночи поглотила нас.

Глава 8

Стась отлично знал город и безошибочно вел на восток. Мы прошли с километр, никого не встретив. Все живое спряталось, словно вымерло. Нигде ни огонька — немцы строго придерживались светомаскировки. Только вспышки молнии время от времени освещали нам путь.

— Сейчас будет мост. От него до Катовиц пятнадцать километров, — сказал Стась. — За мостом начинается дачная околица. Там будет безопаснее.

Вот мы на мосту. Во тьме не было видно, что под ним: река, дорога или просто балка. Мы прошли метров сто. Вдруг впереди послышались тяжелые шаги. Это могли быть либо полицаи, либо жандармы. В Германии так ходили только они. На мгновение замираем, не знаем как быть...

Тяжелый топот кованых сапог приближался. Неожиданно мрак прорезал ослепительно белый луч, ощупал весь мост и остановился на нас. Меня словно ударили в глаза. Я окончательно растерялся.

— За мной! — скомандовал Стась, и мы пошли вперед. Бежать было бессмысленно: прожектор держал нас на прицеле. К нам приближалось двое военных в больших плащ-накидках, с автоматами на груди. На головах

у них — каски с двумя козырьками, спереди и сзади (их носили жандармы и гестаповцы). Узники-беглецы о таких касках говорили: «Здравствуй и прощай». Козырек спереди — «здравствуй, гестапо»; козырек сзади — «прощай, жизнь».

— Ты молчи — я буду разговаривать сам. Да вынь руку из кармана,— патрули этого не терпят,— успел сказать мне Стась.

Команда «хальт!» прозвучала, как выстрел в лицо. «Документ, аусвайс!»

— Пожалуйста,— спокойно ответил по-немецки Стась и неторопливо полез во внутренний карман пиджака.

Я стоял ни жив ни мертв. Не успел опомниться, как один за другим грохнули два выстрела. Оба гестаповца рухнули на мостовую. Резко лягнули о камни брусчатки их автоматы и каски. В это мгновение слева от нас прогремели выстрелы из карабинов.

— За мной!— крикнул Стась и рванулся вперед. Споткнувшись, я плюхнулся плашмя в наполненный водой кювет, но тут же вскочил и побежал за Стасем, который свернул с дороги вправо. Я уже не видел его, только слышал, как шлепали по лужам башмаки. Через минуту-другую я перестал слышать и это. Выстрелы позади прекратились, зато пронзительно засвистели полицейские свистки, причем одновременно, как мне показалось, отовсюду.

Вспыхнула молния, и я увидел перед собой ровную линию аккуратных заборов, а за ними темную стену садов. Где же Стасик? Внезапно совсем с другой стороны послышался далекий голос: «Владек!»— вслед за ним грозный окрик «хальт!» и два пистолетных выстрела. Я побежал наугад, наткнулся на ограду, перелез через нее, затем через другую, третью... Казалось, конца не будет этим оградкам. Далеко впереди я слышал треск заборов и тяжелый топот. Наконец все стихло. Меня охватило полное отчаяние. Бежать в том направлении, в каком побежал Стась, было бессмысленно. Я мог нарваться на полицаев. Надо запутать следы и сбить с толку преследователей.

Прошло не менее часа, пока я выбрался из лабиринта дачных усадеб. Когда последние силы уже покидали меня, решил остановиться, перевести дыхание. Мокрый до нитки, я прижался к какому-то дереву и прислушался.

Дождь прекратился. В ночном воздухе остро пахло цветами, сочной зеленью, мокрой землей.

Выстрелы разбудили жителей поселка. Перепуганные, сонные, забыв даже о суровых правилах светомаскировки, они включали электричество, выходили из своих домиков и спрашивали друг друга, что случилось.

Я с тоской подумал, что выбраться отсюда уже не удастся. В лучшем случае продержусь до утра, а там меня сразу же сцапают.

Хотя я и потерял надежду на спасение, но все же снова заметался в квадратиках дач, которым, казалось, конца-краю не будет. Наконец после бесконечных головокружительных прыжков через заборы и бешеной беготни я совершенно неожиданно очутился на свободном пространстве. Пробежав еще несколько сот метров, с ужасом увидел впереди громадину террикона и шахтные строения. Вместо того чтобы выскользнуть из Бойтена и податься на восток, я возвращался туда, откуда бежал. Фатальный круг замкнулся. Я почувствовал себя в капкане, выбраться из которого невозможно!

Мой взгляд остановился на каком-то большом черном предмете, маячившем впереди. Приглядевшись, увидел синюю электрическую лампу и с ужасом понял, что передо мной, в каких-нибудь двадцати-тридцати метрах, проходная шахты. В следующее мгновение моя догадка подтвердилась: скрипнула дверь, и в освещенной раме притолоки застыла фигура шуцмана с аккумуляторным прожектором на груди, с карабином за плечами. Я камнем упал на землю, и как раз вовремя. К счастью, вахтер ничего не заметил. Он постоял, громко зевнул, почесал затылок, поглядел в темное небо и пошел назад. Это была другая шахта, не «Гогенцоллернгрубе».

Неожиданно темноту ночи разорвал голубовато-белый свет прожектора. Оттуда, где он вспыхнул, грозно зарычала овчарка. Пока его размашистый луч шарил по двору, я, припадая к земле, пополз назад, потом вскочил и что есть духу побежал. Даже не заметил, как передо мною разверзлась какая-то бездна. Я плюхнулся во что-то жидкое, вонючее и камнем пошел ко дну. Инстинкт самозащиты заставил меня вынырнуть. Вонючая вода была с привкусом нефти и трансформаторного масла. Проплыв несколько метров, натыкаюсь на совершенно гладкую бетонную стену. Механически плыву вдоль нее и неожиданно для себя нащупываю какую-то металлическую скобу, схватившись за которую я могу отдышаться. Пошарил рукой повыше — там вторая скоба. По этим скобам и выбрался я из проклятого котлована и побежал куда глаза глядят. Последние силы покидали меня. Мной овладело тупое безразличие ко всему. И вдруг я услышал гудок паровозика, который, натужно пыхтя и маневрируя возле шахтной эстакады, наверно, загонял вагоны под загрузку.

Молниеносно созрел план: груженные углем вагоны не будут долго стоять на месте. Их куда-нибудь да повезут — возможно, на восток. Забраться в один из пульманов и зарыться в уголь. Вот в чем мое спасение.

Вскоре я был уже в одном из пустых пульманов. Отбежал в угол, приник лицом к металлической стенке, закрыл голову руками. Вот заскрежетало железо и из бункера с невероятным грохотом сплошным потоком посыпался в вагон антрацит. Всего лишь несколько кусков ударили меня по спине. Я заработал ногами, поднимаясь на кучу угля, которая ежеминутно увеличивалась. Постепенно вагон заполнялся углем. Туча пыли скрыла меня от посторонних глаз, а когда она рассеялась, я уже лежал возле самого борта под углем. Из него торчала только голова. Можно было дышать и видеть, что делается вокруг. Вдруг мне на голову откуда-то сверху брызнули какой-то жидкостью. Позже, я понял, что это был известковый раствор, которым «опечатывали» груженые углем вагоны.

Огромное нервное напряжение понемногу стало спадать, уступив место нестерпимой физической боли. Острые, как шипы, куски антрацита впивались в тело, доводя до судорог.

После долгого маневрирования паровозик втащил груженые углем вагоны на товарную станцию, где их загнали в тупик и отцепили. Они простояли там почти до утра. Трудно даже вообразить себе, какие душевные и физические муки испытал я на протяжении этой нескончаемой ночи. Ко всему меня томила невыносимая жажда. С каждой минутой я все больше и больше чувствовал, как мое тело наливается смертельной усталостью, веки слипаются. И я не заметил, как заснул. Это был какой-то сплошной кошмар. Чего только не мерещилось мне! Прежде всего передо мною выросла бульдожья, с пеной у рта отвратительная рожа Хромого. Он уставился на меня воспаленными хищными глазками и протянул к горлу крючковатые костлявые пальцы. «Все равно не убежишь!»— угрожающе шипел Гоппе. Мгновение спустя он уже целился мне в глаза палкой с острым наконечником. Гоппе сменил лагерфюрер Фаст. Размахивая добротной большой плеткой из воловьих жил, он тоже кричал, что мне ни за что не удастся убежать. Потом появился толстый, с лысым и блестящим, как бильярдный шар, черепом Фишер, ассистент доктора Баршке. Он приехал за моим трупом. Брезгливо морщась, Фишер ощупывал мое тело и азартно торговался с Мерином. «Да разве это товар!— с пеной у рта доказывал он Мерину.— Ведь труп совершенно высох. Ему красная цена десять марок!» А вот я заблудился в затопленных штреках «Гогенцоллернгрубе», и целая свора верхшютцев, впереди которых бегут разъяренные овчарки, каждая величиной с доброго теленка, преследуют меня. Я падаю и... просыпаюсь. Весь мокрый дрожу — зуб на зуб не попадает. Никак не могу понять, где я. Заставил себя пошевелинуться. Болит каждая клеточка моего тела! Задубелыми пальцами разгребаю

какую-то массу, что давит и давит... Ах да, это же уголь...

Теплая волна радости разливается по моему истерзанному телу. Натужно пыхтя, паровоз тащит со станции Бойтен вереницу вагонов. Он уже набрал скорость. На стыках рельсов ритмично стучат колеса, куда-то назад торопливо бегут светофоры.

Прощай, ненавистный город шахт и рабов! Я вырвался из твоих смертельных объятий!

Просыпался серый рассвет. В небе бледнели и гасли дрожащие звезды. Из окружающего мрака проступали расплывчатые контуры каких-то строений.

Я выбрался из-под угля, сел и, поживаясь от встречного потока холодного воздуха, принялся растирать окоченевшее тело. Немного придя в себя, пытаюсь сориентироваться, в каком направлении мчит эшелон.

Рассвет разгорался медленно. Далеко-далеко за лесными просторами появились первые робкие полосы света утренней зари. Багрянец зарницы разливался все дальше и дальше, вот он уже затопил полнеба, и вскоре из-за горизонта выкатилось огромное кроваво-красное солнце. Поезд мчал прямо на него. Значит, я еду на восток!

Но радость моя оказалась преждевременной. Изогнувшись змеей, поезд начал менять направление. Сперва солнце переместилось вправо, а вскоре очутилось позади, и я понял, что еду на запад. Это открытие ошеломило меня, наполнило душу ужасом и отчаянием. Огонек надежды окончательно погас.

Я решил прыгать на ходу. Сразу же вспомнил поучительный рассказ о том, как нужно прыгать с идущего поезда. Это было в Кройцбурге на пересыльном пункте в апреле нынешнего года. Меня — в который уже раз — поймали и бросили в лагерь, где находились преимущественно советские военнопленные. Лагерь был пересыльный, и невольников долго в нем не держали. Их сортировали и отправляли в различные лагеря: для военнопленных, в концентрационные, штрафные и так называемые «рабочие». Все они, собственно говоря, мало чем отличались один от другого. В Кройцбургском лагере ни на какие работы нас не гоняли, зато почти и не кормили. Но люди духом не падали. Наступившая весна вселяла надежды на жизнь, на перемену обстановки. Незыблемо верили, что вскоре Красная Армия перейдет в решительное наступление, что союзники наконец откроют второй фронт.

Я с интересом присматривался к военнопленным, прислушивался к их разговорам, жадно усваивал все услышанное. Иногда в бараке тихонько пели излюбленные песни: о ямщике, погибшем в степи, о далеком

священном Байкале, о Днепре ревучем или о слепом кобзаре.

Песни чередовались с рассказами — схожими историями о счастливо удавшихся побегах. И лишь у одной был трагический финал. Шамкая беззубым ртом, узник рассказал, как полсотни советских военнопленных осуществили групповой побег во время движения поезда. Их везли в товарном вагоне. Проломив пол, они проскальзывали в проем один за другим и падали на железнодорожное полотно. Уцелели только трое. Но и они получили тяжелые травмы и далеко отползти не смогли. Утром примчалось гестапо и с помощью собак быстро нашли несчастливцев. Двоих убили, а этого помиловали — нужен был свидетель. «Вот только зубы прикладами выбили», — закончил свою трагическую повесть военнопленный.

— Кто же прыгает под поезд? — вмешался в разговор наш сосед по нарам. — Это ведь безумие.

И он рассказал, что на любой скорости можно удачно совершить прыжок. Только делать это нужно умеючи, в момент, когда поезд идет по крутой насыпи. Выбросившись из вагона, будешь лететь по инерции вперед, по траектории, касательной относительно склона. Лучше всего прыгать в снег. Трава и кусты летом тоже могут сыграть роль амортизаторов. В момент полета нужно сжаться в комок, руки прижать к груди, согнутые в коленях ноги — к животу, а голову втянуть в плечи. Тогда, приземляясь, ты будешь катиться, как мяч. Это убережет от переломов и травм. Сам он, оказывается, был акробатом в цирке и знал толк в таких делах (я тоже до войны увлекался акробатикой, и не без успеха).

Тем временем поезд, не замедляя хода, миновал станцию. Я успел прочесть название: «Onneln. Так ведь это в сорока километрах на запад от Бойтена. А восток, столь желанный моему сердцу, оставался недостижим! Из вагона хорошо просматривался зеленый простор лесов, а над ними — бездонное небо. Ярко светило утреннее солнце. Внизу сверкнула синяя лента какой-то речушки, извивавшейся в осоке. По обе стороны насыпи зеленели нескошенные луга с разбросанными по ним кустами ольхи.

Улучив момент, когда поезд поднялся на высокую насыпь с крутыми склонами, я выбрался из пульмана, схватился за борт и повис на руках. Лечу, зажмурясь от страха. Ощущение такое, будто много выстрелили из пушки. Но уже в следующую секунду тело резко крутнулось и покатилося по насыпи в какую-то пропасть.

Первое, что я увидел, открыв глаза, было небо. Его будто только что вымыли — такое оно было чистое и бездонное. Поворачиваю голову.

Прямо перед глазами желтая пуговичка, отороченная трогательно белыми лепестками, — полевая ромашка. Шевелю руками, ногами. Как будто все в порядке. Только очень болит левое плечо и правое колено. Ударился, видимо, здорово.

Поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Вокруг покой и тишина, такая, что в ушах звенит. Мне кажется, я слышу, как дышит земля и растет, тянется к солнцу трава. С наслаждением вдыхаю целебный воздух лугов, настоящий на утреннем солнце, на травах и цветах. Меня до слез трогает озерцо синих васильков и кипень белоснежных ромашек неподалеку. Вдали под лесом, выползая из ложбин и оврагов, встают космы утренних туманов. В тишине темными неподвижными комочками повисли неутомимые певцы-жаворонки. Такая благодать!

Пройдя километра два лугом, я наткнулся на речушку. Лег на траву и пересохшими губами жадно припал к воде. Передохнув, решаю помыться и привести в порядок свою одежду. Шляпу и парик я потерял еще во время купанья в котловане. Ну и черт с ними! А вот финки жаль, ее тоже нет. Прежде всего нужно уничтожить все следы моего пребывания на шахте. Я порвал на мелкие клочки свой аусвайс и бросил обрывки в воду. Потом оторвал метку с буквой Р. После этого вытрусил и выстирал свою одежду и расстелил в кустах на солнце. Долго купался сам, но клятый уголь не так-то просто отмыть.

Пока просыхал мой костюм, я лежал на спине и жевал горьковатые стебли, чтобы хоть немного утолить голод. День шел к концу. Вечерело. По лугу ползли и удлинялись тени от кустов и деревьев. Я оделся и взял направление на лес, синевший вдали.

Глава 9

Прошло четверо суток со дня побега из лагеря шахты «Гогенцоллернгрубе». Я пробирался на восток. Шел только ночью. Питался тем, что находил в полях: редиской, морковкой, молодой, мелкой, как горох, картошкой, жевал зеленые колосья ржи. Города и села, что попадались по дороге, обходил стороной.

На пятый день я лежал в кустах на околице затерявшегося в лесах хуторка. Мучительно хотелось есть. И все мысли вертелись вокруг одного: как бы разжиться куском хлеба. Кружилась голова, перед глазами плыли желтые круги, предательская слабость разливалась по телу. Я решил попытать счастья и стал подбираться к последнему двору.

За каменной оградой зеленел роскошный сад, а за ним выглядывали двухэтажный дом, крытый красной черепицей, и несколько хозяйственных строений. Я проскользнул в калитку и притаился в кустах сирени, росшей

поблизости коровника. Вскоре я увидел трех светловолосых девушек в синих рабочих комбинезонах. Они подметали мощный просторный двор. По их речи я понял, что они польки.

Из дома вышел пожилой дородный мужчина. На голове у него была зеленая шляпа, за ленту которой воткнуты несколько ярких перышек. Рукава клетчатой рубашки закатаны по локоть, лицо и шея порядком загорели. Поверх сорочки одет черный жилет. По всему видать — хозяин. Попыхивая большой, причудливо изогнутой трубкой, он вынул из кармана часы, посмотрел на них, потом поглядел на заходящее солнце, что-то сказал девушкам и ушел.

Одна из работниц поставила у коровника метлу и куда-то исчезла. Полчаса спустя она пригнала с поля восемь красной масти коров. Другая девушка принесла белые эмалированные ведра, накрытые марлей, небольшое ведерко, очевидно с водой, белую тряпку и маленький стул. Третья притащила два больших бидона и поставила их возле коровника. Началась дойка.

День угасал. На землю спускались сумерки. Из коровника вышла одна белянка с полным ведром молока. Я тихонько окликнул ее. От неожиданности она вздрогнула, чуть не выронила ведро. Потом, оглядевшись вокруг, подошла ко мне.

Я страшно волновался, путая польские слова:

— Я русский... бегу... из Германии. Несколько дней ничего не ел... ради самого Езуса... прошу вас...

— О, Езус, Мария!— воскликнула пораженная девушка. В ее глазах застыл испуг.

— Не бойся меня,— начал я умолять.— Если не можешь дать хлеба, я уйду, только никому не говори, что видела меня здесь.

— Погоди тут...

Прошло добрых полчаса. Я не знал, как поступить. Уже совсем смеркалось, взошла полная луна, и дружно застрекотали кузнечики. Наконец я увидел две приближающиеся девичьи фигуры.

— На, пей.— Одна из девушек протянула мне ведерко.

Я жадно пил парное пенящееся молоко, а они изумленно смотрели... Потом дали мне небольшой сверток:

— Теперь ступай! Кшися проведет тебя, здесь оставаться опасно.

Недопитое молоко Кшися слила в пузатую бутылку и, взяв меня за руку, вывела со двора. Мы вышли на проселочную дорогу и пошли полями, купающимися в лунном свете.

Девушку интересовало, откуда я иду, что слышно в Германии и скоро

ли закончится война.

Кшися ойкала, изумляясь моим рассказам, и, сама того не замечая, крепко сжимала мне руку. Больше всего ее поразило то, что я, по сути еще мальчик, хилый и слабосильный, отважился бежать из этого ада.

— А мы,— доверительно призналась она,— и думать боимся о побеге.

Кшисе семнадцать лет, ее с подругами Ядзей и Стефой недавно схватили в Кракове и вывезли на работу в Германию. Из распределительного лагеря они попали к этому бауэру «отбывать трудовую повинность». Местность она знала плохо, но посоветовала взять севернее, чтобы обойти промышленные города Силезии. До Кракова, по ее словам, оставалось километров восемьдесят. Оттуда я должен держать путь на Жешув и далее на Львов.

— В Польше не пропадешь,— сказала девушка.— Избегай только встреч с немцами и полицаями.

На прощанье Кшися обняла меня и неловко, как бы благословляя, поцеловала в лоб:

— Шченсь, боже!*

* Спаси, боже! (*польск.*).

Она еще долго стояла на дороге и смотрела мне вслед.

В свертке оказались полбуханки настоящего хлеба, полчетвертинки сала, луковица, соль и еще одна бутылка молока. Этого богатства хватило на два дня.

До Вислы оставалось километров двадцать пять. Об этом сказал мне повстречавшийся старичок. Я рассчитывал преодолеть их за одну ночь и днем отдохнуть, а следующей ночью переплыть реку.

Впереди предвечерняя дымка окутывала сонный хуторок — всего несколько дворов, а за ним вырисовывался на чистом горизонте лесной массив.

В поле ни души. Это показалось весьма странным! Ведь именно в эту пору окучивают картофель, пропалывают свеклу. Решил зайти на хутор. Такое впечатление, что все здесь вымерло. Не слышно ни привычного мычания коров, ни собачьего лая. Единственная улица: поросла высоким бурьяном, в огородах полное запустение. Приглядевшись, я увидел, что ставни окон закрыты, на дверях замки. Судя по всему, хутор покинут.

Я повернул к лесу. И в нем царила настороженная тишина. В тревожной задумчивости стояли стройные сосны. Между ними испуганно таились белокорые березы. Тихо вздыхала нагретая за день земля. Я шел босиком, под ногами шуршали сосновые шишки, потрескивали ветки. Как-то инстинктивно я замедлил шаг и уже не шел, а крался. Мысли о

покинутом хуторе не покидали меня. Почему-то показалось, что за мной следят. Я остановился и, не дыша от страха, стал всматриваться во мрак. Не заметив ничего подозрительного, я пошел дальше. Дорогу неожиданно пересекла просека. Под ногами зашуршал щебень. Я опустился на колени и начал ощупывать его. Позади раздался шорох. Не успел я опомниться, как меня ударили чем-то тяжелым по голове и сбили с ног. Железные пальцы схватили за шею, и хриплый голос прошипел:

— Хенде хох, ферфлюхтес!

В следующее мгновение мне скрутили назад руки, а в рот сунули тряпку. В глаза ударил резкий свет фонарика. Меня обыскали и, не найдя ничего подозрительного, поставили на ноги.

— Форвертс*— услышал я приглушенный голос. Толкнули в спину и куда-то повели, приставив к лопатке ствол автомата или карабина.

* Вперед (нем.).

Глава 10

Я вновь у немцев. Значит, всему конец. Смерть!

Шли долго. Двое здоровил, ведущих меня, не проронили ни слова. Впереди показалось какое-то строение. Меня ввели в узкий полутемный коридор, затем открыли обитую черным дерматином дверь, и я оказался в ярко освещенной комнате. Только и успел заметить двухтумбовый стол и большой портрет Гитлера на стене: один из конвоиров так толкнул меня, что я кубарем покатился по полу. Эсэсовцы сидели на стульях и деревянных лавках. У стены стояла пирамида с оружием, бачок с водой. Окна были плотно завешаны черными бархатными гардинами. Видно, здесь придерживались строгой светомаскировки. Но вот появился офицер, и один из моих конвоиров отрапортовал, что на посту номер двадцать семь задержан партизанский лазутчик, который пытался незаметно подползти к «объекту икс».

Офицер молча выслушал рапорт, затем распорядился объявить тревогу и разбудить начальство. Из рта у меня вынули кляп — суконную пилотку одного из моих конвоиров, на руки надели наручники и повели.

Начальство находилось в небольшом домике поблизости. В нем было всего две комнаты, одна из которых, очевидно, служила спальней, вторая — кабинетом, куда ввели меня. На окнах и дверях висели такие же черные шторы. Шкаф, письменный стол с телефоном, несколько дубовых табуреток, на стенах портреты Гитлера и Геринга, карты Германии и Польши и еще что-то, закрытое ширмочкой. За столом сидел молодой оберштурмбаннфюрер*, а по обе стороны стояли два пожилых офицера.

* Подполковник войск СС.

Молодой с любопытством и даже весело смотрел на меня. Приветливо улыбнувшись, спросил:

— Партизан?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну, это мы быстро выясним,— пообещал он все так же весело.— По-немецки говоришь?

— Никс ферштейн,— ответил я.

— Поляк?

— Украинец.

— По-польски понимаешь?

— Говорите со мной по-русски.

— Ничего, мы найдем общий язык, ты станешь понимать даже по-китайски. Раздеть догола и тщательно осмотреть одежду,— резко скомандовал обер-штурмбаннфюрер.

Мгновенно меня раздели, распорол пиджак и штаны, ощупали каждый рубчик, ничего, конечно, не найдя.

Начался допрос. Оберштурмбаннфюрер задавал вопросы, а один из офицеров, низенький, приземистый, с рыжими щетинистыми усами, переводил. Я понимал, что наступает решительный момент. Как ни странно, но мною вдруг овладело удивительное спокойствие. Очевидно, это природный защитный рефлекс, при котором больше шансов отстоять свою жизнь.

Немцы внимательно выслушали рассказ с моей неизменной версией о сиротстве, после чего оберштурмбаннфюрер предупредил:

— Сейчас мы будем тебя бить до тех пор, пока ты не скажешь правду, как очутился здесь, с какой целью и кто тебя послал.

— Я сказал правду, истинную правду, за что же меня бить?— ответил я и заплакал.

Один из эсэсовцев уже снимал с себя ремень. Второй в мгновение ока повалил меня на табуретку, зажав голову между колен, и началась экзекуция. Я кричал, задыхался от боли, а палачи усердствовали, полосуюя мое истощенное тело. Я терял сознание, меня отливали водой, допрашивали и снова истязали.

Во время допроса один за другим заходили офицеры и докладывали, что на объекте ничего подозрительного не замечено.

Наконец пытки прекратились. Оберштурмбаннфюрер снял трубку и попросил срочно связать его с неким оберфюрером* Остером. Минут через десять резко зазвонил телефон, офицер почтительно вытянулся и начал докладывать: «Задержанный — советский мальчишка лет пятнадцати.

Утверждает, что удрал из эшелона, в котором его везли в Германию, и бродяжничал. Ночью заблудился в лесу и случайно наткнулся на нас. Кажется, нет оснований не верить его словам, так как допрашивали по-настоящему».

*Генерал-майор войск СС.

Я делал, как и прежде, вид, что не понимаю, но внимательно прислушивался к каждому слову. Надежда на жизнь, совсем было угасшая снова затеплилась в моем сердце.

Закончив разговор, офицер попросил соединить его с краковским гестапо.

— Спихнем живчика на них. Это их хлеб, вот пусть и занимаются. Наше дело — охранять.

Оберштурмбаннфюрер приказал принести мне пару солдатского белья, а мои вещи связать, запаковать, они, мол, еще понадобятся в гестапо. «И пусть этот идиот приберет здесь»,— один из офицеров брезгливо показал на лужицу крови на полу.

Наручники сняли. Я с трудом надел белье, опустился на колени и стал жадно пить воду из помойного ведра; напившись, принялся мыть пол. И эта простая работа была для меня настоящей пыткой. Потом на меня снова надели наручники, отвели в караульное помещение и приказали лечь на пол. Два автоматчика не спускали с меня глаз. Уснуть никак не удавалось — болело избитое тело.

Утром меня снова привели туда, где допрашивали накануне. Кроме офицеров, которых я уже видел, здесь были какие-то штатские. Одному из них я слово в слово повторил свой рассказ. Ответы запротоколировали, потом заполнили бланк расписки о том, что «работники краковского гестапо получили от начальника «объекта икс» оберштурмбаннфюрера Гепхарда задержанного русского парня лет 14—16-ти, назвавшегося Иваном Петровым...»

Мне поменяли наручники, старые вернув владельцам. У крыльца уже стояли два черных легковых автомобиля со шторками на боковых и задних стеклах и несколько мотоциклов с колясками. Один из гестаповцев завязал мне глаза и уши. Делалось это для того, чтобы я случайно не увидел объекта и местности, по которой меня повезут. После этого меня посадили в машину. Загудели моторы, затрещали мотоциклы, и машины двинулись в путь.

Вначале ехали по бездорожью. Даже амортизаторы и мягкое сиденье не спасали от бешеной тряски, причинявшей нестерпимую боль. Наконец машина выехала на асфальт. Уже не так горело избитое тело, но началась

новая пытка: стальные «браслеты» все сильнее впивались в кисти рук.

Гестаповские наручники отличались от прочих не только большим весом, но и тем, что имели внутри какое-то каверзное приспособление: при малейшей попытке шевельнуть онемевшими руками они автоматически сжимались еще сильнее. Руки вскоре окончательно онемели.

Наконец машина остановилась. Меня вытащили, взяли под руки и куда-то повели. В нос ударил специфический запах тюрьмы. Сквозь повязку доносились резкие, как выстрелы, команды, топот кованых сапог, бряцание ключей.

Мы долго петляли, пока наконец остановились. Мне разбинтовали глаза, с помощью специальных ключей сняли наручники и втокнули в камеру, где было темно, как в гробу.

— Есть тут кто-нибудь? — спросил я.

В ответ безмолвие. Я решил найти койку или нары. Однако в камере, кроме параша, ничего не было. Эта одиночка казалась шкафом: два метра в длину и метр в ширину. Как я потом узнал, ее называли английским словом «бокс», что означало «ящик». Здесь не было даже решетчатого оконца. Только в двери светился крошечный глазок.

Я опустился на холодный цемент...

КРАКОВ

Глава 1



Тюрьма гестапо в Кракове была одним из самых мрачных застенков фашистского рейха. Здесь четко и безотказно работала налаженная машина уничтожения людей. Она действовала круглосуточно. Днем и ночью раздавались окрики надзирателей, глухие удары, вопли и жуткие крики истязуемых. Очень трудно рассказать обо всем том, что пришлось увидеть и испытать самому в этом кошмарном

концерне смерти.

Длинные мрачные коридоры на всех этажах. По сторонам — двери камер. Камеры-боксы, камеры-одиночки, общие камеры, рассчитанные на два десятка заключенных, куда гестаповцы умудрялись загонять по сто человек. Все они были темные и сырые, с цементными полами и единственной «мебелью» — парашами.

Не успел я задремать, как в замочной скважине заскрежетал ключ, открылась металлическая дверь и раздалась резкая команда: «Раус!»* Два конвоира повели меня по коридору, пропахшему карболкой, хлорной известью и мочой. Нам встречались арестанты с разбитыми в кровь, распухшими лицами, истощенные, похожие больше на привидения, чем на людей. Одни едва волочили ноги, не реагируя на удары резиновых дубинок, других гестаповцы тащили за руки.

* Выходи! (нем.).

Меня подвели к двери с цифрой 5. Один из конвоиров нажал кнопку. Вверху вспыхнула сигнальная лампочка, и мы вошли в комнату, залитую солнечным светом. Это был просторный, богато обставленный кабинет. Если бы не решетки на окнах, можно было подумать, что я попал в приемную начальника какого-то почтенного учреждения.

Слева вдоль стены стоял большой застекленный шкаф, полки которого были аккуратно заставлены белыми папками. Над ним висел портрет Гимmlера. Рядом стоял письменный столик с пишущей машинкой и телефоном. За столом сидела худющая, как щепка, девица, рыжая, накрашенная, с крупным хрящеватым носом.

— Девятьсот сороковой? — спросила она.

— Яволь!*

*Так точно! (нем.).

— Подождите минутку, шеф закончит разговор.

Только сейчас я увидел массивный стол, за которым сидел мужчина средних лет. На нем прекрасный серый штатский костюм, белоснежная рубашка, светло-голубой галстук с причудливым рисунком. Русые напояженные волосы с боковым пробором были гладко зачесаны. Бледное, слегка утомленное его лицо показалось мне достаточно интеллигентным и умным. Не обращая на нас внимания, он разговаривал по телефону мягким, приятным голосом, что-то записывая и все время улыбаясь. Над его креслом висел портрет Гитлера. А под ним на специальной вешалке разместились не менее дюжины разнообразнейших плеток — из резины, кожи, воловьих жил и проволоки. Меня бросило в жар. Инстинктивно я весь сжался.

Наконец хозяин кабинета освободился и кивнул конвоирам. Один из них, щелкнув каблуками, четко отрапортовал:

— Господин старший следователь! По вашему приказанию на допрос доставлен заключенный номер девятьсот сорок.

Следователь уставился на меня холодными серыми глазами. Стало очень тихо. Я почувствовал, как всего меня пронизывает страх, и понял, что здесь нелегко будет играть свою заученную роль.

Когда закончился этот зрительный поединок, он обратился ко мне. Голос его был мягкий и приятный.

— Немецкий знаешь? Я пожал плечами.

— А русский?— спросил он по-русски без малейшего акцента, чем немало меня удивил.

— Конечно, ведь я украинец.

— Вот и отлично. Начнем нашу беседу. Конвоир придвинул стул, и я, скривившись от боли, присел на краешек.

— Что с тобой? — сочувственно спросил следователь.

— Меня били. Болит все тело.

— Ах вот оно что. Понимаю. Здесь тебя никто и пальцем не тронет. Как тебя звать?

— Ваня Петров.

— А как звать твоих родителей и где они?

— У меня их нет, я сирота. Из детдома. Девушка стала стучать на машинке, записывая наш разговор. Видимо, и она владела русским.

— Значит, сирота. Может ты, Ваня, голоден?

— Очень хочу есть... несколько дней крошки во рту не было, — встрепенулся я.

— Чего ж ты сразу не сказал?

Он дал указание конвоиру. Через несколько минут тот принес стакан чаю и два бутерброда с колбасой и сыром. Я не верил глазам. Следователь приветливо улыбнулся загадочной улыбкой и одобрительно кивнул:

— Ешь, Ваня, и благодари бога, что попал к человеку, перед которым можешь открыть душу и который тебя поймет. Надеюсь, мы с тобой быстро найдем общий язык, и уже завтра ты будешь на свободе.

Увидя, что я мгновенно расправился с едой, он приказал принести еще.

В это время в кабинет вошел пожилой офицер с изжелта-бледным, болезненным лицом. Произнес обычное приветствие, он заискивающе сказал:

— Господин Краус, поздравляю с наградой! Поверьте, узнав, что вы получили орден, я так обрадовался, будто это мне дали. С вас причитается,

господин Краус.

— За этим остановки не будет,— усмехнулся мой следователь.

Из их разговора я узнал, что следователь не последняя спица в этой дьявольской машине смерти. Они еще немного поговорили о каком-то общем знакомом, и гость ушел. Тем временем я съел вторую порцию бутербродов и выпил чай.

— Ну как? Подкрепился малость? А знаешь ли ты, Ваня, где сейчас находишься?— с улыбкой спросил Краус.

— Наверно, в полиции, — прикинулся я наивнячком.

— В гестапо, мой мальчик. Сюда легко войти, но очень трудно выйти. Понимаешь? Вот и хорошо. А теперь расскажи по порядку, кто ты, откуда и как сюда попал?

Краус внимательно слушал, изредка сочувственно кивая. Мой рассказ я закончил просьбой послать меня на работу.

— Буду выполнять любую работу, лишь бы кормили.

Вынув изо рта сигарету, Краус сказал:

— А ты мастер на сказки. Неужели думаешь, что в гестапо сидят простачки? Сколько тебе лет? Семнадцать?— будто невзначай переспросил Краус. Меня поразило, как он точно угадал.

— Пятнадцать,— ответил я.

— Несколько больше, но это не имеет существенного значения. Я хочу, чтобы ты понял. Ты станешь богатым. Девушки, рестораны, вино, веселая, беззаботная жизнь... Такому сам черт позавидует. Мы щедро вознаграждаем тех, кто чистосердечно сознается. От тебя требуется очень мало: скажи, кто и с какой целью послал тебя на «объект икс»? Я понимаю, что ты по глупости влип в эту историю. Захотелось поиграть в героя. Ну что ж, кто в молодости не ошибался?

Следователь говорил долго и, как мне показалось, даже искренне.

— Ты ведь еще толком и не жил на свете, а придется идти на виселицу. Но прежде чем повесить, тебя станут пытаться. Ступай. Отдохни и хорошенько подумай. Согласен?

Я кивнул.

— Вот и прекрасно. Отведите!— бросил он конвоиру,

В камере все мои мысли сосредоточились на Краусе. До него следователи, с которыми мне привелось иметь дело, действовали по определенному шаблону, руководствуясь, очевидно, соответствующей инструкцией и детально разработанным типовым набором вопросов. Этот же изучал меня, не торопясь с допросом.

Несколько часов спустя меня снова повели к Краусу.

— Ну как настроение, Ваня? — приветливо спросил он. Но на этот раз его холодный взгляд показался мне хищным.

— Какое может быть настроение? Все тело ноет, а лежать приходится на цементном полу. Разве я преступник или вор?

Краус загадочно усмехнулся, но не сказал ничего. Меня поражала разница между мягким, приятным голосом и жестоким взглядом переменчивых, теперь каких-то рыбьих глаз.

Докурив сигарету, он нажал кнопку. Отворилась дверь, и на пороге в сопровождении двух конвоиров появился узник. Вид у него был ужасающий. Лицо и голова представляли собой сплошную кровотокающую рану. Один глаз закрывала опухоль. Руки скручены назад. Гимнастерка и галифе свисали грязными окровавленными лохмотьями.

— А-а, комиссар! Привет, дружище! — весело встретил его Краус. — Ну, как настроение? Говорить будешь, или снова поиграем в молчанку?

Узник не ответил. Я физически ощущал ту величайшую ненависть и презрение, которые переполняли этого истерзанного, но несломленного человека.

— Хочешь, чтобы тебя немного пощекотали? Ну что ж, мы люди негордые. Займитесь им, Курт! Комиссара вывели в другую комнату.

— Пойдем, Ваня, посмотрим, как этот упрямый дурень будет отдавать богу душу, — предложил Краус, снимая с вешалки две нагайки.

Камера пыток выглядела весьма мрачно: просторное помещение без единого окна. Кроме массивного дубового стола и каких-то приспособлений, здесь не было ничего.

Комиссар лежал на столе, к которому были накрепко привязаны специальными петлями из ремня его руки и ноги. Краус дал двум гестаповцам по нагайке... И началось.

Били комиссара долго. Он приглушенно стонал.

Краус закурил и распорядился:

— На «качели»!

Палачи схватили свою жертву и, как мешок, бросили на пол, потом за ноги подтянули к стальному тросу, свисавшему с потолка. Ремнями пристегнули ноги узника у самых щиколоток, после чего несчастного подтянули вверх головой вниз. Палачи раскачивали тело ударами кованых сапог. Из рта и носа обреченного текла кровь, из горла вырывались хрипы.

Ни жив ни мертв смотрел я на эту кошмарную пытку.

— Ну, видел, что мы делаем с теми, кто не желает сознаваться? — спросил Краус. — А теперь пойдем закончим разговор.

Краус впери в меня ледяной взгляд. Я старался быть спокойным, по

опыту зная, что сейчас это единственное мое оружие.

— Где и когда тебя постригли? — начал свое наступление Краус.

— В Ростове-на-Дону недели три назад, перед отправкой в Германию.

— Через какие города и станции везли?

— Мне трудно сказать, ехали в закрытом вагоне. Знаю, что сутки стояли в Харькове и чуть больше в Киеве. Там прошли дезинфекцию, нас накормили горячей пищей и дали по полбуханке хлеба. После этого до самой Польшей не было ни еды, ни воды.

— Во что ты был одет и обут?

— На мне был пиджак, штаны и ботинки. Фуражка осталась в вагоне.

— Все это тебе выдали в ростовском детдоме?

— Нет, я выменял на базаре костюм и ботинки за пачку сигарет и буханку хлеба, которые заработал у немецких солдат. Мыл ихние машины.

— Когда это было?

— Месяца два назад.

Краус вынул из картонной коробки узел. Я сразу догадался: в нем моя одежда.

— А почему же это в Ростове к пиджакам пришивают ярлыки и на башмаках ставят штемпели польских фабрик? — спросил следователь.

Мой дорогой друг Стась Бжозовский, покупая на черном рынке в Бойтене костюм и ботинки, конечно, не мог предусмотреть, какую фатальную роль сыграют в моей судьбе эти проклятые ярлыки и штемпеля. Не мог этого предвидеть и я; нам перед побегом было не до ярлыков.

— Костюм и ботинки дали мне поляки, когда я просил у них хлеба, моя одежда к тому времени совсем изорвалась, — сказал я первое, что взбрело на ум.

— Ага, выходит, ты все же встретил щедрых поляков! Ну что ж, расскажи, где, когда, — откровенно издеваясь над моим неудачным экспромтом, прошипел Краус, а сам вынул коробок спичек и зачем-то стал аккуратно заострять их лезвием маленького перочинного ножичка. Вдруг он с необычайным проворством схватил меня за палец и загнал под ноготь одну из них. Я закричал, весь извиваясь от страшной боли.

— Кто и с какой целью послал тебя на «объект икс»?

От резкого удара в переносицу у меня потемнело в глазах. В следующую секунду Краус загнал под второй ноготь еще одну спичку. Я взвыл от дикой боли и потерял сознание. Опомнился я после нового приступа. Это Краус загнал мне под ноготь третью спичку. Я дернулся, чтобы как-то вытащить их, но здоровила гестаповец, который на допросе выполнял роль ассистента, крепко держал мои руки. Хватка у него была

железная, и я даже не пошевелился. Краус сидел передо мной. Но ощущение почему-то было такое, что я вижу его через густой кровавый туман. Слышал я только одну фразу, яростно повторяемую им почти шепотом:

— Кто и для чего послал тебя на объект?

Изверг загнал четвертую спичку, за ней пятую, шестую, седьмую... Ассистент молотил меня кулачищами, потом поволок в камеру пыток, где на «качелях» висел мертвый комиссар. Я уже был безразличен ко всему. Скорее бы умереть...

Глава 2

Я очнулся на прохладном цементном полу камеры. Адская боль. Пальцы распухли и горят огнем. Голова налита свинцом, в ней кружатся и отвратительно визжат какие-то ржавые шестеренки... В горле клокочут горячие клубки.

Ночь была наполнена сплошным ужасающим кошмаром. С утра снова на допрос. Мной овладело тупое отчаяние. Решил, если начнут пытаться, брошусь на Крауса, вцеплюсь ему в горло зубами и этим ускорю развязку. Но гестаповцы крепко держали за руки, а мой палач с упорством маньяка повторял один и тот же вопрос: «Кто и с какой целью послал тебя на объект?»

Допрос длился, вероятно, около часа, а казалось, что прошла вечность. Краус выломал мне оба мизинца, нанес глубокие раны на кисти, выжег зажигалкой кожу на правой руке...

И снова страшная ночь. Тупое равнодушие ко всему чередуется с непреодолимой жаждой жизни. И снова отчаяние, желание покончить с собой.

Так продолжалось три дня. Не раз казалось, что я уже умираю. Но когда возвращалась жизнь, передо мной одна за другой проплывали до боли знакомые и милые сердцу картины детства. Я бегал по оврагам и перелескам, начинавшимся сразу за родной Селезневкой, играл со сверстниками в густых зарослях орешника, носился по лугу, покрытому пестрым ковром цветов. Перед глазами стояла росшая вблизи нашей хатки трогательно нежная белоствольная береза, пышная сирень клубилась в саду. В ушах звенела чарующая музыка тихого предвечерья. А может, и не было всего этого? Может, я все свои семнадцать лет мытарствую по тюрьмам и лагерям, меня беспрерывно убивают и никак не могут убить...

Было уже за полночь, когда за мной пришли. Пожилой толстый гестаповец с усиками под Гитлера одной рукой выволок меня в коридор. Его напарник, рослый, худощавый, привычным движением надел

наручники.

Я уже хорошо знал этот длинный коридор и мог бы легко найти свою камеру под номером 292. В тюрьме запоминается каждая дверь, каждая царапина на стене, каждая зарешеченная лампочка под потолком.

Мы опустились в подвал. На дверях тускло поблескивали большие металлические пломбы. Один из отсеков был открытым, и я увидел вдоль стен массивные стеллажи, а на полках — ряды бесчисленных, аккуратно расставленных желтых папок. Над низкими столами сутулились конторщики в гестаповской форме, один, сидевший ближе к двери, щелкал на счетах.

Бухгалтеры подземелья трудились и ночью, у них, как видно, работы хватало.

Любопытство, с которым я разглядывал подземный мир тюрьмы, вероятно, можно было объяснить долгим одиночеством и еще молодостью. На какое-то время я даже позабыл, куда меня ведут. Но вот мы подошли к массивным металлическим дверям. Один из надзирателей нажал кнопку. Двери распахнулись. Я зажмурился от яркого электрического света. В нос ударил тошнотворный запах патоки и порохового дыма. Его не могли рассеять даже монотонно жужжащие вентиляторы, которые нагнетали в подвал свежий воздух. Позже я понял, что это запах человеческой крови.

Привыкнув к свету, я осмотрелся. Помещение было просторным, с высоким сводчатым потолком и бетонными стенами, окрашенными в серый цвет. Слева от входа поблескивала стеклом просторная кабина, напоминающая заводскую диспетчерскую. В ней за столом перед телефонным аппаратом сидел лысый толстяк с маленькими сонными глазами удава. То и дело звонил телефон. Толстяк слушал, затем невозмутимо бросал несколько слов и делал в книге какие-то пометки.

Посреди зала стоял продолговатый стол, похожий на прилавок закройщика в пошивочной мастерской. За столом спиной ко мне тоже сидел гестаповец, а перед ним в станке для наводки лежал карабин. Вспомнилось, как незадолго до войны я посещал в школе стрелковый кружок, военрук учил нас целиться из винтовки, зажатой в таком же станке.

Карабин был нацелен в массивный квадратный Щит, похожий на большой шкаф. Вся его поверхность, как мишень, была изрешечена пулями и покрыта ржавыми пятнами. Этот щит служил изоляционной подушкой, в которую ложились пули. Мне вдруг не хватило воздуха, и я чуть не упал. Но кто-то крепко сдавил мне плечо, и я удержался на ногах.

Справа, на уровне поднятой руки в стене торчали металлические крюки, как в мясной лавке. Их было десятка два, на самых последних

висели какие-то лохмотья. И вдруг я отчетливо увидел, что это три трупа со скрученными сзади руками в наручниках. Пронзенные за подбородки крюками, они как бы припали к стене и, казалось, прислушивались к безмолвию подземелья...

Сердце замерло. Я хотел бы проснуться, убедиться, что болен, что это бред, обморок, тяжелый и долгий... Но дикий кошмар все продолжался. В нем было много подробностей. И я их запомнил. Об этом трудно рассказать.

Разум человеческий подчас не в силах верить тому, что было.

Но это не шок. Я не потерял рассудка.

Почему-то подумалось, что у того, лысого, и у того, с карабином, есть матери. Знали ли они, что делают здесь их сыновья?

Не в силах оторвать взгляд от стальных крючьев, убеждал себя в том, что меня не повесят, а расстреляют, непременно расстреляют... Я ждал расстрела, как ждут счастья... Скорее, скорее!

Из мучительного этого состояния меня вывел голос Крауса. Я не сомневался, что он самолично доведет дело до конца и «закроет» его, это дело, которое затем поступит к ночным бухгалтерам.

— Через пятнадцать минут тебя расстреляют. Перед этим увидишь казнь поляков партизан. Возможно, это заставит тебя взяться за ум и ответить: кто же тебя послал на «объект икс»? Ответишь — я сохраню тебе жизнь.

Вскоре отворились двери, на пороге появился сгорбленный человек с мертвенно бледным лицом. Его ввели под руки два надзирателя.

Держался он спокойно. В больших, чуть раскосых карих глазах не было ни страха, ни удивления. Он только на мгновение взглянул на меня. И мне навечно запомнилась его крупная голова, высокий лоб, волевые складки в углах губ.

Конвоиры поставили заключенного к щиту. Лысый что-то отметил в бухгалтерской книге и щелкнул двумя пальцами. Гестаповец, сидевший за продолговатым столом, чуть подался вперед, прижал карабин к плечу и стал целиться. Делал он это не спеша, степенно и обстоятельно. Если можно было бы абстрагироваться от всего, что происходило, то его, припавшего глазом к прицелу карабина, в пору было принять за обычного лаборанта, наблюдавшего в микроскоп.

Вдруг узник резко повернулся к своему палачу и воскликнул:

— Нех жие Польска! Смерть фашизму!

Гестаповец какое-то мгновение помедлил, потом нажал на спуск. Коротко и гулко прогремел выстрел.

Краус снова подошел ко мне и начал что-то кричать. Но я не слышал ни одного слова. Опять отворилась дверь, и в подземелье, топая коваными сапогами, вошла группа гестаповцев. Они быстро разобрались в две шеренги. На пороге показался заключенный в измятом сером костюме. Лицо его было бледно и измучено, льняные всклокоченные волосы обрамляли лоб. Он шел неторопливо, высокий и гордый. На его устах замерла презрительная усмешка. За ним, прихрамывая, семенил хилый человек. Он пугливо озирался по сторонам и дергался всем телом, словно его била лихорадка. Третий был молод, статен и, наверное, когда-то красив собою. Атлетически сложенный, он, видимо, отличался необыкновенной силой, и надзиратели, не полагаясь на сталь наручников, дополнительно оплели его жгутами колючей проволоки.

— Матка бозка,— заговорил он громко, гневно и грозно,— да у вас здесь, господа палачи, человекобойня! Запомните, паскуды! Ваши дети, внуки и правнуки проклянут вас за изуверства, которые позором падут на Германию!

Он говорил уверенно, без малейшего признака истерии; его басовитый голос заполнил подвал.

Его первого подвели к лысому диспетчеру, тот пристально всмотрелся в заключенного, как бы желая удостовериться, что ошибки не произошло, после чего сделал пометку в своем журнале и кивнул надзирателям. Те молниеносно схватили поляка под руки и подтащили к стене с крюками. Там они приподняли свою жертву и отскочили в сторону. Обреченный забился на крюке в страшных конвульсиях, раздавалось жуткое хрипение. Затем все стихло.

Снова я потерял ощущение реальности. Вернул меня к ней скрипучий голос Крауса:

— У тебя было время подумать. Молчишь? Взять его!— Двое гестаповцев потащили меня к изрешеченному пулями щиту.

— Считаю до трех, — цедит сквозь зубы Краус.— Не признаешься — дам команду «огонь».

Я резко повернулся. Стрелок невозмутимо целится мне в голову.

Краус считает по-немецки:

— Айне...

Из тумана ко мне приближается скорбное лицо матери, и я в отчаянии шепчу ей: «Мама... Я очень, очень болен...»

— Драй!— громко произнес Краус.

«Постой-ка,— пытаюсь я осознать то, что сейчас происходит.— При чем тут Краус? И что означает это «драй»?..»

Черный зрачок карабина смотрит мне прямо в глаза.

— Файер!

Ослепительный сноп пламени. Я куда-то проваливаюсь и в последнюю секунду замечаю, что узники, висевшие на крючьях, почему-то вместе со сводчатым потолком подпрыгивают вверх.

Не все расстрелянные умирают сразу. Я снова слышу короткие, глухие выстрелы, хрипение и ненавистный голос. Потом ощущаю, как меня берут за ноги и куда-то волокут. Голова бьется о ступеньки, но я совсем не чувствую боли.

Глава 3

От яркого электрического света я зажмурился. Это надзиратель включил свет в камере и смотрит в глазок, чтобы удостовериться, жив я или мертв.

Итак, я жив. Выходит, Краус только имитировал расстрел? Очевидно, он ждал, что под дулом карабина я выдам тех, кто послал меня на этот злополучный «объект икс»?

На стене камеры какие-то надписи. Читаю первую попавшуюся: «Прощай, родная Украина» — и ниже подпись: «Александр Лемешко из Киева». Нужно, совершенно необходимо прочесть все. Я непременно должен выслушать своих предшественников. Скорее, ведь в любой момент надзиратель может выключить свет. Надписи на разных языках — больше всего на русском, украинском, польском и немецком. Некоторые слова и фразы написаны кровью. «Родина! Ты в моем сердце. Умираю с мыслью о тебе. Смерть фашизму! Валерий Иванченко из Днепропетровска...» «Москва — Сталинград. А будет еще и Берлин. Трепещите, гады!» «Я погибну в этом застенке, но не погибнет моя Советская Отчизна...»

Здесь и стихи, и цитаты из произведений писателей, ученых, философов, но преобладают все же простые слова обыкновенных людей...

Читая, я понимаю, что это камера смертников. Судя по датам, первые надписи сделаны еще летом сорок первого, последние — этими днями. Сейчас уже июнь тысяча девятьсот сорок третьего.

Прошел день.

На следующее утро мне приказали подняться, вынести и вымыть парашу. Хлорка разъедала раны на руках, и они горели огнем. Но любую работу, любую команду надо выполнять мгновенно, в противном случае на твою голову обрушится дубинка тюремного надзирателя.

Когда я возвращался в камеру, навстречу вели узника, одетого в полосатый тюремный халат. Поравнявшись с нами, он неожиданно воскликнул: «Коля, ты?» Я сразу узнал этого юношу, но сделал вид, что его

возглас относится не ко мне, и не замедлил шаг. В следующее мгновение он понял свою неосторожность.

— Хальт!— остановил меня надзиратель, подскочил к узнику и с криком: «Ты его знаешь?» — набросился на несчастного.

Нас сразу же повели к Краусу.

Я хорошо помнил этого полтавчанина. С Вадимом Шинкаренко мы познакомились в мае 1942 года в камере Моабитской тюрьмы в Берлине. Это было вскоре после моего неудавшегося побега из лагеря С-31, заключенные которого работали на заводе сельскохозяйственных машин «Рудольф Зек» в Лейпциге. Тогда в камере номер 144 нас было сорок человек, среди них — трое немцев-антифашистов. Они получали передачи и делились со мной. Через несколько дней привели Вадима. Он тоже бежал из Германии, попался, как и я. Понемногу я подкармливал его. Нас разлучили в конце мая сорок второго.

Если Шинкаренко не выдержит пыток и расскажет, что был со мной в Моабитской тюрьме, гестапо легко узнает обо мне все. Правда, теперь это уже безразлично, все равно меня ничто не спасет.

Краус очень обрадовался и принялся допрашивать Шинкаренко.

— Сейчас ты у меня заговоришь! — пригрозил Краус, снимая с вешалки кожаную нагайку. Размахнувшись, он изо всех сил хлестнул Вадима прямо по лицу. После экзекуции с двумя заточенными спичками Шинкаренко не выдержал и рассказал все, что знал.

Краус ликовал. Несколько дней меня не водили на допросы. И вот снова он сидит за столом в облаках табачного дыма и сортирует какие-то бумаги.

— А-а, бедняга-беспризорный, отставший от эшелона!— весело приветствует меня Краус. Потом встает и наотмашь бьет:— Щенок! Я научу тебя говорить правду! Уже больше года ты шляешься по тюрьмам и лагерям, большевистский выродок!

С этими словами он разложил передо мною несколько фотографий, а также листы белой плотной бумаги с отпечатками пальцев. На первом снимке я сфотографирован анфас с черной дощечкой на груди. Это было 9 мая 1942 года в лагере С-31. Я понял, что клубок разматывается; в папке Крауса лежала целая стопка моих фотографий и сопроводительных бумаг, по которым Краус успел составить анкету моих «путешествий». Он тут же прочитал ее.

«9 мая 1942 года, город Лейпциг, лагерь С-31, номер 120. 15 мая бежал, на следующий день был пойман, приведен в полицейское управление Лейпцига, откуда препровожден в лейпцигскую тюрьму. Камера номер 27,

тюремный номер 15001.

20 мая переведен в Берлин. Моабитская тюрьма, камера 144, тюремный номер 17258.

27 мая отправлен во Франкфурт-на-Майне. Детский трудовой исправительный лагерь при авиазаводе «Герман Геринг верке».

25 июня бежал, 28-го поймали. Тюрьма во Франкфурте-на-Майне, камера номер 1, тюремный номер 2511. Назвал себя Сашей Ивановым.

13 июля переведен в Дрезден. Лагерь Ост-2, блок номер 3 сурового режима, лагерный номер 609. Работа на заводе фирмы «Альгемейне электритетс гезельшафт».

26 июля бежал. Пойман в районе Бреслау 30 июля. Назвался Михаилом Сидоровым. Тюрьма в Бреслау, камера номер 25, тюремный номер 2831.

15 августа — лагерь К-1, блок номер 5, лагерный номер 1307. Работа на металлургическом заводе «Герман Геринг».

2 сентября бежал, а 5-го пойман в районе Гинденбурга и привезен в местное полицейское управление. Камера номер 5, тюремный номер 1988. Тут назвался Иваном Коваленко.

1 октября пытался бежать из тюрьмы. Заработал карцер. Признан слабоумным и отправлен в лагерь Ост-2, блок номер 1, лагерный номер 926. С 15 ноября 1942 года по 1 апреля 1943 года работал на коксохимическом комбинате в городе Гинденбурге.

1 апреля бежал из лагеря...»

Из этой анкеты я сделал вывод, что Краусу неизвестно, что уже 4 апреля я был пойман в районе Кройцбурга и отправлен в местный пересыльный лагерь, а оттуда:— в тюрьму города Бойтена. Значит, он ничего не знает ни о моей работе на «Гогенцоллернгрубе», ни о побеге оттуда.

Довольно потирая руки, Краус сказал:

— Тебе остается признаться, где ты шлялся после побега из лагеря Ост-2 в апреле 1943 года.

Я решил схитрить и сказал, что после побега из Гинденбурга меня поймали железнодорожники на одном полустанке и передали охране эшелона, в котором везли в Германию поляков. На следующий день я выскочил из вагона, чтобы набрать воды. Пока слонялся, эшелон отошел. Тогда я решил пробираться на восток и дошел до самой Польши, где меня и поймали.

— Зря рассказываешь очередную басню... У нас уже достаточно данных, чтобы тебя повесить.

У Крауса сегодня отличное настроение. На нем новехонький серый костюм, белоснежная шелковая рубашка и лакированные туфли, да и сам он весь свеженький, чистый, жизнерадостный, а гладко выбритое лицо помолодело еще больше.

Зазвонил телефон. Краус, мягко улыбаясь, слушал, угодливо кивая:

— Благодарю. Очень приятно. Тронут вашим вниманием. Да, да, он как раз у меня, заканчиваю следствие. — Положил трубку и сказал: — Сейчас сюда прибудет сам господин Хан с высоким начальством.

Девушка-секретарь от удивления раскрыла рот, а конвоиры вытянулись в струнку.

— Курт, распорядитесь принести стулья, а вы, Гертруда, спрячьте свое зеркальце и приготовьте бумаги о поляках. И вообще, наведите здесь порядок.

Вскоре из-за двери донеслись короткие частые звонки — это Курт подавал сигналы из коридора. Все встали и замерли, а Краус даже вышел на середину комнаты. Когда запахнулась дверь и на пороге появилось начальство, Краус скомандовал: «Ахтунг!»— и сделал несколько шагов навстречу гостям и после традиционного «Хайль Гитлер» отрапортовал:

— Господин начальник отделения, в следственном отделе все в порядке. Отдел работает по графику. Начальник отдела старший следователь Краус.

Хан пожал Краусу руку и отрекомендовал его прибывшим.

Тут мне придется немного забежать вперед.

В 1945 году, когда закончилась война и готовился Нюрнбергский процесс, мне пришлось давать показания Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Я рассказал о Краусе и Хане. В последующие годы об их злодеяниях я не раз вспоминал, выступая по радио. Однако дальнейшая судьба этих палачей мне была неизвестна. В январе 1968 года в советской печати появилось сообщение, которое очень взволновало меня:

«...Десять лет находились под следствием гитлеровский посланник в Софии обер-группенфюрер Адольф Беккерле и видный гестаповец Хан, Оба они несут личную ответственность за отправку в лагеря смерти Освенцим и Тремблинку более тридцати тысяч человек. Имя Хана значится в польских списках военных преступников. По вине этого бывшего начальника отделения гестапо в Кракове, а затем полиции в Варшаве погибли тысячи польских патриотов. Как хвасталась его жена Лотта в письме к своим родителям, «он подписывал за день до семидесяти

смертных приговоров». И пока шло расследование, палач польского народа спокойно занимал должность старшего правительственного советника в западногерманском ведомстве военной техники и заготовок».

Но вернемся в кабинет Крауса.

Я увидел мужчину выше среднего роста, не по годам тучного, однако подвижного и экспансивного. Румянец во всю щеку свидетельствовал об отменном здоровье. На нем был идеально сшитый и тщательно выутюженный черный мундир. В галстук сверкала булавка в виде паучьей свастики, на кителе — значок фашистской партии. Крупное скуластое лицо казалось грубо вытесанным; массивная нижняя челюсть, крупный нос, тонкие, крепко сжатые губы. Густые черные брови кустились над глубоко посаженными светлыми глазами. Взгляд был острый и колючий. Фриц Хан жестикулировал, подкрепляя энергичными взмахами рук каждую свою фразу. Держался он демонстративно независимо.

Среди нацистов жестикуляция была тогда в моде. Малые и большие фюреры ревностно копировали Гитлера.

Итак, вид у Фрица Хана был сияющий. На пальцах сверкали три перстня. Самый роскошный из них украшала эмблема гестапо — отлитый из золота череп со скрещенными костями. Широкий ремень и португепя блестели черным лаком, а сапоги, начищенные до зеркального блеска, отражали свет.

Хана сопровождали два пожилых господина в штатском. Оба дородные, седовласые. За ними стоял высокий молодой офицер — вероятно, адъютант.

— Господа! — обратился к своим спутникам Хан. — Перед вами классический образец кабинета следователя нашего ведомства, замечу, господа, лучшего следователя.

Как только не расхваливал Хан своего подручного Крауса! Он и стопроцентный ариец, и идейно закаленный боец, которого недавно наградили орденом, и образованный работник, наделенный большим интеллектом, и полиглот, благодаря чему один заменяет собой бригаду следователей и переводчиков.

— Да, господа, старший следователь Краус — человек исключительной одаренности. У него особое профессиональное чутье, — продолжал Хан. — Вот вам живой пример, — шеф гестапо кивнул в мою сторону. — Перед вами юноша, почти мальчик, ничтожное создание, но в действительности опасный преступник. Подумать только, он сумел пробраться на наш секретный объект, который бдительно охранялся.

— А что вы собираетесь делать с этим типом?— спросил лысый

толстяк.

— Расстреляем или повесим. Но поскольку о нем уже знают в Берлине, придется соблюсти формальность — пропустить через трибунал. Аналогичная история у нас и с большой группой поляков, избличенных во вредительстве и саботаже.

— А какая категория преступников считается у вас самой трудной? — спросил один из гостей, обращаясь к Краусу.

— Конечно, русские,— живо ответил тот. — Это отчаянные фанатики, отравленные ядом большевизма. Недавно мне пришлось иметь дело с одним комиссаром. Он убил старосту камеры, а перед тем вел в шталлаге большевистскую пропаганду.

Хан еще раз поблагодарил Крауса и сообщил, что за усердие, проявленное в работе, он награжден внеочередным двухнедельным отпуском и денежной премией в размере четырехсот марок. Гости посмотрели на часы и направились к выходу.

Подобострастно кланяясь, Краус проводил начальство. В кабинет он вернулся сияющим именинником, но, взглянув на меня, стал высокомерным и приказал:

— Отведите его!

Глава 4

Когда меня привели в камеру, как раз начался обед. Одним духом я проглотил баланду и заснул.

Утром мне разрешили умыться, после чего выдали полосатую тюремную одежду и пару деревянных башмаков, что меня крайне удивило: до этого, находясь в тюрьме уже восемь суток, я ходил в одном белье и босиком.

Жизнь каземата можно было читать по звукам. За дверью слышны тяжелые шаги надзирателей и шарканье деревянных гольцшугов. За стеной глухо, будто из глубокой могилы, донесся кашель, прозвучало ненавистное «лос!», глухой удар и отчаянный вопль. В отдалении в коридоре резко прозвучал свисток надзирателя.

Мной овладели спокойствие и полное равнодушие ко всему. Приговор я уже знал, изменить ничего не мог. Обидно, что умру не на фронте с оружием в руках, не в борьбе с врагами... Немного утешала мысль, что я честно прожил свою короткую жизнь, не изменил Отчизне, не покупал свободу ценой подлого отступничества, изменой.

В камере зажглась лампочка, загремели замки, открылась дверь:

— Раус!

На меня надели наручники и долго вели лабиринтом коридоров.

Наконец остановились перед дверью с надписью «Трибунал». Это небольшая комната с двумя зарешеченными окнами, до половины закрытыми шторами. Строгая черная мебель. Да и вообще все здесь черное, мрачное.

За длинным столом, покрытым темно-зеленым сукном, сидят трое гестаповцев. Позади них на стене, как распятие, массивный, отлитый из металла, распластанный черный орел с фашистской свастикой в когтях. Выше, над ним, в тяжелой раме Гитлер.

Меня провели за высокий барьер. По бокам стали два вооруженных дубинками гестаповца. Прямо против входа висят часы и показывают одиннадцать. Под ними — большой отрывной календарь. На его листке дата — 28 июня. Не сводя глаз с календаря, я почему-то начал считать, сколько же мне лет. Выходило семнадцать лет, четыре месяца и один день. Это все, что я прожил на белом свете. Белом... Теперь он стал для меня черным...

Судебная процедура оказалась на редкость простой и лаконичной.

Все, что происходило, не имело ничего общего с понятиями справедливости и человечности, с элементарными правовыми нормами, выработанными цивилизацией на протяжении веков.

В комнате, кроме гестаповцев, никого — ни свидетелей, ни публики. Прокурор начал с того, что напомнил членам трибунала об инструкции относительно зондербехандлунге — особого обращения с врагами германского государства. Этими инструкциями руководствовались армия, полиция, эсэсовцы, гестапо после нападения фашистской Германии на Советский Союз. О ней я впервые узнал от немецких политических заключенных еще в Моабитской тюрьме. Прокурор перечислил все мои «злостные преступления» перед империей. Чего тут только не было: и «вредительство», и «саботаж»... «это фанатик, одурманенный большевизмом», «антисоциальный элемент», «негодяй».

Мне слова не дали. Члены трибунала обменялись несколькими фразами, и секретарь зачитал заранее заготовленный приговор, который начинался словами: «Именем германского государства...» — а заканчивался: «Расстрелять».

В камере мной овладел страх и паническое ожидание конца. Достаточно было услышать шаги надзирателя или отдаленное звяканье ключей, как всего меня начинало колотить. Я почти физически ощущал, как жизнь медленно затухает в моем теле. Пытался овладеть собою — и не мог. Бичевал себя за малодушие — ведь я уже продумал, что, когда меня будут расстреливать, крикну: «Смерть кровавому фашизму! Да здравствует

Советская Родина!»

О муках и переживаниях осужденных на казнь я много читал. Среди книг попадались такие, что буквально наизнанку выворачивали душу. И все-таки осмелюсь утверждать, еще не было писателя, который смог бы по-настоящему отобразить все, что переживает, о чем думает человек перед казнью. Не сумею сделать этого и я, хотя пишу о себе.

29 июня в девять часов утра меня вывели из камеры и привели на первый этаж. Я считал, что ведут на расстрел, однако теперь какого-то особого волнения не ощущал. Странно, что не надели наручников. Ведь всем, кого ведут на казнь, надевают наручники. Но вскоре выяснилось, что меня привели в кабинет тюремного врача. Кто бы мог подумать, что в гестаповской тюрьме имеется такая штатная должность! Кроме врача, здесь был офицер-переводчик, который вчера зачитывал мне приговор. Они беседовали. Я прислушался. Говорил в основном врач, офицер только поддакивал.

— Я не из тех, кто творит науку, но, полагаясь на свой опыт и наблюдения над русскими военнопленными в лагерях, где я работал, могу с уверенностью сказать, что в нашей медицине еще много пробелов. Возьмите хотя бы такой факт: живучесть неполноценной расы? Подопытного русского можно сколько угодно морить голодом, бить, сажать в карцер, не давать воды, а он живет, вопреки всем представлениям о возможностях организма. Чем вы это объясняете?

— Правду говоря, я над этим никогда не задумывался,— ответил офицер.

— Так вот,— продолжал врач, рассекая руками воздух, словно саблей, — все объясняется близостью к животному миру, если хотите знать. Мы с моим шефом Хуппенкотеном пришли к этому неожиданному и весьма простому выводу. Он даже блестяще защитил диссертацию, рожденную в результате тысячи опытов...

Гестаповцу, по-видимому, надоело слушать разглагольствования ученого мужа, и он предупреждающе поднял руку, но тот, не давая ему и слова вставить, перешел на более конкретную тему:

— Обратите внимание на этого человекообразного юношу. Типичный представитель. Нажраться — вот все, чего он хочет. За год в Германии он не усвоил ни единого немецкого слова, а когда его расстреливали, даже слезы не уронил. Животное! Ему безразлично, куда его ведут: на расстрел или в уборную. Таких следует уничтожать беспощадно. Но, увы, Германия теперь, как никогда, нуждается в рабочих руках. Поэтому весьма разумен и своевременен приказ о замене казни пожизненной каторгой, который

вступил в силу сегодня. В самом деле, какой толк, если мы повесим этого физически здорового дикаря? А если отправить его в лагерь, там он будет работать за черпак баланды. Правильно я говорю, коллега?

Офицера вконец утомил этот затянувшийся монолог, и он предложил быстрее закончить какую-то формальность.

— Ну что ж, — согласился доктор. — Мой вывод — можно использовать на тяжелых физических работах.

После этого он заполнил карточку, где они оба поставили свои подписи. Затем эскулап вытащил пинцетом спички из-под моих ногтей, а раны смазал йодом, даже не перевязав искалеченные пальцы.

Меня снова повели в помещение трибунала. Там зачитали окончательный приговор о замене расстрела пожизненной каторгой в концлагере сурового режима...

Глава 5

Камера помещалась на втором этаже. Когда надзиратель отпер дверь, ударил такой смрад, что я попятился, но, получив увесистый удар в спину, упал прямо на людей, которые копошились на цементном полу.

...Здесь постоянно царил полумрак. Ночью тускло горела маленькая дежурная лампочка. Большая же включалась только тогда, когда надзирателю надо было заглянуть в глазок. Была здесь еще одна лампочка — синяя, сигнальная, с помощью которой тюремщик подавал команды подъема, отбоя или построения на перекличку. Под самым потолком единственное крохотное окошко с крепкими металлическими решетками, через которые иногда пробивался солнечный лучик, будто осколок далекой вольной жизни.

Распорядок дня как и в других тюрьмах. В четыре — подъем, уборка камеры, мытье параша и утренняя поверка. После этого завтрак — по двести граммов кипятка мутно-коричневого цвета. В двенадцать обед — по пол-литра холодной вонючей бурды. В семь вечера — по кружке эрзац-кофе. Это «меню» за все время моего пребывания в тюрьме никогда не менялось.

Круглосуточно заключенных водили на допросы, откуда они, как правило, возвращались калеками. Некоторых приносили на носилках и швыряли, словно вязанку дров.

Меня поразила дружба и сплоченность этого интернационала узников. Поляк оказывал помощь больному русскому, чех ухаживал за искалеченным на допросе французом, перевязывая ему раны самодельными бинтами из собственной рубахи, а советский военнопленный вел душевный разговор с немцем-антифашистом.

Больного югослава мучила жажда, и заключенные отдавали ему из своего скудного пайка ложку баланды или кипятка, каждый, чем только мог, старался облегчить страдания товарищей. Я никогда не забуду этой волнующей взаимовыручки растоптанных, но не сломленных, сильных духом людей. Разноязычный и разноликий коллектив был спаян общим горем, общими взглядами, общей судьбой.

Первый, с кем я познакомился, был старый, седобородый поляк Казимир. Он подхватил меня, когда я падал, попросил товарищей потесниться и дать мне место. Когда глаза мои немного освоились с мраком, я увидел высохшие, измученные лица. «Живая братская могила», — подумалось поначалу. Но, несмотря на эти ужасы, я обрадовался как маленький. Шутка ли, наконец-то я среда людей, могу смотреть на них, могу говорить с ними.

Прежде всего меня попросили рассказать о себе. Я скрыл только работу на шахте «Гогенцоллернгрубе» и обстоятельства побега. Меня слушали затаив дыхание.

— Так это ты и есть тот мальчик, которого расстреливали?— взволнованно произнес Казимир.

Во всех тюрьмах был свой «беспроволочный телеграф». Дело в том, что политические заключенные выполняли в тюрьме всю работу по уборке разных помещений, работали в прачечных, на кухне, в медпункте, подметали и мыли полы в кабинетах следователей и в помещении трибунала, раздавали еду. Благодаря этому они сравнительно много знали и тихонько передавали в камеры важнейшие новости. Возможно, что в краковской тюрьме существовала подпольная антифашистская организация политзаключенных, а может быть, ее и не было вовсе. Узнав, под каким «эскортом» меня привезли сюда, политические заинтересовались моей личностью и, насколько это было возможно, следили за моей судьбой.

Меня окружили вниманием, помогали кто чем мог. Казимир — староста камеры, умудрялся выкраивать для меня лишнюю порцию баланды, лишнюю кружку кипятка, чтобы я мог попарить искалеченные, распухшие пальцы, которые не переставали гноиться, промывать раны на спине.

Наступила ночь. Через окошко в камере виднелся зарешеченный кусочек неба и несколько синевато-белых мерцающих звезд. И меня снова охватила невыразимая тоска по воле...

Заключенные шепотом разговаривают. Тихо журчит приглушенный голос Казимира. Старостой он стал несколько дней назад. До него был польский уголовник Юзек. Он всячески издевался над заключенными,

особенно над советскими людьми. Когда терпение иссякло, Юзека ночью прикончили. На утреннем апелле комиссар Красной Армии «дядя Ваня», как называли его в камере, взял вину на себя, чтобы спасти товарищей. А как он умирал, видел только я.

Три дня спустя меня «выдернули» из семнадцатой и снова бросили в одиночку.

Утром к баланде дали маленький, не более спичечного коробка, кусочек хлеба. Выдача хлеба предвещала дорогу. Вскоре за мной пришли и вывели

МЫСЛОВИЦЫ

Глава 1

Нам приказали сойти и построиться по три. Во всех немецких тюрьмах и лагерях начальство придавало большое значение построению заключенных, считая его весьма важным ритуалом, эталоном «мертвой» дисциплины, которую никто не смел нарушать. Случалось, что вконец обессиленный гефтлинг* падал во время такого построения. Его безжалостно добивали как злого симулянта, повинного в тяжком преступлении.

**Заклученный (нем.)*

В ожидании прихода начальства я рассматривал территорию нового лагеря. Слева стоял деревянный барак — лагерная кухня. Оттуда несло запахом вареной брюквы. Прямо перед нами простиралась ровная и гладкая, как теннисный корт, вымощенная площадь. За нею выстроились в длину шесть одноэтажных каменных зданий под черепицей. Очевидно, до войны это были войсковые пакгаузы, приспособленные теперь фашистами под концлагерные блоки. В стенах этих каменных строений под самой крышей вместо окон чернели узкие щели, напоминавшие бойницы. Когда-то они, видимо, служили вентиляционными люками. Теперь эти щели были заделаны решетками.

Сама территория лагеря была пустынна. В связи с прибытием этапа объявлена блокшпера — нечто вроде «мертвого часа», — во время которого заключенные обязаны сидеть в блоках и соблюдать абсолютную тишину. После команды «блокшпера» прекращалась любая работа. Команда выполнялась молниеносно. В каждого, кто нарушал ее, стреляли без предупреждения.

Возле площадки находился невысокий деревянный помост, нечто вроде трибуны, неподалеку от которой как памятник фашизму стояла капитальная, очевидно постоянно действующая виселица. Сейчас на ней висели двенадцать заключенных. К виселице прикреплен транспарант:

«Такая кара ждет каждого, кто осмелится бежать из лагеря».

Справа от ворот строго в линию стояло несколько деревянных барачков. Как узнал я позже, там помещались канцелярия, склады, баня, дезинфекционная камера и камера прожарки одежды, а также тотенблок — мертвецкая.

Лагерь густо обнесен колючей проволокой, над которой возвышаются сторожевые вышки с часовыми, вооруженными крупнокалиберными пулеметами и автоматами. За ограждениями среди зеленой травы — ручеек, словно голубая жилка, пульсирующая на израненном теле многострадальной, залитой кровью польской земли.

Из служебного помещения вышла группа эсэсовских офицеров во главе с оберштурмбаннфюрером. Он, как оказалось впоследствии, занимал должность рапортфюрера, то есть заместителя начальника лагеря. Раздалась команда: «Ахтунг!» Рапортфюрер и его свита приблизились к нам. Начальник конвоя отдал рапорт. Оберштурмбаннфюрер лично принимал заключенных. Он сличал сопроводительные документы с номерами каждого прибывшего. Закончив процедуру приема, он приказал нам стать на колени и положить руки на головы, придерживаясь при этом строжайшего равенства. Эта унижительная процедура сопровождалась избиением. Наконец рапортфюрер уgomонился и обратился к нам с речью;

— Так вот,— сказал он,— вы были опасными преступниками, врагами немецкого государства. Мы сделаем из вас послушных овец. У нас это просто,— он махнул в сторону виселицы.— Мы дадим вам возможность искупить тяжкую вину перед рейхом и научим уважать наши порядки. Вы попали в Мысловицкий штрафной пересыльный лагерь. После недолговременного карантина мы пошлем вас в чудесный лагерь санаторного типа — Аушвиц*. Там вы будете как в раю, но и здесь, как сможете убедиться, неплохо.

После этой «приветственной речи» он приказал позвать лагерных капо**. Не прошло и пяти минут, как к нам уже бежала целая свора надсмотрщиков. Они набросились на узников как бешеные собаки и, безжалостно орудуя дубинками, погнали в баню, а затем в дезинфекционную камеру.

* Немецкое название Освенцима.

** Лагерные полицаи; назначались обычно из числа уголовных преступников.

Здесь возле бочки с какой-то ядовитой жидкостью стоял дезинфектор в резиновых сапогах, рукавицах и в противогазе. Орудую квачом, он смазал нам все места, где растут волосы. Через несколько минут волосы выпали,

исчезли даже брови. Страшно чесалось, огнем горела кожа, и долго слезились глаза.

Голых нас погнали в вещевой склад, где одели в полосатую лагерную форму с красными треугольниками на груди, которые нашивали политическим заключенным, и красным кругом на спине и груди, что означало «флюгпункт»— «живая мишень». В штрафных командах больше месяца, как правило, никто не выдерживал. Штрафников беспощадно избивали, за малейшее нарушение режима в них стреляли без предупреждения.

Нас снова построили на площадке перед помостом и виселицей. Капо стали на правом фланге. Настежь распахнулись ворота, и на территорию лагеря въехал легковой автомобиль «майбах». Он остановился перед помостом.

Рапортфюрер заорал «ахтунг!» и бросился отворять дверцу. Из сверкающей на солнце черным лаком огромной машины показался вначале неправдоподобно большой зад. Похоже было на то, что он застрял в машине и никак не может выбраться оттуда. Прошло несколько мгновений, прежде чем его владелец, штандартенфюрер*, тяжело сопя, самолично предстал перед нами. Ничего подобного я еще не видел в своей жизни. На груди и животе этой туши, завернутой в дорогое сукно, красовался целый иконостас из крестов и медалей. Штандартенфюрер вынул из кармана большой клетчатый платок и принялся обтирать обильный пот, заливавший шею и серое, лепешкообразное лицо.

* Полковник СС.

Двое эсэсовцев услужливо помогли ему взобраться на помост. Он обвел нас маленькими свинными глазками и, расставив короткие слоновьи ноги, неторопливо расправил китель.

— Вот это чистокровный ариец!— прошептал мой сосед.

Штандартенфюрер скрестил на животе пухлые руки и неожиданно тонким, писклявым голосом произнес:

— Господа, позвольте отрекомендоваться. Я — штандартенфюрер фон Боденшатц, лагерфюрер этого лагеря, ваш родной отец.

При этих словах эсэсовцы дружно расхохотались.

— Вот уж не думал, что встречу здесь папашу, — сказал какой-то узник.

Подождав, пока уляжется хохот, лагерфюрер — позёр с замашками провинциального шута продолжал:

— Мне очень не нравится ваш вид. Все вы какие-то тощие, дохлые. Это безобразие. А я ведь должен сдать вас в Аушвиц физически

сильными, закаленными. Этого можно достичь только с помощью спорта. Спорт, как известно, укрепляет организм и очень полезен для здоровья. Предлагаю вашему вниманию три интересных упражнения. Первое — выравнивание булыжной мостовой кулаками. Второе — прыжки лягушачьи. Третье — кросс на четвереньках. Весь комплекс рассчитан на два часа. Предупреждаю: тот, кто вздумает симулировать, пусть пеняет на себя. Капо, начинайте!

С неистовыми криками капо погнали нас на мощеную булыжником площадь перед блоками, приказав стать на колени и изо всех сил бить кулаками по булыжникам, чтобы дорога стала «ровненькая и гладенькая, как столешница».

Фон Боденшатц и его свита оглушительно хохотали.

Только законченный дегенерат и садист мог придумать столь изощренную пытку. Впоследствии мне рассказали, что наш лагерфюрер — младший брат фельдмаршала фон Боденшатца — любимца самого Гитлера. Потому-то все эсэсовцы лебезили и пресмыкались перед ним.

Натешившись первым упражнением, «папаша» приказал снова построить нас перед трибуной. Трех заключенных, потерявших сознание, оттащили за ноги в сторону и бросили на левом фланге. Возмущенный штандартенфюрер велел привести «симулянтов» в чувство. Капо на наших глазах добились несчастных.

— Друзья мои! Это была разминка. Сейчас вы будете прыгать, как молодые лягушата. Капо!

Я даже не знаю, с чем сравнить то, что происходило. Разве что с адом. Нарывы на моих пальцах полопались, из-под ногтей сочился гной. Перед глазами плыли черные круги. Слово лишившись разума, я прыгал вместе с другими заключенными, а вошедшие в азарт капо подгоняли нас ударами дубинок. На площадке в предсмертных судорогах корчились несколько узников...

После третьего упражнения — «кросса» — снова несколько несчастных осталось на мостовой. И их добились за «симуляцию». Из тридцати человек «благополучно» финишировали семнадцать. Пока мертвых переносили в тотенблок, я стоял в поредевшей шеренге и медленно приходил в себя. Грудь разрывалась от бешеных ударов сердца. Не хватало воздуха. Страшно хотелось пить. До сих пор не могу понять, как выдержал я эту «физкультуру».

Она не была простым самодурством штандартенфюрера. Он ставил перед собой совершенно конкретную цель: ошеломить заключенных, добиться распада их человеческой личности, морально разложить,

превратить в животных, которые, потеряв всякое достоинство, честь и разум, только и думали бы о том, чтобы выжить. Выжить любой ценой.

Я видел таких, которые окончательно опустили и ничем не брезговали, лишь бы выжить. Они представляли собой картину окончательного падения, физической, умственной и моральной деградации. Их почему-то называли «мусульманами». Они жевали все, что можно было жевать. А чтобы раздобыть какую бы то ни было пищу, шли на любой, даже самый безрассудный поступок. «Мусульманин» вслепую бросался к телеге с брюквой, которую охраняли автоматчики. Если ему удавалось схватить брюкву, он даже не пытался убежать, а падал на землю и жадно грыз свою добычу, забыв обо всем на свете. Его тут же расстреливали, но это не останавливало остальных «мусульман». Как сумасшедшие, лезли они на автоматчиков, видя перед собой только брюкву, которую можно съесть. В состоянии «мусульманства» большей частью впадали новички. Бывалые узники, свикшиеся со всеми невгодами лагерной жизни, держались стойко. После всего пережитого в гитлеровских тюрьмах и лагерях я успел убедиться, что обстоятельства обстоятельствами, а многое зависит и от самого тебя, от твоей способности сопротивляться обстоятельствам.

Как ни старались гитлеровские изуверы, им не удалось идейно разоружить и морально разложить всех узников, довести их до животного состояния. Даже погибая от полного истощения, постоянных побоев и издевательств, большинство оставались настоящими людьми, не спасали свою жизнь ценой подлости, не шли на компромисс с собственной совестью. К ним, физически раздавленным, но не сломленным, я относился с большим уважением. Но с особым уважением я относился к людям, способным на героические поступки, готовым пойти на смерть во имя высокой цели. Я склонялся перед ними, считая, что такие люди нужны человечеству как солнце. Самого себя я не причислял к ним, с грустью сознавая, что мне не хватает драгоценных качеств бойца.

Но я научился терпеть голод, мучения, сносить побои, издеательства и почти никогда не впадал в отчаяние. Искра надежды и веры в жизнь не угасала в моем сердце при самых неблагоприятных обстоятельствах. Возможно, это и помогло мне выжить.

Глава 2

Натешившись вволю, фон Боденшатц и его блюдолизы отправились обедать, а усталые и охрипшие капо были не против и передохнуть. Они перестали размахивать дубинками и спокойно повели нас, еле живых, в блок.

Через весь приспособленный под блок пакгауз тянулся узкий длинный

коридор. Остальное помещение было разделено на секции-камеры. В каждой из них содержалось по несколько десятков узников. Здесь хозяйничали старосты и их помощники. Старосту назначал блокфюрер из числа уголовников, а те уже сами выбирали помощников. Это была привилегированная прослойка. Их материально поощряли, за что подонки из шкуры вон лезли, стараясь угодить начальству. Через раскрытую дверь одной из камер я увидел выстроенных узников с поднятыми руками. Они отбывали наказание, наложенное старостой. Я видел бескровные лица полумертвецов. Староста с физиономией гангстера бил тех, у кого дрожали или опускались бессильно руки.

Нас, штрафников, распределили по разным камерам. Меня отвели в последнюю, под номером двадцать. Знакомый запах параши, дезинфекционной жидкости и немых тел. Трехъярусные нары. На голых досках лежали ободранные, грязные, крайне истощенные люди. В правом углу отдельно стояли две койки. На одной — белые простыни, два новых шерстяных одеяла и две большие подушки. На другой — старый матрац и потертое, линялое одеяло. Нетрудно было догадаться, кому они принадлежали. На первой койке, голый по пояс, полулежал староста. Возле него вертелся, беспрестанно хихикая, помощник. Узкий лоб, продолговатое лисье лицо цвета размокшей бумаги и суетливые маслянистые глазки делали его внешность отвратительной. Когда-то, как я узнал позже, этот негодяй был советским гражданином, десять лет отсидел на Колыме. Как и за что попал в Мысловицы, никто не знал. Он то и дело напевал блатную песенку на мотив «Гопсосмыком»:

Песня гопсосмыком интересна,
Сто двадцать три куплета — всем известна,
Я теперь спою иную, ленинградскую блатную,
Как живут филоны в лагерях.

От него слышали только этот первый куплет, за что ему и дали прозвище «Стодвадцатьтрикуплета».

Старосту прозвали Бубновым Тузом. На свободе он специализировался по взломам сейфов. Водка и карты в лагерях строго запрещались, однако у него они не переводились. Бубнового Туза снабжал сам блокфюрер.

В Мысловицкий лагерь попадали люди из многих европейских стран. Не все они проходили через гестаповские тюрьмы и строгие карантинные. Многих привозили непосредственно с воли. Кое-кому удавалось пронести в блок деньги, кольца, часы, браслеты и другие ценности. Все это попадало в руки старосты, а от него блокфюреру. Блокфюрер в долгу не оставался, расплачиваясь маслом, колбасой, повидлом. Староста и его помощник

держали сотню узников в страхе и повиновении.

В тюрьмах и концлагерях «третьего рейха» существовали неписанные правила, согласно которым новичок, переступивший порог камеры, обязан был доложить старосте о своем прибытии и присягнуть на верность. В то же время тюремная «этика» не позволяла другим заключенным допытываться у новичка, кто он, когда и за что попался. Я хорошо знал о существующих порядках, знал, как держаться. Оставалось подойти и отрапортовать. В это время я заметил расстеленный у порога шелковый платок. Сей дешевый трюк уголовники применяли во всех тюрьмах. Он служил как бы своеобразным испытанием. Чаще всего новичок либо переступал через платок, либо поднимал его и спрашивал «чей?». Тут уж староста мог от души «потешиться».

Чтобы показать себя бывалым узником, я вытер ноги о платок, отфутболил его к параше, подошел к старосте и бодрым голосом (хотя едва держался на ногах после бешеной «физкультуры») сказал: «Мир дому моему!»— зная бытовавший среди уголовников афоризм: «Тюрьма — мой дом родной, а воля — временная командировка».

Староста некоторое время испытующе глядел на меня, видимо, что-то решая, потом сбросил с ноги башмак и приказал:

— Целуй ногу! Его холуй мерзко захихикал, извиваясь и приседая при этом:

— Бубновый Туз! Вы гений! Такой номер отмочить! Сдохнуть можно.

Со всех нар напряженно следили за нашим поединком, и я спокойно ответил:

— Видите ли, господин староста, я был осужден на расстрел, и только вчера этот приговор отменили. Согласно законам уголовного мира — а их мне растолковывал сам Вилли Шмидт!— ваша власть на меня не распространяется.

Эти слова произвели на Бубнового Туза большое впечатление. Вместо того чтобы проучить меня за дерзость, он спросил:

— А ты не темнишь? Назови-ка приметы Вилли Шмидта?

— Над правой бровью шрам, на груди цветной тушью татуировка: голая женщина в когтях орла...

В те времена о Вилли Шмидте знали буквально во всех тюрьмах и лагерях Германии. Немец Вилли Шмидт, по прозвищу Неуловимый Вилли, прославился тем, что создал и в течение многих лет возглавлял международную гангстерскую организацию по ограблению банков и взломам сейфов. Он не брезговал и убийствами.

Немецкая уголовная полиция, поняв свою беспомощность в поимке

Неуловимого, в конце концов обратилась к гестапо. Гестаповцам удалось выследить и арестовать Вилли на его даче, где-то в Австрийских Альпах, когда он со своей шайкой встречал новый, 1942 год. Гангстер избежал виселицы. У него нашлись влиятельные покровители и защитники с туго набитыми бумажниками. Его защищали лучшие адвокаты, которые сумели убедить судей, что Вилли Шмидт — патриот Германии. Он грабил только иностранные банки: во Франции, Венгрии, Болгарии, Польше, Швейцарии. Часть награбленного отдавал в фонд «обороны фатерлянда». Учитывая вышесказанное, верховный имперский суд заменил ему смертную казнь пожизненным заключением.

В мае 1942 года Неуловимый Вилли находился в Моабитской тюрьме. Жил он роскошно, в изобилии получая передачи от многочисленных поклонниц, спал на чистой постели и развлекался игрой на гитаре. Под полосатой тюремной робой он носил шелковое белье. Ежедневно принимал душ. Тюремный парикмахер каждое утро брил сановного узника и делал ему массаж. Надзиратели заискивали перед этим «почетным», как они выражались, заключенным.

Случилось так, что в камере, куда я попал после первого побега, старостой был Вилли Шмидт. Надо сказать, что он держал себя вполне пристойно. Свое пребывание в тюрьме считал временным отдыхом от мирской суеты. Он был средних лет и красивой внешности, обладал приятным голосом, неплохо играл на гитаре и пел. Иногда после бутылки рейнвейна впадал в лирику и рассказывал о своих необыкновенных похождениях. Говорил он занимательно, и его всегда охотно слушали.

Знакомство с великим гангстером спасло меня сейчас от тяжелой десницы Бубнового Туза и его ублюдка.

— А что у тебя с пальцами?— спросил староста.

— Гестаповский маникюр.

— Кусошник? Щипач?*

— Иди ты к дьяволу!— не удержался я.

* Карманный вор (*воровской жаргон*).

— Ладно, но я должен тебя обыскать.

— Это ваше право.

Мой разговор с Бубновым Тузом холуй слушал разинув рот: он ни бельмеса не понимал по-немецки и удивлялся, почему его хозяин затягивает расправу надо мной.

— Обыщи,— приказал Бубновый Туз холую по-польски. Стодвадцатьтрикуплета мгновенно встрепенулся и, весело напевая «Песня гопсосмыком интересна», тщательно ощупал всю мою одежду.

Закончив, он больно ущипнул меня и в довершение закатил оплеуху своей липкой, потной рукой.

— Господин староста,— обратился я по-немецки к Бубновому Тузу.— Вы приказали этому кретину только обыскать меня, а он, не зная законов уголовного мира, позорит вашу честь.

— Ступай сюда, — подозвал холуя староста и, когда тот приблизился, вlepил ему такую затрещину, что Стодвадцатьтрикуплета отлетел в угол. Потом прихвостень облизнулся и, придурковато хихикая, начал благодарить:

— Спасибо, пан староста! Ох и рука ж у вас, дай вам бог здоровья!

— Это чтобы не забывал, кто твой хозяин. Целуй ногу!

Холуй упал на колени и исполнил приказание.

Вскоре лагерные проминенты* принесли из эсэсовской кухни Бубновому Тузу обед, состоявший из нескольких блюд. Староста начал неторопливо чавкать, а Стодвадцатьтрикуплета сидел на своей койке и как голодный пес подобострастно и нетерпеливо глядел на хозяина. Насытившись, Бубновый Туз собрал объедки и протянул холуя.

*Заклученные, которые обычно обслуживали эсэсовцев и находились в привилегированном положении.

Кормили здесь еще хуже, чем в Краковской тюрьме. Лагерь считался нерентабельным, и узникам выдавали только по четыреста граммов баланды в день — холодной, мутной жидкости без соли, круп и овощей. Из-за этого, как было установлено на Нюрнбергском процессе, смертность по всем гитлеровским пересыльным лагерям была чрезвычайно высокой, достигая пятидесяти процентов бывших в наличии заключенных.

Бубновый Туз милостиво разрешил мне лечь на нары, а сам улегся спать. Стодвадцатьтрикуплета отгонял от него мух и строго следил, чтобы никто не нарушил тишины. Но вот заскрежетал замок на двери камеры, и староста поднялся. Ввели двух французских военнопленных, одетых в новенькую офицерскую форму. Оба чистенькие, здоровые, держались гордо и независимо. Переступив порог, они окинули брезгливым взглядом камеру и ее обитателей и, немного постояв, сели на самый краешек нар. Возмущенный такой наглостью, Бубновый Туз втянул голову в плечи, набычился, как бы готовясь к прыжку, и приказал прибывшим подойти к нему и сдать все ценные вещи.

— Мы офицеры, к тому же дворяне, — пояснил по-немецки брюнет с живыми карими глазами.— На нас распространяется положение Международной Женевской конвенции об обращении с военнопленными...

Бубновый Туз, не дав французам договорить, огрел его палкой по

голове. Второй пленный шагнул вперед, чтобы вступить за товарища, но получил пинок в живот и, не удержавшись на ногах, упал.

— Встать!— гаркнул староста.— Обыскать этих свиней!

Стодвадцатьтрикуплета забрал у французов часы, деньги, авторучки, сигареты, зажигалки и все это передал старосте. Снимая с шеи француза медальон на золотой цепочке, заглянул ему в рот и воскликнул:

— Пан староста, здесь рыжьё!*

Тот достал из-под матраца плоскогубцы и, подскочив к узнику, залез ими в рот. Послышался скрежет, хруст, и несколько золотых зубов в мгновение ока очутились в руке Бубнового Туза. Француз взвыл от боли.

*Золото (*воровской жаргон*).

— А теперь давайте поговорим начистоту, — уже миролюбиво обратился к французам удовлетворенный добычей Бубновый Туз. — Во-первых, вы подняли шухер в камере; во-вторых, не сдали ценностей и тем самым обокрали немецкое государство, за это вас надо бы повесить. Ваше счастье, что я добряк. Как тебя звать?

— Жан,— прошамкал окровавленным ртом француз.

— А тебя?

— Жак.

— Так вот. Ты, Жак, лезь под нары и сиди там, пока я не скажу. А ты, беззубая холера, садись на парашу, будешь вместо крышки.

Я задыхался от ненависти. Мной овладело мучительное желание собственноручно уничтожить этих палачей, как уничтожают бешеных собак. Но я прекрасно понимал, что, если у меня и хватит сил и отваги на такой поступок, все равно это ничего не изменит. Фашисты повесили бы меня, а этих двух подонков заменили бы другие.

Тут мне придется сделать небольшое отступление.

Общеизвестно, что любой тоталитарный режим более всего боится единства тех, кого он душит и преследует. Фашисты не были исключением. Именно поэтому в лагерях они широко применяли известный принцип тиранов: разделяй и властвуй. С целью посеять раздор между заключенными, помешать их сплочению гитлеровцы умышленно раздували в концентрационных лагерях национальную вражду. С этой же целью политических заключенных держали вместе с уголовниками. Последним они всячески потворствовали, поощряя их терроризировать политических, всячески издеваться над ними. Самых отъявленных бандитов и убийц администрация лагерей назначала на должности комендантов, старост, капо и так далее.

Чтобы легче было различать заключенных, на одежду им нашивали

специальные винкелы — различного цвета треугольники: красные носили политические, черные — саботажники; священники и всевозможные толкователи библии, которые не желали служить в армии и прославлять кровавый режим фюрера, — фиолетовые; евреям нашивали шестиконечную звезду, три угла которой были желтые, а три красные, немецкие уголовные преступники — убийцы, воры, грабители, насильники — имели зеленые треугольники; отсюда и их название — зеленые. Зеленые были верными помощниками администрации лагерей и эсэсовской охраны. Между ними и политическими постоянно велась борьба не на жизнь, а на смерть. В конце 1944 года и в начале 1945-го движение Сопротивления в гитлеровских концлагерях настолько выросло и окрепло, что подпольным антифашистским организациям удалось захватить все внутрилагерные административные должности. По приказу Гитлера в конце войны зеленых мобилизовали в армию. Им простили все грехи и отправили на фронт. Подпольные организации значительно окрепли. Движение Сопротивления в лагерях превратилось в могучую силу. Эта сила подняла заключенных на вооруженные восстания. Так, например, было в Бухенвальде, Собиборе, Маутхаузене и Линце III, где восставшие заключенные еще до подхода союзных армий перебили охрану и сами себя освободили.

Но все это произошло позднее, а пока что в лагерях, поощряемые администрацией, верховодили уголовные преступники типа Бубнового Туза. За харчи из эсэсовской кухни и другие привилегии они всячески терроризировали узников.

Теоретически все эти обездоленные, непрерывно истязуемые и преследуемые люди, объединившись, могли бы стать грозной силой. Ведь все они за небольшим исключением ненавидели фашизм.

Однако целый ряд факторов служил препятствием такому сплочению. Узники со всех концов Европы являлись представителями десятков национальностей. Чаще всего они попросту не понимали друг друга. Затем — постоянная циркуляция. В результате бесконечных перемещений из одного лагеря в другой заключенные не успевали как следует изучить друг друга, опасаясь доверять один другому, тем более что гитлеровцы не дремали и всех, на кого падало малейшее подозрение, сразу ликвидировали. Вот почему даже в тех лагерях, где контингент заключенных был более или менее постоянным, подпольные организации зарождались очень медленно.

Глава 3

Моим соседом по нарам оказался молодой, крупнокостный узник с открытым, симпатичным лицом и приветливыми серыми глазами.

Держался он независимо, с достоинством. Мы с ним быстро сошлись и доверились друг другу.

Максим Киреев был из Смоленщины. Накануне войны проходил действительную военную службу в одной из частей, которая дислоцировалась в Белоруссии. На пятый день войны их дивизия вела тяжелые, кровопролитные бои на подступах к Минску. Окопавшись, красноармейцы отбивали бешеные атаки вооруженного до зубов врага. Стояли насмерть, а ожидаемые резервы почему-то все не подходили.

Немцы понесли большие потери и прекратили наступление. Но уже на следующий день выяснилось, что, потерпев неудачу в лобовых атаках, они двинулись в обход и дивизия была окружена. Это, собственно говоря, была уже не дивизия, а ее остатки — тысяча раненых, голодных, измученных бессонницей, непрерывными боями людей. Они пытались пробиваться к своим. В одной из стычек сержант Киреев, который уже командовал ротой, был тяжело ранен. Его оставили на хуторе в лесной глухомани. Два месяца боролись хуторяне за жизнь Максима, и смерть отступила. Но однажды нагрянули немцы с облавой, забрали всех мужчин, а с ними и Киреева.

Сперва был лагерь военнопленных неподалеку от Барановичей, потом холмский лагерь, откуда Максим решил бежать, но не успел. Заключенных угнали в Германию. Полтора года гнул он спину на заводе, был чернорабочим на железной дороге, ищачил в каменном карьере. Несколько попыток бежать оканчивались неудачей. В мае сорок третьего он совершил побег из лагеря в районе Магдебурга. Поймали его в Силезии и на пять дней раньше меня доставили в Мысловицкий лагерь. Он еще не успел превратиться в доходягу и снова готов был лезть черту на рога, лишь бы вырваться отсюда.

— Пока не уберем Бубнового Туза и его холуя, о побеге и думать нечего,— говорил Максим.— У меня есть план. Нужна твоя помощь.

План этот показался мне хотя и очень рискованным, но выполнимым, мы договорились о деталях и свою договоренность скрепили клятвой.

Вечером Бубновый Туз учил нас выполнять команды: «стройся» и «отбой». По первой команде узник должен пулей соскочить с нар и занять свое место в строю, по второй — стремглав мчаться к нарам и камнем падать на них. Час тренировки не дал нужных результатов, в отведенные нам секунды никто не мог уложиться. Староста с помощником трудились до седьмого пота, орудую палками. Стодвадцатьтрикуплета все время старался ударить меня по голове или рукам. Руки мне удавалось прятать, а голова порядком пострадала и раскалывалась от боли. Многие из заключенных поразбивали себе лбы в страшной тесноте и давке. Это была

муштра ничуть не легче той, что устраивал на плацу «папаша» Боденшатц.

Начали раздавать ужин, «тренировку» перенесли на следующий день. Когда я подошел за своей порцией, Бубновый Туз дал мне на полчерпака больше, считая меня уголовником.

В камере зажглась синяя ночная лампочка. Бубновый Туз включил карманный фонарик, достал из тумбочки две бутылки шнапса, колбасу и хлеб. Пошла пьянка и картежная игра. Бубновый Туз и Стодвадцатьтрикуплета играли на ценности, которые утаивали, недодавая начальству, — золотые монеты, валюту. Трудно сказать, кто у кого выигрывал, только староста чем дальше, тем чаще лупил своего холуя, обвиняя в жульничестве. Игра продолжалась далеко за полночь. Под конец они распили еще одну бутылку шнапса, выудив ее из матраца, потом снова подрались и наконец уgomонились. Заснул и я.

Предутреннюю тишину разорвал пронзительный вой сирены. В коридоре раздались резкие команды эсэсовцев, надзиратели загремели ключами. Начиналась утренняя поверка. Наша камера в самом конце коридора, но мы стремглав соскакиваем с нар и торопимся стать в шеренгу. Пробегая мимо меня, Максим на секунду останавливается и шепчет:

— Смотри же не подведи.

У меня немеют ноги. Значит, дело сделано. Чем только все это кончится? У Максима лицо сосредоточенное, решительное, но заметно изнуренное, глаза ввалились.

Девяносто восемь узников застыли в строю. Только староста и его помощник, к общему удивлению, спят. Я стоял последний с левого фланга и видел, как лежит староста, неестественно уткнувшись лицом в подушку, а Стодвадцатьтрикуплета, неуклюже раскинувшись на своей койке, как-то странно, рывками храпит.

Загремели засовы, открылась дверь, и в камеру в сопровождении двух эсэсовцев вошел блокфюрер. Сегодня он был в плохом настроении. Высокий, тощий, длинное лицо землисто-серого цвета, под глазами набрякли черные мешки. Нервной походкой он прошелся вдоль строя и, не дождаввшись рапорта, подскочил к койке старосты. Грязно выругавшись, он огрел его нагайкой. От такого удара и мертвый перевернулся бы в гробу, но Бубновый Туз продолжал лежать неподвижно. Как ужаленный, вскочил помощник-холуй и с перепугу во всю глотку заорал: «Ахтунг!» Блокфюрер, еще раз ударив, схватил старосту за руку выше локтя и дернул так, что он свалился на пол. Наконец, сообразив, что староста мертв, блок-фюрер обвел взглядом узников и зловеще прошипел:

— Убийство? Кто?..

Осторожно переставляя ноги, словно боясь куда-то провалиться, он медленно прошел вдоль строя. Тонкий крючковатый нос, острый взгляд бесцветных холодных глаз из-под большого козырька эсэсовской фуражки с высокой тульей делали блокфюрера похожим на хищную птицу.

Взгляд блокфюрера скользнул по мне, и на какую-то долю секунды глаза наши встретились. Каждый мой нерв, каждая клеточка моего тела были напряжены до предела.

— Кто убил старосту, выйти из строя!— голосом, в котором звенел металл, скомандовал фашист. Воцарилась тяжелая, гнетущая тишина.

— Выходит, никто не убивал. Тогда выйти из строя тем, кто видел, как это произошло!

После этой команды из строя вышел одноглазый коренастый узник, а за ним я.

— Кто еще?— как можно спокойнее спросил эсэсовец. Но больше желающих давать показания не нашлось.

— Что ты видел?— обратился блокфюрер к одноглазому. Тот быстро затараторил по-немецки. Стодвадцатьтрикуплета, стоявший до этого по стойке «смирно», вытянул шею, раскрыл рот, недоуменно и растерянно прислушивался к словам заключенного. Но понять ничего не мог.

Тем временем одноглазый рассказал блокфюреру, что староста и его помощник пьянствовали и играли в карты на деньги и золотые вещи. Деньги и ценности доставали из тайников. Как видно, староста проигрывал, так как дважды лазил в матрац. Под конец Бубновый Туз избил своего помощника, отобрал у него все и спрятал. Когда же староста заснул, Стодвадцатьтрикуплета подкрался, накрыл ему голову одеялом и задушил.

Блокфюрер слушал с явным недоверием.

— А ты что видел?— Это он повернулся ко мне. Я ответил, что плохо понимаю по-немецки. Блокфюрер вызвал из строя польского еврея Семена Варшавского и заставил переводить. Как мы и договорились с Максимом, я почти слово в слово повторил предыдущий рассказ. От себя прибавил только, что, задушив старосту, Стодвадцатьтрикуплета что-то искал у него в матраце.

С каждой секундой глаза блокфюрера сужались и становились все более хищными. Выслушав меня, он опросил:

— Когда это произошло?

— После полуночи.

— А почему ты не спал?

— У меня очень болели пальцы.

Я показал ему свои распухшие, гноящиеся руки.

То, что мы с одноглазым на разных языках дали одинаковые показания, которые не расходились даже в деталях, произвело на блокфюрера большое впечатление. А чтобы развеять у него последние сомнения, я добавил:

— Достаточно вам обыскать матрац помощника старосты, и вы увидите, что я сказал чистую правду.

В это время Стодцатътрикуплета, до сих пор будто парализованный, в отчаянии завопил:

— Враки это все, враки! Это они убили пана старосту!

Разъяренный блокфюрер подскочил к нему и наотмашь ударил плетью. Тот залился кровью, упал к ногам эсэсовцев, вопя не своим голосом:

— Пан начальник! Пан начальник!

— Обыскать!— приказал эсэсовцам блокфюрер.

Вмиг оба матраца были вспороты и выпотрошены... Из матраца Стодцатътрикуплета выпали несколько пар золотых часов, цепочки, кольца, медальоны, золотые монеты. Еще больше драгоценных вещей оказалось у старосты. Все найденное блокфюрер спрятал в карманы. Глаза его горели, он никак не мог скрыть своего возбуждения. А когда распорол подушки, с нескрываемой алчностью рылся в них, забыв о своем арийском гоноре.

Наконец обыск закончился. Блокфюрер озабоченно посмотрел на часы: в пять нужно рапортовать о порядке в блоке. Ему нужно спрятать в надежном месте часть награбленного, очистить мундир от перьев и привести себя в порядок. Ведь в фашистском рейхе внешний вид офицера ценился чуть ли не наравне с преданностью фюреру. А за нарушения присяги и присвоение ценностей, которые считались собственностью немецкого государства, по головке не погладят даже эсэсовского офицера.

Увидя, с какой поспешностью блокфюрер рассовал по карманам золото, я понял: судьба Стодцатътрикуплета решена. Ждать долго не пришлось. По команде эсэсовцы накинулись на Стодцатътрикуплета, ползавшего у ног блокфюрера и целовавшего ему сапоги. Посыпались удары, подонок, обхватив голову руками, дико заорал. Его топтали коваными сапогами, пока не убедились, что он уже никогда не встанет. Потом взяли растерзанный труп за ноги и поволокли из камеры.

— Аллес ин орднунг* — торжественно произнес блокфюрер, прошелся вдоль выстроенных рядов узников, ткнул пальцем в Жака и сказал: — Назначаю тебя старостой. Немедленно прибрать все это!— Он брезгливо ткнул нагайкой в сторону вспоротых подушек и матрацев.

Блокфюрер вышел. Французы не скрывали своего удовлетворения таким поворотом событий. Энергично жестикулируя, они оживленно разговаривали. Смерть ненавистного старосты и его холуя устраивала всех.

*Все в порядке! (нем.).

143

Один из узников подошел ко мне, пристально поглядел в глаза и сказал:

— Сделано — комар носа не подточит. За золото эсэсовцы отправят на тот свет кого угодно... Тонко сработано, что и говорить...

Я промолчал, делая вид, что вся эта история лично меня не касается.

Работали старательно и молча. Жак и Жан руководили уборкой спокойно, без окриков и суеты. В мусорный ящик выбросили обе дубинки, которыми Бубновый Туз и Стодвадцатьтрикуплета еще вчера избивали нас. Эта деталь не осталась незамеченной. Все с облегчением вздохнули.

Жизнь узников двадцатой камеры изменилась к лучшему. Жак спокойно и деловито выстраивал заключенных на утренний и вечерний аппель, рапортовал блокфюреру, получал и честно распределял баланду, руководил уборкой камеры, следил за порядком и старался, насколько это было возможно, облегчить положение больных и до предела истощенных. В глазах даже стопроцентных доходяг затеплились огоньки надежды. Заключенные заботились друг о друге, помогали ослабевшим слезать с нар во время утренних и вечерних поверок. Камеру прибирали добровольцы из физически более крепких.

Жаку как старосте три раза в день приносили из эсэсовской кухни калорийную пищу. Он подкармливал своего земляка Жана и меня. Ко мне все в камере относились как к ребенку. Я делился этой едой с Максимом. А когда однажды блокфюрер принес Жаку бутылку шнапса, он промыл мне раны на спине и пальцах и продезинфицировал самодельные бинты. Я спокойно спал, сколько хотел. Меня будили только поесть да на вечерний и утренний аппель.

Больше всего я боялся теперь, чтобы меня не перевели в другой лагерь, ведь наш пересыльный, здесь никто долго не задерживался.

Мои опасения оказались не безосновательны...

Глава 4

Один из заключенных, дежуривший у дверей, подал сигнал тревоги: блокфюрер! Мы быстро построились. Теперь команду «стройся!» выполняли значительно быстрее, чем при Бубновом Тузе. Никто не хотел подводить нового старосту.

Жак отдал рапорт:

— В строю девяносто восемь гефтлингов. Отрабатываем приемы построения. Староста двадцатой камеры Жак Морель.

Блокфюрер прошелся по камере и удовлетворенно пробурчал «гут». Потом он достал из кармана записную книжку и стал нетерпеливо перелистывать. Все замерли в тревожном ожидании.

— Драйхундертфюнфунднойнцигзibunдцванциг!

Блокфюрер назвал мой номер. Сердце у меня екнуло. Я взглянул на Максима. Его бледное лицо сейчас выражало сильное волнение, а ласковые серые глаза потемнели. Он, вероятно, подумал, что меня забирают на допрос по делу загадочной смерти Бубнового Туза.

Собравшись с духом, я громко ответил:

— Есть!— и вышел из строя.

— Раус!— скомандовал блокфюрер. Все смотрят на меня с сочувствием, словно провожают на смерть.

— Прощайте, товарищи!

— Ахтунг!— с надрывом кричит Жак.

Я понимаю, что это сказано специально для меня.

Спазмы перехватывают горло. С трудом сдерживаю готовые брызнуть слезы. Переступив порог камеры, я почувствовал себя совсем одиноким и беззащитным.

На знакомой площадке уже выстраивались сотни три заключенных. Возле трибуны в окружении свиты стоял «папаша» Боденшатц. Он, видно, рассказывал что-то очень веселое своим подхалимам, те громко хохотали.

Наконец процедура выстраивания, которая стоила жизни нескольким узникам, была закончена. «Папаша» Боденшатц, с трудом взобравшись на помост, молитвенно закатив глаза, как бы подчеркивая торжественность момента, растроганным писклявым голосом произнес:

— Дорогие мои детки! Наступила грустная минута. Как ни печально, но нам приходится расставаться. Вы у меня жили, как у Христа за пазухой. Надеюсь, вы еще не раз вспомните счастливые денечки, проведенные в этом райском уголке. Прощайте. Пишите письма.

Старый шут и ханжа, паясничая, вынул из кармана платок и приложил его к глазам, делая вид, что утирает слезы.

— Смейтесь, скоты, скоро придется плакать!— выкрикнул один из заключенных. Это была неразумная и отчаянная дерзость. И его счастье, что гомерический хохот эсэсовцев помешал им услышать слова смельчака.

Началась сверка номеров с документами. Лагерные писари ходили вдоль шеренг со списками и стандартными сопроводительными карточками. Карточки были из твердой бумаги, имели квадратную форму,

приблизительно двенадцать на двенадцать сантиметров. В них заносились основные демографические данные и перечень «преступлений», совершенных узником

перед немецким государством. На моей карточке с левого нижнего уголка до верхнего правого, по диагонали шла широкая красная полоса, на которой черной краской было напечатано: «Цурюк керен ист унервунш»*. Сверяя мой номер с карточкой, писарь и эсэсовец с удивлением и недоверием рассматривали меня: им не верилось, что такой истощенный и слабосильный подросток с забинтованными руками мог столько раз бежать из лагерей.

*Возвращение нежелательно (нем.).

Не успели еще закончить проверку, а в лагерь уже въезжали десять крытых грузовиков и десять мотоциклов с колясками, на которых были установлены пулеметы. Когда нас загоняли в кузов, я умышленно замешкался. И хотя это стоило мне двух ударов прикладом в спину, я своего добился — залез в машину одним из последних. Пустился на эту хитрость я для того, чтобы рассматривать окружающую местность, хотя бы в дороге увидеть белый свет.

— Хуже не будет,— сказал один из заключенных.

— Будет хуже,— возразил другой.

Впоследствии я часто вспоминал эти слова, даже тон, каким они были сказаны...

Девять автомашин быстро заполнили живыми узниками. В десятую, как дрова, складывали трупы, тщательно сверив номера с сопроводительными карточками. Гитлеровцы ни во что не ставили жизнь заключенного. Убить развлечения ради считалось делом обыкновенным и ненаказуемым. Между тем к мертвым всегда сохранялось особое внимание. Бухгалтерия смерти велась на высшем уровне.

Но вот колонна выехала за ворота, и, придерживаясь определенных интервалов, машины свернули на шоссе.

Возвращение нежелательно (нем.).

В последний раз мелькнула ржавая колючая проволока Мысловицкого лагеря смерти, сторожевые вышки, виселица, деревянные бараки и каменные блоки, а среди них и четвертый блок, где остались мои друзья...

По обочинам дороги раскинулась волнистая равнина, которая так напоминала милую моему сердцу Украину. Я отдал бы остаток своей искалеченной жизни только за то, чтобы походить по этому приволью, а потом лечь навзничь лицом к солнцу в душистые травы и смотреть,

смотреть в бездонную небесную синь.

Глава 3

Моим соседом по нарам оказался молодой, крупнокостный узник с открытым, симпатичным лицом и приветливыми серыми глазами. Держался он независимо, с достоинством. Мы с ним быстро сошлись и доверились друг другу.

Максим Киреев был из Смоленщины. Накануне войны проходил действительную военную службу в одной из частей, которая дислоцировалась в Белоруссии. На пятый день войны их дивизия вела тяжелые, кровопролитные бои на подступах к Минску. Окопавшись, красноармейцы отбивали бешеные атаки вооруженного до зубов врага. Стояли насмерть, а ожидаемые резервы почему-то все не подходили.

Немцы понесли большие потери и прекратили наступление. Но уже на следующий день выяснилось, что, потерпев неудачу в лобовых атаках, они двинулись в обход и дивизия была окружена. Это, собственно говоря, была уже не дивизия, а ее остатки — тысяча раненых, голодных, измученных бессонницей, непрерывными боями людей. Они пытались пробиваться к своим. В одной из стычек сержант Киреев, который уже командовал ротой, был тяжело ранен. Его оставили на хуторе в лесной глухомани. Два месяца боролись хуторяне за жизнь Максима, и смерть отступила. Но однажды нагрянули немцы с облавой, забрали всех мужчин, а с ними и Киреева.

Сперва был лагерь военнопленных неподалеку от Барановичей, потом холмский лагерь, откуда Максим решил бежать, но не успел. Заключенных угнали в Германию. Полтора года гнул он спину на заводе, был чернорабочим на железной дороге, ищачил в каменном карьере. Несколько попыток бежать оканчивались неудачей. В мае сорок третьего он совершил побег из лагеря в районе Магдебурга. Поймали его в Силезии и на пять дней раньше меня доставили в Мысловицкий лагерь. Он еще не успел превратиться в доходягу и снова готов был лезть черту на рога, лишь бы вырваться отсюда.

— Пока не уберем Бубнового Туза и его холуя, о побеге и думать нечего,— говорил Максим.— У меня есть план. Нужна твоя помощь.

План этот показался мне хотя и очень рискованным, но выполнимым, мы договорились о деталях и свою договоренность скрепили клятвой.

Вечером Бубновый Туз учил нас выполнять команды: «стройся» и «отбой». По первой команде узник должен пулей соскочить с нар и занять свое место в строю, по второй — стремглав мчаться к нарам и камнем падать на них. Час тренировки не дал нужных результатов, в отведенные нам секунды никто не мог уложиться. Староста с помощником трудились

до седьмого пота, орудуя палками. Стодвадцатьтрикуплета все время старался ударить меня по голове или рукам. Руки мне удавалось прятать, а голова порядком пострадала и раскалывалась от боли. Многие из заключенных поразбивали себе лбы в страшной тесноте и давке. Это была муштра ничуть не легче той, что устраивал на плацу «папаша» Боденшатц.

Начали раздавать ужин, «тренировку» перенесли на следующий день. Когда я подошел за своей порцией, Бубновый Туз дал мне на полчерпака больше, считая меня уголовником.

В камере зажглась синяя ночная лампочка. Бубновый Туз включил карманный фонарик, достал из тумбочки две бутылки шнапса, колбасу и хлеб. Пошла пьянка и картежная игра. Бубновый Туз и Стодвадцатьтрикуплета играли на ценности, которые утаивали, недодавая начальству, — золотые монеты, валюту. Трудно сказать, кто у кого выигрывал, только староста чем дальше, тем чаще лупил своего холуя, обвиняя в жульничестве. Игра продолжалась далеко за полночь. Под конец они распили еще одну бутылку шнапса, выудив ее из матраца, потом снова подрались и наконец угомонились. Заснул и я.

Предутреннюю тишину разорвал пронзительный вой сирены. В коридоре раздались резкие команды эсэсовцев, надзиратели загремели ключами. Начиналась утренняя поверка. Наша камера в самом конце коридора, но мы стремглав соскакиваем с нар и торопимся стать в шеренгу. Пробегая мимо меня, Максим на секунду останавливается и шепчет:

— Смотри же не подведи.

У меня немеют ноги. Значит, дело сделано. Чем только все это кончится? У Максима лицо сосредоточенное, решительное, но заметно изнуренное, глаза ввалились.

Девяносто восемь узников застыли в строю. Только староста и его помощник, к общему удивлению, спят. Я стоял последний с левого фланга и видел, как лежит староста, неестественно уткнувшись лицом в подушку, а Стодвадцатьтрикуплета, неуклюже раскинувшись на своей койке, как-то странно, рывками храпит.

Загремели засовы, открылась дверь, и в камеру в сопровождении двух эсэсовцев вошел блокфюрер. Сегодня он был в плохом настроении. Высокий, тощий, длинное лицо землисто-серого цвета, под глазами набрякли черные мешки. Нервной походкой он прошелся вдоль строя и, не дождавшись рапорта, подскочил к койке старосты. Грязно выругавшись, он огрел его нагайкой. От такого удара и мертвый перевернулся бы в гробу, но Бубновый Туз продолжал лежать неподвижно. Как ужаленный, вскочил помощник-холуй и с перепугу во всю глотку заорал: «Ахтунг!» Блокфюрер,

еще раз ударив, схватил старосту за руку выше локтя и дернул так, что он свалился на пол. Наконец, сообразив, что староста мертв, блок-фюрер обвел взглядом узников и зловеще прошипел:

— Убийство? Кто?..

Осторожно переставляя ноги, словно боясь куда-то провалиться, он медленно прошел вдоль строя. Тонкий крючковатый нос, острый взгляд бесцветных холодных глаз из-под большого козырька эсэсовской фуражки с высокой тульей делали блокфюрера похожим на хищную птицу.

Взгляд блокфюрера скользнул по мне, и на какую-то долю секунды глаза наши встретились. Каждый мой нерв, каждая клеточка моего тела были напряжены до предела.

— Кто убил старосту, выйти из строя!— голосом, в котором звенел металл, скомандовал фашист. Воцарилась тяжелая, гнетущая тишина.

— Выходит, никто не убивал. Тогда выйти из строя тем, кто видел, как это произошло!

После этой команды из строя вышел одноглазый коренастый узник, а за ним я.

— Кто еще?— как можно спокойнее спросил эсэовец. Но больше желающих давать показания не нашлось.

— Что ты видел?— обратился блокфюрер к одноглазому. Тот быстро затараторил по-немецки. Стодвадцатьтрикуплета, стоявший до этого по стойке «смирно», вытянул шею, раскрыл рот, недоуменно и растерянно прислушивался к словам заключенного. Но понять ничего не мог.

Тем временем одноглазый рассказал блокфюреру, что староста и его помощник пьянствовали и играли в карты на деньги и золотые вещи. Деньги и ценности доставали из тайников. Как видно, староста проигрывал, так как дважды лазил в матрац. Под конец Бубновый Туз избил своего помощника, отобрал у него все и спрятал. Когда же староста заснул, Стодвадцатьтрикуплета подкрался, накрыл ему голову одеялом и задушил.

Блокфюрер слушал с явным недоверием.

— А ты что видел?— Это он повернулся ко мне. Я ответил, что плохо понимаю по-немецки. Блокфюрер вызвал из строя польского еврея Семена Варшавского и заставил переводить. Как мы и договорились с Максимом, я почти слово в слово повторил предыдущий рассказ. От себя прибавил только, что, задушив старосту, Стодвадцатьтрикуплета что-то искал у него в матраце.

С каждой секундой глаза блокфюрера сужались и становились все более хищными. Выслушав меня, он опросил:

— Когда это произошло?

— После полуночи.

— А почему ты не спал?

— У меня очень болели пальцы.

Я показал ему свои распухшие, гноящиеся руки.

То, что мы с одноглазым на разных языках дали одинаковые показания, которые не расходились даже в деталях, произвело на блокфюрера большое впечатление. А чтобы развеять у него последние сомнения, я добавил:

— Достаточно вам обыскать матрац помощника старосты, и вы увидите, что я сказал чистую правду.

В это время Стодвадцатьтрикуплета, до сих пор будто парализованный, в отчаянии завопил:

— Враки это все, враки! Это они убили пана старосту!

Разъяренный блокфюрер подскочил к нему и наотмашь ударил плетью. Тот залился кровью, упал к ногам эсэсовцев, вопя не своим голосом:

— Пан начальник! Пан начальник!

— Обыскать!— приказал эсэсовцам блокфюрер.

Вмиг оба матраца были вспороты и выпотрошены... Из матраца Стодвадцатьтрикуплета выпали несколько пар золотых часов, цепочки, кольца, медальоны, золотые монеты. Еще больше драгоценных вещей оказалось у старосты. Все найденное блокфюрер спрятал в карманы. Глаза его горели, он никак не мог скрыть своего возбуждения. А когда распорол подушки, с нескрываемой алчностью рылся в них, забыв о своем арийском гоноре.

Наконец обыск закончился. Блокфюрер озабоченно посмотрел на часы: в пять нужно рапортовать о порядке в блоке. Ему нужно спрятать в надежном месте часть награбленного, очистить мундир от перьев и привести себя в порядок. Ведь в фашистском рейхе внешний вид офицера ценился чуть ли не наравне с преданностью фюреру. А за нарушения присяги и присвоение ценностей, которые считались собственностью немецкого государства, по головке не погладят даже эсэсовского офицера.

Увидя, с какой поспешностью блокфюрер рассовал по карманам золото, я понял: судьба Стодвадцатьтрикуплета решена. Ждать долго не пришлось. По команде эсэсовцы накинулись на Стодвадцатьтрикуплета, ползавшего у ног блокфюрера и целовавшего ему сапоги. Посыпались удары, подонок, обхватив голову руками, дико заорал. Его топтали коваными сапогами, пока не убедились, что он уже никогда не встанет. Потом взяли растерзанный труп за ноги и поволокли из камеры.

— Аллес ин орднунг* — торжественно произнес блокфюрер, прошелся вдоль выстроенных рядов узников, ткнул пальцем в Жака и сказал: — Назначаю тебя старостой. Немедленно прибрать все это!— Он брезгливо ткнул нагайкой в сторону вспоротых подушек и матрацев.

Блокфюрер вышел. Французы не скрывали своего удовлетворения таким поворотом событий. Энергично жестикулируя, они оживленно разговаривали. Смерть ненавистного старосты и его холуя устраивала всех.

*Все в порядке! (нем.).

143

Один из узников подошел ко мне, пристально поглядел в глаза и сказал:

— Сделано — комар носа не подточит. За золото эсэсовцы отправят на тот свет кого угодно... Тонко сработано, что и говорить...

Я промолчал, делая вид, что вся эта история лично меня не касается.

Работали старательно и молча. Жак и Жан руководили уборкой спокойно, без окриков и суеты. В мусорный ящик выбросили обе дубинки, которыми Бубновый Туз и Стодвадцатьтрикуплета еще вчера избивали нас. Эта деталь не осталась незамеченной. Все с облегчением вздохнули.

Жизнь узников двадцатой камеры изменилась к лучшему. Жак спокойно и деловито выстраивал заключенных на утренний и вечерний аппель, рапортовал блокфюреру, получал и честно распределял баланду, руководил уборкой камеры, следил за порядком и старался, насколько это было возможно, облегчить положение больных и до предела истощенных. В глазах даже стопроцентных доходяг затеплились огоньки надежды. Заключенные заботились друг о друге, помогали ослабевшим слезать с нар во время утренних и вечерних поверок. Камеру прибирали добровольцы из физически более крепких.

Жаку как старосте три раза в день приносили из эсэсовской кухни калорийную пищу. Он подкармливал своего земляка Жана и меня. Ко мне все в камере относились как к ребенку. Я делился этой едой с Максимом. А когда однажды блокфюрер принес Жаку бутылку шнапса, он промыл мне раны на спине и пальцах и продезинфицировал самодельные бинты. Я спокойно спал, сколько хотел. Меня будили только поесть да на вечерний и утренний аппель.

Больше всего я боялся теперь, чтобы меня не перевели в другой лагерь, ведь наш пересыльный, здесь никто долго не задерживался.

Мои опасения оказались не безосновательны...

Глава 4

Один из заключенных, дежуривший у дверей, подал сигнал тревоги:

блокфюрер! Мы быстро построились. Теперь команду «стройся!» выполняли значительно быстрее, чем при Бубновом Тузе. Никто не хотел подводить нового старосту.

Жак отдал рапорт:

— В строю девяносто восемь гефтлингов. Отрабатываем приемы построения. Староста двадцатой камеры Жак Морель.

Блокфюрер прошелся по камере и удовлетворенно пробурчал «гут». Потом он достал из кармана записную книжку и стал нетерпеливо перелистывать. Все замерли в тревожном ожидании.

— Драйхундертфюнфунднойнцигзибундцванциг!

Блокфюрер назвал мой номер. Сердце у меня екнуло. Я взглянул на Максима. Его бледное лицо сейчас выражало сильное волнение, а ласковые серые глаза потемнели. Он, вероятно, подумал, что меня забирают на допрос по делу загадочной смерти Бубнового Туза.

Собравшись с духом, я громко ответил:

— Есть!— и вышел из строя.

— Раус!— скомандовал блокфюрер. Все смотрят на меня с сочувствием, словно провожают на смерть.

— Прощайте, товарищи!

— Ахтунг!— с надрывом кричит Жак.

Я понимаю, что это сказано специально для меня.

Спазмы перехватывают горло. С трудом сдерживаю готовые брызнуть слезы. Переступив порог камеры, я почувствовал себя совсем одиноким и беззащитным.

На знакомой площадке уже выстраивались сотни три заключенных. Возле трибуны в окружении свиты стоял «папаша» Боденшатц. Он, видно, рассказывал что-то очень веселое своим подхалимам, те громко хохотали.

Наконец процедура выстраивания, которая стоила жизни нескольким узникам, была закончена. «Папаша» Боденшатц, с трудом взобравшись на помост, молитвенно закатив глаза, как бы подчеркивая торжественность момента, растроганным писклявым голосом произнес:

— Дорогие мои детки! Наступила грустная минута. Как ни печально, но нам приходится расставаться. Вы у меня жили, как у Христа за пазухой. Надеюсь, вы еще не раз вспомните счастливые денечки, проведенные в этом райском уголке. Прощайте. Пишите письма.

Старый шут и ханжа, паясничая, вынул из кармана платок и приложил его к глазам, делая вид, что утирает слезы.

— Смейтесь, скоты, скоро придется плакать!— выкрикнул один из заключенных. Это была неразумная и отчаянная дерзость. И его счастье,

что гомерический хохот эсэсовцев помешал им услышать слова смельчака.

Началась сверка номеров с документами. Лагерные писари ходили вдоль шеренг со списками и стандартными сопроводительными карточками. Карточки были из твердой бумаги, имели квадратную форму, приблизительно двенадцать на двенадцать сантиметров. В них заносились основные демографические данные и перечень «преступлений», совершенных узником

перед немецким государством. На моей карточке с левого нижнего уголка до верхнего правого, по диагонали шла широкая красная полоса, на которой черной краской было напечатано: «Цурюк керен ист унервунш»*. Сверяя мой номер с карточкой, писарь и эсэсовец с удивлением и недоверием рассматривали меня: им не верилось, что такой истощенный и слабосильный подросток с забинтованными руками мог столько раз бежать из лагерей.

*Возвращение нежелательно (нем.).

Не успели еще закончить проверку, а в лагерь уже въезжали десять крытых грузовиков и десять мотоциклов с колясками, на которых были установлены пулеметы. Когда нас загоняли в кузов, я умышленно замешкался. И хотя это стоило мне двух ударов прикладом в спину, я своего добился — залез в машину одним из последних. Пустился на эту хитрость я для того, чтобы рассматривать окружающую местность, хотя бы в дороге увидеть белый свет.

— Хуже не будет,— сказал один из заключенных.

— Будет хуже,— возразил другой.

Впоследствии я часто вспоминал эти слова, даже тон, каким они были сказаны...

Девять автомашин быстро заполнили живыми узниками. В десятую, как дрова, складывали трупы, тщательно сверив номера с сопроводительными карточками. Гитлеровцы ни во что не ставили жизнь заключенного. Убить развлекения ради считалось делом обыкновенным и ненаказуемым. Между тем к мертвым всегда сохранялось особое внимание. Бухгалтерия смерти велась на высшем уровне.

Но вот колонна выехала за ворота, и, придерживаясь определенных интервалов, машины свернули на шоссе.

Возвращение нежелательно (нем.).

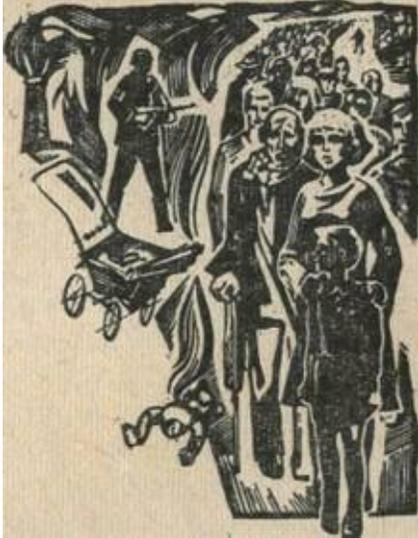
В последний раз мелькнула ржавая колючая проволока Мысловицкого лагеря смерти, сторожевые вышки, виселица, деревянные бараки и каменные блоки, а среди них и четвертый блок, где остались

мои друзья...

По обочинам дороги раскинулась волнистая равнина, которая так напоминала милую моему сердцу Украину. Я отдал бы остаток своей искалеченной жизни только за то, чтобы походить по этому приволью, а потом лечь навзничь лицом к солнцу в душистые травы и смотреть, смотреть в бездонную небесную синь.

ОСВЕНЦИМ

Глава 1



Дорогу преградил полосатый шлагбаум. Из камуфлированной сторожевой будки вышла группа военных в зеленых мундирах. Приглядевшись, я увидел на фуражках эмблему смерти: череп и скрещенные кости, положенные крестом, в правой петлице ворота — две змеящиеся молнии, слева — серебряные или золотые кубики*. Не оставалось сомнений — это были эсэсовцы, одетые, правда, не в свою обычную черную форму.

* Золотые кубики в войсках СС носили только офицеры.

Они тщательно проверили документы у начальника конвоя, осмотрели кузова автомашин, пересчитали узников и только после этого открыли путь.

Машины сбавили скорость. По обочинам кустилось мелколесье, преимущественно сосны и ели. Вдоль дороги и в глубине жиденького перелеска то и дело встречались словно повисшие в воздухе сторожевые вышки с часовыми. Что же это за лагерь и сколько в нем заключенных, если уже на подступах к нему создана такая мощная заградительная полоса? Еще больше я удивился, увидев на лесной поляне человек сто узников в полосатых робах. Окруженные автоматчиками, они разгружали военные машины, ворочая большие деревянные ящики, выкрашенные в зеленый Цвет. Неподалеку, в стороне, эсэсовцы распаковывали их и минировали

местность.

Мы миновали три заградительные зоны и столько же контрольно-пропускных пунктов, на каждом из которых колонну останавливали и проверяли. Но вот мелколесье сменили болота. По сторонам дороги, как муравьи в муравейнике, копошились тысячи людей в полосатых арестантских робах. По колено в трясине, не разгибаясь, они рыли канавы. Под жалким тряпьем ходуном ходили острые лопатки. Казалось, что в этом бешеном темпе работают не люди, а скелеты, одетые в робы.

Вдоль канав прохаживались откормленные надсмотрщики с увесистыми дубинками и желтыми повязками на рукавах.

В нескольких местах прямо у дороги лежали сложенные аккуратными штабелями трупы, повернутые лицами вверх. Мертвецкий оскал зубов. Широко открытые стеклянные глаза устремлены в небо. В них в предсмертной судороге словно застыл немой вопрос: «За что?» Мы все притихли, опустив головы.

Колонна остановилась у ворот лагеря. Наши охранники спрыгнули на мостовую. Раздались крики:

— Раус! Аллес вег! Лос! Лос!*

Стояла жгучая июльская жара. В дороге мы ее не ощущали, а тут в лицо повеяло раскаленным жаром. В нос ударил смешанный запах жженой резины, горелого мяса, шерсти. Было ощущение, что в воздухе не осталось кислорода — только гарь и удушающий смрад. Мы растерянно осматривались.

* Вон! Все вон! Быстро! Быстро! (нем.).

Нашим глазам открывалась огромная территория, в несколько рядов опоясанная колючей проволокой под током высокого напряжения. Я понял это по тому, как была натянута она на белые изоляторы. Они густо облепляли с двух сторон железобетонные столбы высотой не менее восьми метров. У самой земли столбы имели метровую толщину, а кверху суживались и концами загибались в сторону лагеря. На каждом висела мощная электрическая лампа с белым абажуром-отражателем. Столбы стояли на расстоянии друг от друга в шесть-восемь метров.

Это было лишь наружное кольцо проволочного ограждения. За ним на расстоянии двух метров проходило среднее, а еще через четыре метра — внутреннее, столь же мощное, как и два первых, и также под напряжением. По периметру проволочных ограждений через каждые сорок-пятьдесят метров возвышались каменные вышки, оснащенные прожекторами, крупнокалиберными пулеметами и телефонами.

Я увидел высоченную трубу, из которой вырывались рваные языки

пламени и валил густой черный дым. Его гигантский столб, казалось, подпирал небо, резко обрывавшееся за сплошной стеной каменных блоков. В пелене этого дыма катилось вниз неправдоподобное, огромное, запятнанное пеплом багровое солнце.

Я подумал, что это какой-то завод, хотя до сих пор ничего похожего не видел.

Нас подвели к воротам, перед которыми пестрел опущенный полосатый шлагбаум. На всю жизнь запомнилась мне эта брама — врата Освенцима, через которые прошло пять миллионов людей со всех концов Европы, а вышли немногие.

Ворота напоминали арку огромного промышленного предприятия. Вверху на стальной сетке крупными металлическими буквами выведен лозунг: «Труд делает свободным». Позже в лагере я услышал добавление к этой поговорке: «Арбайт махт фрай — крематориум драй», что означало: «Труд делает свободным через три крематория».

Слева от ворот находились контрольно-пропускной пункт и караульное помещение. Сразу за проходной стояли деревянные бараки и кирпичные постройки, в которых размещались служебные помещения и различные хозяйственные: кухни, мастерские, бани, дезинфекционные пункты, парикмахерские, склады и прочее.

В глубине территории лагеря виднелись ряды каменных двухэтажных строений, напоминающих военные казармы. Это блоки. Их было несколько десятков.

Ближе к проволочной ограде, в отдалении от всех построек, стоял вросший в землю крематорий. Внешне он напоминал пекарню, построенную в сугубо немецком стиле. Это было широкое приземистое строение из бурого кирпича с островерхой кровлей под красной черепицей. Над нею, как меч, вонзающийся в небо, торчала двадцатиметровая квадратная труба. Из нее и валил густой черный дым. Пушистая жирная сажа, опускаясь на землю, покрывала все предметы, траву и цветы.

Узники, словно гуси, повытягивали шеи и не сводили с крематория глаз.

— Что ж теперь будет? — в отчаянии спросил один.

— А будет то, что прямо через эту трубу вознесемся на небеси,— ответили ему.

Наконец шлагбаум подняли, распахнули ворота, и нас повели в лагерь. Каждый думал о своем, и все вместе — о неминуемой смерти.

Возле караульного помещения колонну снова остановили. Ждали начальство, которому надлежало решить, куда нас направить — в карантин

или... налево.

По обе стороны булыжной мостовой, делившей лагерь на две равные части, я увидел аккуратно подстриженные газоны, даже цветы. Затем мое внимание привлекли деревянные щиты. На них белой краской выведены были различные лозунги. Весь смысл их сводился к одному: неслыханному лицемерию и лжи. На одном щите я прочел сделанные столбиком надписи:

«На волю только один путь!

На пути к достижению воли стоят такие вехи:

чистота,

аккуратность,

опрятность,

пунктуальность,

послушание,

старательность,

честность,

правдивость,

трудолюбие,

преданность,

готовность к самопожертвованию,

любовь к отчизне!»

Щит с этим «кодексом порядочности» стоял недалеко от крематория, который куда убедительнее показывал «единственный путь к свободе».

Нам была видна площадь, находившаяся на левой половине лагеря. Туда привели сотню узников, и какой-то эсэсовец подобно «папаше» Боденшатцу устроил «спортивные состязания», громко комментируя их ход. Цель была проста: выяснить не кто быстрее бегают и прыгает, а кто скорее устает. Уставшие рассматривались как неисправимые лентяи, упрямы и саботажники, не признающие авторитета власти. После прыжков и «кросса на четвереньках» проводилась «спортивная ходьба» — ходьба на коленях. Тех, кто терял равновесие и падал, ассистенты эсэсовца нещадно избивали. После второго тура выбывших погнали в крематорий.

Мимо нас проезжает транспортный воз, запряженный десятью узниками. На нем, как дрова, лежат раздетые догола мертвецы. Правда, кое-кто из них еще шевелится, но никто не обращает на это внимания. Воз тархтит по булыжной мостовой. Руки покойников раскачиваются, будто подзывают к себе и предостерегают... Воз катится к крематорию.

Мимо нас по дороге прошла колонна узников, несколько тысяч невольников! Они брели, как на протезах, не реагируя на удары сопровождавших их эсэсовцев. Внешним видом они мало чем отличались

от тех мертвецов. За четырнадцать месяцев лютой неволи мне довелось увидеть немало таких колонн, но более печального шествия, чем это, никогда!

Наконец появился какой-то фюрер. Смачно зевая, принял рапорт начальника конвоя, порылся в папке, которая была у него в руках, нашел нужную бумажку, после чего окинул нас равнодушным взглядом и скомандовал:

— Сто гефтлингов — на нумерацию. После нумерации — в блок второй «А». Для остальных нет места. Отправьте их в Биркенау в распоряжение Молла. Выполняйте.

— Яволь! — козырнул начальник конвоя и поспешил отсчитать сто узников. Я попал в их число. Остальных повели назад, за ворота. Впоследствии я узнал, что означают слова «отправьте их в Биркенау...». Эсэсовец Молл был комендантом крематория и начальником зондеркоманд с постоянной резиденцией в Биркенау. Считался он богом смерти, самым жестоким заплечных дел мастером этого адского комбината.

Перед нумерацией — процедура дезинфекции, после чего нас, голых, гонят в барак. Здесь под наблюдением эсэсовских офицеров трудятся двадцать узников — специалистов по клеймению. Это была своеобразная мастерская. Посреди барака десять столов, у каждого — по два «художника». Возле главного, «диспетчерского», эсэсовец громко объявлял фамилию узника, сверял его личность с фото и взмахом руки показывал, куда подойти дальше.

Выкрикнули мою фамилию, и я с замиранием сердца подошел к указанному столу. Это был первый и последний случай, когда фашисты назвали нас поименно. За три года пребывания в тюрьмах и лагерях меня вызывали только по номеру. После клеймения я превращался в безликое существо, в раба, лишенного родины, свободы, имени — всего того, без чего немислимо человеческое существование.

Клеймение помогало вести точный учет живых и мертвых. Две переклички в день в самом лагере и несколько перекличек во время работы в арбайтсмандах гарантировали администрацию лагеря от любых неожиданностей. Следует заметить, что среди всех немецких концлагерей узников клеймили только в Освенциме.

Один из «художников» положил мою левую руку на стол, больно сдавил предплечье, натягивая кожу. Второй, орудуя иглами, смоченными в китайской туши, выкалывал выпавший мне порядковый номер 131161. Так я стал освенцимским гефтлингом номер хундерттайнунддрасигхундерттайнундзехциг.

Как только закончилась процедура клеймения, эсэсовец, сидевший за столом, проставил вытатуированный на моей руке номер в мою сопроводительную карточку и в только что заведенную освенцимскую. Потом он встал и без единого слова начал избивать меня. Я упал, ударился головой о пол и потерял сознание. Очнулся, когда двое узников волокли меня, голого, в строй таких же голых людей. Дикая боль сковывала все тело, сверлила затылок, кружилась голова, и к горлу подкатывала тошнота. Очевидно, я получил сотрясение мозга. Так меня, штрафника, встретил Освенцим.

На складе нам выдали ветхую полосатую форму, пропахшую плесенью и тленом, деревянные гольцшуги и шапку-мютце, представлявшую собой безобразно сшитый колпак из полосатой мешковины. Кладовщик, выдававший форму, предупредил: в лагере голову можно потерять, но шапку — ни в коем случае; за потерю шапки убивают на месте.

Мы уже были построены, когда из канцелярии прибежал запыхавшийся эсэсовец. Он зачитал мой номер. Я вышел из строя. Фашист сбил меня с ног и наградил несколькими ударами сапога. Оказывается, мне нужно было получить не обыкновенную форму, а форму штрафника, с нашитыми спереди и сзади красными кругами-мишенями. Ошибку тут же исправили.

Нам выдали белые ленточки с обозначенными на них черной тушью номерами и приказали тут же пришить их на куртку и штаны. Своими покалеченными пальцами я не мог выполнить эту простую операцию. Мне помогли товарищи, и я успел вовремя стать в строй. Нас погнали в карантинный блок под номером 2-А. Отныне мы стали узниками Освенцима, где люди исчезали без следа.

Я же стал не просто узником, а живой мишенью. Для каждого из нас путь в крематорий был очень близок, а для меня он сократился во сто крат. Моя куртка с нашитыми мишенями штрафника была вся продырявлена пулями. Не знаю, сколько человек надевали ее до меня и где их пепел...

Наступил вечер. И вдруг вспыхнули тысячи ярких, слепящих огней. Это включили прожекторы на сторожевых вышках и всю полосу освещения, что вместе с проволочными ограждениями опоясывала лагерь. Я увидел совсем близко возле себя густую стену колючей проволоки.

Глава 2

Зловещее слово «Аушвитц» впервые я услышал в краковской тюрьме от Казимира. Он рассказал мне, что Аушвитц — это название тщательно засекреченного лагеря вблизи польского города Освенцим, лагеря, в котором бесследно исчезают сотни тысяч узников. «За этим непонятным

словом,— шепотом рассказывал мне Казимир,— кроется какая-то страшная тайна гестапо. Ее еще никому не удалось разгадать. Аушвитц свидетелей не оставляет. Даже эсэсовцы в разговорах между собой произносят это слово с опаской».

Когда весной 1940 года заложили «первый камень» будущего Освенцима, рейхсфюрер СС Гиммлер долго раздумывал: как назвать новый лагерь, который в недалеком будущем должен был превзойти все существующие и запроектированные лагеря. Следует напомнить, что до захвата фашистами власти в Германии было всего три концлагеря с небольшим количеством заключенных; весной 1940 года количество их возросло до нескольких сот, а накануне краха «третьего рейха» насчитывалось около двух тысяч лагерей. В этих двух тысячах концлагерей фашистской Германии гитлеровцы уничтожили двенадцать миллионов человек — граждан тридцати семи стран. Название «Аушвитц» придумал сам Гиммлер. Я прочитал об этом позднее.

В те времена на всех немецких станках и рубильниках были две основные кнопки (или стрелки): красная с надписью «айн» (сокращенно от немецкого «айншальтен» — «включать») и синяя с надписью «аус» (сокращенно от немецкого «аусшальтен» — «выключать»). Слово «аусгешальтет» — «выключенный» — может означать еще и «изолированный», а в более широком смысле — «изолированный от всех». И наконец «ausschliessen» — «выключать», «изолировать от общества».

Посмотрев на карту Польши, Гиммлер обратил внимание на то, что названия многих населенных пунктов в районе Освенцима заканчиваются на «витц» — Катовиц, Свентаховиц, Мысловиц, Мановиц, Глейвиц... Тогда он объединил «аус» и «витц». Буква «ш» вошла как соединяющая, для удобства произношения. Так родилось название «Аушвитц», которое до этого не фигурировало ни в одном языке.

Между собой нацисты называли освенцимский лагерь «фернихтунгслагер» — что означало «лагерь уничтожения», а в документах фигурировало кодовое название «ФЛ Аушвитц».

Тайну Аушвитца разгадали в 1944 году. Уже тогда мир узнал о существовании этой чудовищной фабрики смерти, узнал благодаря героическим усилиям освенцимских подпольщиков-антифашистов, участников движения Освобождения. Чешская патриотка архитектор Вера Фолтинова, рискуя жизнью, вынесла из строительной конторы центрального Освенцима рабочие чертежи лагерей и крематориев вместе с картой расположения. В этом ей помогали уроженец Праги Ота Краус, освенцимский номер 73046, и Эрих Кулка, родом из Всетина,

освенцимский номер 73043*. Документы попали в руки польских и чешских партизан. Позднее их передали командованию Красной Армии. Эти документы демонстрировали на Нюрнбергском процессе.

* После войны Ота Краус и Эрих Кулка написали документальную книгу об Освенциме под названием «Фабрика смерти». Кроме личных наблюдений, авторы опирались на рассказы очевидцев, материалы судебных процессов и архивов.

27 января 1945 года внезапным ударом части Советской Армии освободили город Освенцим, захватили лагерь, освободив 2819 чудом уцелевших узников. И это из пяти миллионов человек, которых в течение пяти лет перемолол Освенцим. Правда, перед этим гитлеровцы вывезли несколько тысяч узников в другие лагеря, где их почти полностью уничтожили.

Что же представлял собой освенцимский лагерь?

Это был крупнейший комбинат, куда входило двадцать девять концентрационных лагерей особого режима.

Вначале идея создания такого лагеря зародилась в управлении главнокомандующего войск СС и полицией, которое тогда находилось в Бреслау. Возглавлял его группенфюрер СС Эрих фон дем Бах-Зелевский. Его заместителем числился оберфюрер СС, инспектор гестапо Виганд. Последний предлагал создать гигантский концентрационный лагерь особого режима с целью «проведения фундаментальной санитарной чистки генерал-губернаторства и особенно Силезии».

Идея Баха-Зелевского и Виганда понравилась Гиммлеру, и он решил сделать ее глобальной: уничтожать не только «опасные и нежелательные элементы», но и целые народы, отнесенные Гитлером к «низшей расе».

Уже 14 июня 1940 года из Польши привезли 728 человек. Это были первые политические узники Освенцима. Перед ними выступил комендант лагеря Гесс. В своей речи он, между прочим, заявил: «Вы прибыли в лагерь особого режима. Отсюда только один выход на свободу — через трубу крематория». Впоследствии все свои «приветственные» речи, которые состояли из нескольких циничных выражений, он неизменно заканчивал вышеприведенной фразой.

В том же 1940 году построили первый крематорий. И в Освенцим стали прибывать набитые людьми эшелоны со всех концов Европы. Еще в 1940 году гитлеровцы выселили всех жителей из окрестных сел Бабице, Буды, Райско, Бжезинка, Брошковице, Плявы, Гермезе и других. На их месте вырастали филиалы лагеря. К концу 1944 года их уже насчитывалось двадцать девять, причем каждый из филиалов, в свою очередь, обрастал

уже более мелкими филиалами; их число доходило иногда до нескольких десятков. Так, например, Освенцим-III, или, как его называли, Буна, насчитывал 39 собственных филиалов, разбросанных по всей Силезии. Освенцим стал гигантской раковой опухолью, от которой во все стороны ответвлялись метастазы.

Ко времени моего прибытия туда это был уже огромный концлагерь, состоявший из трех отделений.

Освенцим-I — центральный лагерь концерна. В нем помещался эсэсовский гарнизон, состоявший из двадцати пяти тысяч человек; там находились главная канцелярия, центр гестапо, заводы и фабрики, обслуживавшие немецкую армию. В нем постоянно числилось от двадцати пяти до пятидесяти тысяч узников.

Места погибших тотчас же заполнялись новоприбывшими. В Освенциме-I круглосуточно работал крематорий.

Освенцим-II возведен был в двух километрах от центрального лагеря, на месте польского села Бжезинка. Его немецкое название — Биркенау. Основной задачей этого лагеря было массовое истребление узников в газовых камерах с последующим сжиганием в крематориях. Биркенау подчинялись меньшие, так называемые «трудовые» лагеря: сельскохозяйственный — Буда, птицеводческий — Гермезе, овощеводческий — Райско — и химические лаборатории. В Освенциме-II постоянно содержались от ста двадцати пяти до двухсот пятидесяти тысяч узников. Здесь круглосуточно работали четыре крематория, в которых было тридцать шесть печей для сжигания трупов и восемь газовых камер. В двух самых больших крематориях газовые камеры находились под землей. Кроме восьми газовых камер, за пределами лагеря имелись еще два бункера, приспособленные под газовые камеры.

Освенцим-II (Биркенау) сооружали по последнему слову техники. Здесь находился большой, отлично оборудованный городок для администрации и эсэсовского гарнизона. Гордостью администрации была громадная псарня, в которой обучались несколько сот сторожевых собак. Завидя человека в полосатой форме, волкодавы приходили в бешенство.

Освенцим-III (Буна) был концлагерем, узники которого работали на строительстве промышленных предприятий по производству синтетического каучука и бензина в Мановицах. Ему принадлежали также более мелкие лагеря при угольных шахтах в Фюрстенберге, Кенигсхютте, Явыщовицах, Голешове. Осенью 1944 года в Глывицах, Гинденбурге, Блехгаммере, Гейдебреце и в других местностях были созданы новые лагеря — филиалы Освенцима-III.

Крематории были приземистыми строениями, сооруженными в типично немецком стиле — с высокой кровлей и зарешеченными окнами. Двор каждого окружала ограда из колючей проволоки под током. На газонах росли цветы, дорожки аккуратно были посыпаны песком. Газовые камеры, расположенные под землей, выступали над поверхностью всего на полметра. Сверху их маскировал зеленый газон. Вокруг крематориев навалены были штабеля дров.

Одна из двух подземных газовых камер в каждом крематории служила раздевалкой, а в случае надобности и мертвецкой. Во второй — узников отравляли газом. Раздевалки были аккуратно выбелены. В центре, на расстоянии четырех метров, стояли бетонные колонны. Вдоль стен и под колоннами находились скамьи, над ними — вешалки с номерами. Надписи на нескольких языках гласили: «Соблюдайте тишину», «Соблюдайте чистоту и порядок».

Над стрелками, указывающими на вход в газовую душегубку, стояло: «Дизенфекция», «Душевая».

На первый взгляд газовая камера действительно напоминала душевую. Но из душевых воронок, прикрепленных под потолком, никогда не текла вода. Зато между бетонными колоннами проходили две металлические трубы со множеством небольших отверстий. Через потолок и крышу они выводились во дворе на поверхность земли и там заканчивались герметически закрывающимися клапанами. Сквозь эти клапаны в трубы засыпали циклон — кристаллическое ядовитое вещество.

В каждой газовой камере можно было отравить одновременно до двух тысяч человек. Газовые камеры снабжены были лифтами, которые поднимали трупы к печам крематориев.

На первом этаже каждого крематория помещалась прозекторская, где эсэсовские врачи производили разнообразнейшие опыты над живыми людьми. Рядом с прозекторской находился зал для казней. В нем гладкий бетонный пол чуть заметно наклонялся к центру. Там проходила канава для стока крови казненных.

В крематориях были машинные отделения, электромоторы, вентиляторы, печь для сжигания тряпья, умывальная, комната эсэсовцев, помещение для переплавки золотых зубов.

Если вычесть время, необходимое для уборки и дезинфекции помещений, на чистку топок, техосмотр и текущий ремонт, средняя пропускная способность всех пяти освенцимских крематориев практически равнялась двадцати тысячам узников за сутки!

Когда крематории не успевали перерабатывать поступившее «сырье»,

фашисты разводили огромные костры из дров и нефти, на которых сразу сжигались целые эшелоны людей. Днем в ясную погоду столбы дыма виднелись за полтора десятка километров.

Гигантские масштабы освенцимского комбината смерти и его «производственная мощность» говорили о том, что в случае победы фашистской Германии в освенцимских крематориях сгорели бы целые народы. Освенцим был детищем нацистской верхушки. Гиммлер любил этот лагерь и не раз говорил, что мечтает создать на месте Освенцима величайший город рабов. В нем постоянно должно будет находиться 3—4 миллиона узников, продолжительность жизни которых не превышала бы шести месяцев. Шеф гестапо мечтал присвоить городу название Гиммлерштадт.

Десятки тысяч освенцимских узников работали на предприятиях промышленных компаний и концернов «И. Г. Фарбениндустри», «Крупп», «Альгемейне азлектритетс гезельпафт», «Симменс Берле» и других. Немецкие концерны получали от эксплуатации дешевого рабского труда узников громадную прибыль. Концерны, в свою очередь, содержали эсэсовские гарнизоны и выплачивали администрации лагеря от четырех до шести марок в день за каждого работающего узника, который обходился администрации всего в тридцать пфеннигов.

На Варшавском судебном процессе над главным комендантом освенцимских лагерей Рудольфом Гессом сам обвиняемый признался, что освенцимский концлагерь по своему географическому положению, климатическим условиям и сети железных дорог был весьма удобен для уничтожения прежде всего советских военнопленных и еврейского населения, а вслед за тем и славянских народов.*

* Исповедь Гесса легла в основу романа французского писателя Робера Мерля «Смерть — мое ремесло»,

Глава 3

В Освенцим со всех концов Европы неудержимым потоком прибывали эшелоны с узниками, главным образом с евреями. В основной массе это были люди неимущие, но попадались среди них торговцы, банкиры и крупные бизнесмены. Выезжая на «новые земли», они забирали с собой золото, драгоценности, не подозревая, куда их в действительности везут. В Освенциме и обманутых богачей, и нищих из гетто сжигали в крематориях или на кострищах, а их вещи тщательно осматривали на предмет обнаружения ценностей. Этим занималась специальная команда, в которой под наблюдением отборных эсэсовских офицеров и капо из немцев работали одни только евреи. Они выявляли, сортировали и отправляли на

склады вещи и ценности уничтоженных.

Когда количество прибывающих эшелонов резко возросло, соответственно выросла и «трофейная» команда. Эта команда носила название «Канада», придуманное поляками по ассоциации с эмиграцией безземельных и польских крестьян в Канаду, где они нашли «землю обетованную». Название сразу укоренилось и навсегда осталось за спецкомандой узников. Даже в официальных документах администрации лагеря ее называли «Канадой».

Но понятие «Канада» впоследствии расширилось и означало уже не только спецкоманду узников, а и ее эсэсовское начальство, и набитые богатством склады. Узники, работавшие в спецкоманде «Канада», получали питание из эсэсовской кухни, щеголяли в шелковом белье, спали на мехах и пуховиках. У «канадцев» было все что угодно, кроме одного: свободы.

В Освенциме были две «Канады»: одна в центральном лагере, а вторая в его филиале — Освенциме-II (Биркенау). Первая помещалась в специальной секции, огороженной колючей проволокой. Там были один каменный и пять деревянных блоков и камера для дезинфекции одежды. Все ценные вещи складывались в деревянные бараки. Подчас вещей собиралось столько, что их сваливали в кучу прямо на землю, под открытым небом.

Я уже писал, что гитлеровцы обожали всяческую символику, таинственные шифры, коды и всякое такое прочее. Все свои преступные планы, кампании, акции политического, экономического и военного характера они зашифровывали с помощью разнообразнейших кодов и символических названий, значение которых было известно лишь узкому кругу лиц. План ограбления евреев они строго засекретили под кодовым названием «Кампания Рейнгардт»*.

* Этот план назван именем Рейнгардта Гейдриха, шефа гестапо и протектора Чехии и Моравии, уничтоженного 6 июня 1942 года в Праге чешскими патриотами.

Показания главного коменданта освенцимских лагерей Рудольфа Гесса свидетельствуют:

«В результате этой кампании удалось захватить ценности в общей сложности на сотни миллионов. Отбирались сказочные богатства: баснословно дорого стоящие драгоценные камни, украшенные бриллиантами часы, кольца, серьги, колье. В лагерь привозилась валюта всех стран. Тысячедолларовые банкноты не были в диковину. Деньги и ценные вещи вместе с эшелонами продовольствия отправляли в Берлин. Там валюта переходила в распоряжение специального отделения банка.

Ценные вещи продавались в Швейцарию. Узники из команды «Канада» работали день и ночь. Часто «канадцы» отправляли в Германию до двадцати вагонов вещей в сутки.

В 1942 году в Биркенау начали строительство новых складов в западной части сектора В-1). Как только закончилось строительство тридцати складов, они сразу же заполнились вещами. Но через некоторое время возле складов снова громоздились целые горы неразобранных вещей. Помочь создававшемуся положению могло лишь одно: задержка новых эшелонов в дороге.

В поисках драгоценностей узникам из команды «Канада» вменялось в обязанности тщательно обследовать всю одежду и обувь. Иногда драгоценные камни обнаруживали в пломбированных зубах. Тысячи пар часов посылались в Заксенхаузен и ремонтировались там узниками-специалистами. Большею частью эти часы затем отправлялись на фронт, где их раздавали солдатам. Золотые зубы убитых переплавлялись, и золото ежемесячно посылали в Центральный институт охраны здоровья».

Гитлеровцы не брезговали ничем. Они старались использовать все, что принадлежало живым и мертвым, вплоть до человеческого пепла и размолотых костей, которые шли на удобрение полей. С умерщвленных женщин они срезали волосы. Согласно показаниям свидетелей в Германию было отправлено 60 тысяч килограммов этого «сырья». После освобождения лагеря на складах было обнаружено 700 килограммов женских волос. Они систематически посылались некой баварской фирме, изготавливавшей различные сорта войлока, идущего на матрацы, седла, попоны, чуни, а также для военной промышленности. Волосы использовались и на строительстве подводных лодок для обшивки, звуко- и теплоизоляции.

Основную массу награбленных ценностей нацисты использовали для ведения войны. Через Швейцарию и нейтральные страны за награбленную валюту фашистская Германия закупала стратегические материалы и сырье для военной промышленности.

Немало награбленных ценностей прилипало и к рукам фашистских главарей всех ступеней и рангов, многие из которых и поныне живут в полное удовольствие в Западной Германии. Только теперь они мечтают о новых, уже атомных войнах.

За работой «канадцев»-узников зорко следили «канадцы»-эсэсовцы. А так как в руки последних попадали изысканнейшие коньяки и вина Европы, то они, как правило, ходили всегда навеселе, что в значительной степени развязывало руки заключенным, занятым сортировкой ценностей. Нередко

случалось, что высшее начальство перетряхивало и самих эсэсовцев, к рукам которых слишком уж много прилипало.

Заклученных из команды «Канада» обыскивали особенно тщательно, но они все же изыскивали хитроумные способы и проносили в лагерь ценные вещи и продукты. «Канада» стала черным рынком, на котором можно было достать все. Подпольщики раздобыли у «канадцев» фотоаппараты с пленкой и произвели серию снимков освенцимской действительности. Эти снимки через партизан ухитрились передать за границу; в конце войны они обошли мировую прессу.

Среди «канадцев» были различные люди. Одни искренне хотели помочь узникам, искали связи с подпольем, стремились участвовать в активной борьбе с фашизмом; другие думали только о себе, о своей выгоде, о спасении своей жизни.

Для узника ни золото, ни драгоценные камни в лагере не имели никакой цены. Для эсэсовца же — как раз наоборот: жизнь узника не стоила и ломаной копейки, а золото и бриллианты ценились дорого. Одни любой ценой стремились спасти свою жизнь, другие — нажиться. Это и породило меж узниками-проминентами и эсэсовцами так называемые «деловые отношения».

Выжить в условиях лагеря мог только тот, кто что-нибудь «организовывал», то есть занимался гешефтмахерством. «Организатор» всегда отличался от остальных своим внешним видом, его легко выслеживали капо и эсэсовцы и вымогали взятки. Если он на это не шел, его выдавали гестапо. В лагере широко процветала система взяток, основанная на кулачном праве. Как правило, у каждого капо было несколько «организаторов», которые поставляли ему все, что он требовал. За это капо не гоняли их на работу, всячески во всем покрывали, и те могли жить относительно спокойно. Относительно — потому что в любой момент «организатор» мог попасться, и дело тогда кончалось расстрелом.

Эсэсовцы регулярно производили в блоках обыски и беспощадно расправлялись с «организаторами», которые засыпались, но вместе с тем поддерживали самую тесную связь с умевшими избегать провала. Если нужному им «организатору» угрожал донос в гестапо, они нередко спасали его. Коррупция зашла настолько далеко, что донос можно было выкупить в канцелярии самого коменданта. Но в конце концов «организатора» ликвидировали, избавляясь таким образом от свидетеля, который знал слишком много.

Хочу еще раз подчеркнуть, что к этой коммерции причастны были исключительно узники-проминенты, занимавшие в лагере

привилегированное положение и свободно владевшие немецким языком.

Глава 4

Блок 2-А, куда я попал, эсэсовское начальство считало показательным карантинным блоком освенцимского лагеря. «Образцовый» порядок в нем поддерживался тремя китами: это были блокфюрер Ауфмайер, блокельтестер*, немец Пауль, по прозвищу Бандит, и старший писарь блока, фольксдойче Вацек, по кличке Плюгавый. Они составляли железный треугольник, который подпирала целая свора холуев — капо, штубовых, писарей и прочих проминентов. Эти подонки из шкуры лезли вон, чтобы угодить начальству.

*Староста блока. Назначался из числа уголовников, чаще всего из немцев.

Среди эсэсовцев Освенцима блокфюрер Ауфмайер был довольно колоритной фигурой. Высокий, статный, подчеркнута аккуратный, он не походил на всех других эсэсовцев — грубых, жестоких палачей. Он действовал внешне неприметно, чем вводил в заблуждение новичков. В его осанке, в манере держаться на людях было много артистизма. Правильные черты лица, выразительные глаза и обаятельная улыбка придавали ему сходство с голливудским киноартистом. С подчиненными Ауфмайер держал себя подчеркнута корректно и вежливо. Он был любимцем Гесса и пользовался большим авторитетом в Освенциме. Ауфмайер считался эталоном показательного чистокровного арийца-нациста. Славился он и незаурядными организаторскими способностями. И при всем том был первостатейным палачом.

Ауфмайер всегда благоухал дорогими духами и ароматными сигаретами, которыми любил угощать эсэсовцев, а иногда даже узников из числа проминентов. Он не пропускал случая похвалить подчиненного, отпустить ему комплимент, польстить. Ауфмайер не признавал жестокосердных поступков в своем присутствии. «Не терплю жестокости, — не раз говорил он перед строем узников. — Меня глубоко потрясает зрелище людских страданий». Узники-новички диву давались, старожилы только головами качали и советовали не торопиться с выводами.

Ауфмайер ловко играл роль заботливого блокфюрера, который желает гефтлингам одного лишь добра. Тем временем целая шайка подручных по его же приказу истязала и убивала узников. Но делалось это без излишней огласки и шума. Во время посещения блока Ауфмайер отбирал одного или нескольких узников, которые в чем-либо провинились или просто чем-то не угодили ему. В таких случаях он вызывал блокового старосту Пауля и начинал ему вычитывать: «Пауль, ты человек или бревно? Ну как тебе не

совестно? души в тебе, что ли, нет? Или ты окончательно очерствел? Неужели ты не видишь, что у этого гефтлинга грязная шея? Он так ослабел, бедняга, что не может вымыть шею, а ты не хочешь ему помочь. У тебя же стоит бочка воды в уборной! Забыл, что ли, ведь чистота — залог здоровья? Ты, Пауль, совсем залодырничал, обегемотился! Нельзя же быть таким черствым и безразличным к живому человеку!»

Пауль смущенно просил прощения и обещал помочь «бедняге», а Вацек тем временем записывал его номер. «Беднягу» окунали и заталкивали головой вниз в бочку с водой и попросту топили. Потом подтаскивали к куче лежавших там трупов, а иной раз просто оставляли до вечера в бочке.

Блокфюрер приходил в блок, принимал рапорт старосты о количестве живых и тех, что умерли «естественной» смертью. Затем лично пересчитывал узников, как пересчитывают скот, потом шел в туалетную комнату, там пересчитывал мертвых и только после этого докладывал рапортфюреру.

После утреннего апелля трупы на тележке отвозили в крематорий. Оттуда тележка отправлялась в лагерную кухню за суточным пайком хлеба и кофе. Хлеб сгружали прямо на тележку, где только что лежали трупы. У каждого блока была своя тележка. На ней красивым готическим шрифтом белой краской выведены были слова: «Труд делает свободным» и «Чистота — залог здоровья».

Туалетная комната блока 2-А представляла собой универсальное помещение. Она служила камерой пыток и казней, была и мертвецкой. В ней же умывались и справляли нужду две тысячи узников. Там было всего шесть унитазов, шесть писуаров и шесть раковин с водопроводными кранами. Нетрудно представить, какое столпотворение происходило здесь после утреннего подъема. Туалетная служила еще и посудомойкой. Тут после раздачи баланды мыли бачки и миски. В этой же комнате каждую субботу лагерные фризеры, или, как мы их называли «Фигаро», стригли и брили узников тупейшими бритвами, не прибегая к помощи мыла и помазков. После стрижки машинкой от лба до затылка выбривали так называемую лагерштрассе — прямую полосу шириной в три сантиметра.

В одном углу туалетной стояла бочка с водой, а в другом — ящик с хлорной известью для «санитарных нужд». В бочке блокочный Пауль топил узников, а на ящике с хлоркой истязал их резиновой дубинкой или же заставлял глотать известь. В зависимости от «вины» Пауль назначал еще одну кару: подвешивание за ноги или за руки к водопроводной трубе, которая проходила под потолком.

Стены туалетной комнаты были красочно расписаны нацистскими лозунгами, лицемерными, лживыми и бессмысленными. Ауфмайер гордился ими. Он считал, что даже в лагере смерти необходимо постоянно забивать головы обреченных фашистской пропагандой, формировать в нужном фашистам духе их сознание и психику. Таким образом, туалетная, по его замыслу, выполняла еще и роль культурно-просветительного заведения. Трудно сказать, чего было больше в этой затее — глупости или цинизма. Ауфмайер навещался в блок по нескольку раз в день, и ни один его визит не обходился без того, чтобы он не произносил стереотипной фразы: «Дорогой Пауль, ты очень загружен, но если у тебя найдется свободная минута, возьми на собеседование вон того гефтлинга. Не забывай, что самый последний гефтлинг — это прежде всего человек, который требует к себе внимания». Почти всегда «собеседование» кончалось смертью истязуемых. За двадцать пять суток моего пребывания в блоке 2-А не помню дня, чтобы в туалетной не лежало десять-пятнадцать трупов.

Прошлое Ауфмайера достаточно характерно. Еще до прихода Гитлера к власти Ауфмайер за преступления, воровство и убийство несколько раз сидел в тюрьме, а в первые годы господства фашизма в Германии был заключен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Там он сделал карьеру от старосты блока до старосты лагеря, немало приложив сил к тому, чтобы Заксенхаузен стал «образцовым». Нацисты амнистировали убийцу и зачислили в ряды СС. Биография Ауфмайера типична для многих офицеров СС, значительная часть которых выходила из уголовных преступников.

Ауфмайер быстро находил общий язык с бандитами, насильниками, за должность и харчи из эсэсовской кухни готовыми идти на любые преступления. Окружив себя шайкой подонков, он постоянно убеждал их, что они полноценные арийцы, а их освобождение зависит от того, как быстро они усвоят нацистские идеи, как зарекомендуют себя в лагере. И те старались вовсю. Убийцы, воры, контрабандисты, аферисты, насильники, гомосексуалисты, бандиты всех мастей свили себе гнездо в блоке 2-А под крылом своего идола. Это был клубок пауков, готовых сожрать друг друга.

Ауфмайер умело разжигал национальную вражду среди узников. Немецким уголовникам он говорил следующее: «Русский при встрече с поляком должен стремиться уничтожить поляка, а поляк должен стремиться убить русского; чех должен добить и русского, и поляка, а если перед этим они пристукнут еще и еврея — это будет как раз то, что нам нужно».

Однажды Ауфмайер выбрал троих фольксдойче и на одном из аппелей

заявил перед строем, что за честную работу и образцовое поведение они признаны привилегированными узниками. Это означало, что они будут получать пищу из эсэсовской кухни, что им уже не грозят издевательства, а тем более сжигание в крематории. Все трое стали «посыльными» блокфюрера, «организаторами». Под видом электриков или сантехников они проникали в блок «канадцев» и выносили оттуда ценности. Как-то один из унтер-офицеров охраны задержал их, обыскал и, найдя золото, спросил, кому они несут. Неопытные еще «организаторы» признались. «А не много ли для одного человека?»— спросил эсэсовец, явно намекая, что они должны поделиться и с ним. Но те оказались туповатыми и намек не поняли. Тогда эсэсовец повел их прямо в комендатуру. Делом этим занялся адъютант коменданта, которого не без основания считали одним из самых ловких и предприимчивых дельцов. Засыпавшихся «организаторов» он приказал повесить «за воровство и поклеп на войска СС», а Ауфмайеру сделать внушение. За крупную взятку блокфюреру удалось замять дело.

Ауфмайер продолжал процветать и после упомянутого скандала. 20 апреля 1943 года, в день рождения Гитлера, его даже наградили Железным крестом первой степени. Подобной чести удостаивались лишь те, кто особенно отличался в борьбе с «врагами национал-социализма и немецкого государства».

Глава 5

Если Ауфмайер в нашем карантинном блоке 2-А был всевластным богом, то староста Пауль Бандит — полубогом. Я несказанно удивился, когда впервые увидел это гориллообразное существо.

После санобработки нас привели к блоку. И тут в одних трусах появился он.

Эсэсовцы окружили полуголового здоровилу, наперебой расспрашивая о здоровье, самочувствии, фамильярно похлопывали его по волосатым плечам. А он с достоинством пожимал им руки, сдержанно ухмылялся.

— Принимай, Пауль, пополнение. Привели сто «мусульман», надеюсь, ты быстро поставишь их на ноги — сказал ему начальник конвоя и заржал от собственного остроумия.

Из дальнейшего разговора я понял, что волосатый здоровила занимал должность блокельтестера — следовательно, и сам был заключенным. Он пересчитал нас, расписался за полученное пополнение и тупо уставился на колонну. Мы со страхом смотрели на этого полуголового, заплывшего жиром пучеглазого кабана. А он, собравшись с мыслями, произнес такую речь:

— Вы прибыли в показательный карантинный блок. Порядок у меня железный. Кто будет вести себя смиренно и послушно, с тем ничего плохого

не случится. Он может рассчитывать на месяц жизни в моем блоке. Но ежели кто-либо посмеет хорохориться и петушиться, будет иметь дело со мной,— он показал внушительный кулак.— Имейте в виду, я человек нервный и быстро раздражаюсь. А еще запомните, что здесь я ваш главный попечитель, воспитатель и судья. Могу и к праотцам послать — у меня это запросто. Понятно?

Плюгавый Вацек-писарь, о чем свидетельствовала повязка с надписью «шрайбер», дословно перевел блокового сперва на польский, а затем и на русский языки.

Пауль Бандит был немецким уголовным преступником.

Лагерная действительность была страшна сама по себе. Но еще более зловещей делали ее подонки и негодяи типа Пауля. Профессиональный убийца и палач-любитель от постоянного употребления алкоголя и непрерывной брани совершенно охрип, не говорил, а рычал. Сильный, как медведь, он одной оплеухой сбивал с ног любого заключенного, а ударом кулака по голове убивал. Но больше всего он любил душить свою жертву за горло, не торопясь, с наслаждением.

Нередко на аппелях рассвирепевший Бандит тараном врезался в колонну узников и калечил своими ручищами десятки людей. Однако вместе с тем он считал себя человеком творческим.

Как-то в пылу вдохновения Пауль сконструировал портативную разборную виселицу из дюралевых трубок. Изобретение понравилось гестапо. Оно упрощало и удешевляло процедуру казни. Преимущества новой виселицы были очевидны, и некоторое время ее автор служил разъездным палачом, гастролировавшим, словно циркач, со своим реквизитом по всей Германии.

Среди ээсовцев Пауль считался своим человеком. Они сочувствовали ему: из-за татуировки Бандиту была закрыта дорога в войска СС. А история этой татуировки была известна всем.

В начале тридцатых годов один обанкротившийся и вконец спившийся художник попал в тюрьму, а оттуда — в лагерь поблизости Гамбурга. Там он занялся татуировкой заключенных и весьма преуспел в этом деле.

Начальник лагеря, решив сделать на нем бизнес, разрешил художнику открыть «мастерскую», обеспечил его нужным материалом и клиентурой, а львиную долю прибыли забирал себе. В «мастерскую» валом валили моряки и портовые грузчики.

В этом же лагере за убийство отбывал наказание и Пауль. Связавшись с шайкой картежников и воров, он однажды проиграл свою жизнь, но вымолил помилование, согласившись стать вечным рабом картежников.

Шайка, дабы он никогда не забывал о рабском положении, решила разукрасить все его тело порнографической татуировкой. Художник работал с упоением в течение нескольких недель, проверяя на коже Бандита свои способности и неудержимую фантазию. Так Пауль стал ходячей выставкой порнографического искусства.

Когда Пауля в Освенциме послали на клеймение, эсэсовцы растерялись, не найдя места для номера. Ограничились тем, что на куртку нашили лоскут с цифрой 21. Пауль гордился тем, что он ветеран Освенцима, прибывший сюда с первой партией узников еще в 1940 году.

Долгое время Бандит был объектом паломничества эсэсовцев, которые желали поглазеть на уникальную татуировку. Поскольку поток «экскурсантов» не уменьшался, Паулю разрешили летом в блоке и поблизости ходить в одних трусах. Он одевался лишь к вечернему и утреннему апеллям, чтобы по форме отдать рапорт Ауфмайеру.

Даже в таком аду, как Освенцим, Пауль жил благоденствуя. У него было не менее десятка пиплей*. Они делали ему массаж, маникюр, педикюр и завивали волосы. Специальными опахалами из страусовых перьев пипли отгоняли от Пауля мух, когда он изволил отдохнуть, и неумоимо обведали его в зной. Он никогда не знал ограничения ни в изысканной пище, ни в отборных коньяках и винах. Иногда он, расчувствовавшись и блаженно закатывая глаза, слушал музыку или же сам играл на подаренной ему Ауфмайером губной гармошке.

* Так в лагерях называли холуев, которые как лакеи прислуживали блоковым и капо.

Блокфюрер ценил Бандита. Не раз выпивал с ним прямо в блоке. Они на пару ходили в публичный дом. Заведение помещалось на втором этаже двадцать четвертого блока, расположенного неподалеку от центральных ворот Аусшвитца, рядом с административными постройками.

Освенцимский публичный дом был открыт официально по приказу главного коменданта Рудольфа Гесса в первый день рождества 1943 года. Празднество началось роскошным обедом, на котором с речью выступил Гесс. Поздравив подчиненных со святым рождеством, он пообещал им вечное господство на завоеванных землях, призывая беспощадно расправляться с врагами национал-социализма, быть верными фюреру и его идеям. После обеда Гесс собственноручно роздал эсэсовцам талоны на посещение публичного дома.

Привилегией посещать это заведение, кроме эсэсовцев, пользовались и «передовики производства», «образцовые гефтлинги», «активисты» из числа немцев. Большей частью это были капо, старосты, штубовые и

прочие прихвостни из «зеленых».

Комендант лагеря выдавал блокфюрерам специальные талоны для распространения их среди вышеупомянутых «передовиков», которых эсэсовский унтер-офицер каждый вечер собирал на центральном апельплаце и организованно вел развлекаться. «Визитеров» из Биркенау привозили на машине.

Так начальство разжигало в «зеленых» низменные инстинкты, поощряя и подзадоривая их заслужить право на посещение дома терпимости. А заслужить это право можно было одним: холуйством, жестоким отношением к подчиненным. За один такой талон «передовик» готов был растерзать десятки узников, лишь бы угодить эсэсовцам.

Вначале в публичном доме содержались пятьдесят чистокровных ариек, но вскоре заведение расширили, и их стало уже несколько сотен. Меж проституток, свозимых в Освенцим со всей Германии, происходила настоящая борьба за право работать по профессии. По сравнению с другими узницами в заведении они жили роскошно: их снабжали отличной одеждой, духами, ели и пили они досыта. Их даже выгуливали в лесу, где можно было вволю дышать свежим воздухом, загорать, купаться.

Все мы, как на великое чудо, смотрели на хорошеньких, красиво одетых молодых женщин. Прямо не верилось, что в этом пекле могли существовать такие.

Заведением управляла старая ведьма по прозвищу Пуфмуттер. Морщинистым, словно печеное яблоко, лицом, наштукатуренным до предела косметикой, она действительно напоминала ведьму.

Мне пришлось увидеть Пуфмуттер и ее «воспитанниц» 20 января 1945 года, когда завершалась эвакуация чудом уцелевших узников. Нас пригнали из Явожно на платформу смерти Биркенау. В лютую стужу мы, полураздетые, почти сутки дрожали на холоде, ожидая вагонов. Сквозь метель виднелись кучи присыпанного снегом кирпича и бетона — остатки взорванных строений. В перелеске за крематорием пылали огромные костры, и несло оттуда ужасающим смрадом. А здесь с солдафонской бесцеремонностью, эсэсовцы лезли к девушкам.

— Эльза, Эльза!— кричала Пуфмуттер, бегая между своими подчиненными.— Деточка, пойдика с шарфюрером, ему нужно пришить пуговицу. Ты сделаешь это лучше других...

Раскрасневшаяся синеглазая блондинка, маленькая, кругленькая, на вид еще совсем подросток, выскочила из группы проституток и подбежала к старой ведьме.

— Я, матушка, сделаю все как следует,— сказала Эльза и поспешила

за здоровилой эсэсовцем в стоявший неподалеку барак.

Подали эшелон. Пуфмуттер со своими «ангелочками» заняли три пассажирских вагона. Кроме разнообразных продуктов, им выдали еще и пятидесятилитровые термосы с горячей пищей. Нас утрамбовывали в каждый «телятник» по сто человек. Эсэсовцы не дали нам на дорогу ни грамма продуктов, ни глотка воды. Позабивали двери, и поезд тронулся. Когда несколько суток спустя эшелон прибыл в Маутхаузен, в живых осталось меньше половины узников... Но я забежал далеко вперед. Вернемся в Освенцим 1943 года.

Через полгода после открытия публичный дом расширили, сделав добавочное отделение на сорок комнат для обслуживания «передовиков» из числа неарийцев. На работу взяли молоденьких еврейских девушек. Перед несчастными оказывался выбор: крематорий или добровольная проституция.

Мне пришлось видеть, как одна из женщин, которых гнали в газовую камеру, умоляла эсэсовца взять ее шестнадцатилетнюю дочь в публичный дом.

Глава 6

После Ауфмайера и Пауля блокшрайбер Вацек Плюгавый был третьим властелином в блоке. Сам из польских фольксдойче, Вацек одинаково хорошо владел немецким и польским языками. Это был закоренелый уголовный преступник. Прозвище Плюгавый как нельзя более соответствовало его облику. Плешивый, худосочный и суматошный, он был непревзойденным холуем и льстецом. Своими мутными преданно-собачьими глазами Вацек следил за каждым движением Ауфмайера и блокового Пауля, заранее предугадывая их желания. Попав в лагерь, он быстро сориентировался и вскоре стал старшим писарем блока — возглавив блоковую канцелярию, вел бухгалтерский учет живых и мертвых. Он люто ненавидел политических узников, жестоко измывался над ними.

Остальные лагерные придурки — а их в блоке насчитывалось не менее пятидесяти человек — все до единого были уголовники. В эту братию входили штабовые, помощники штабовых, штабовые писари, младшие штабовые писари, капо, унтеркапо, форарбайтеры, штабендинсты, дежурные, лойферы и просто «организаторы», раздатчики пищи, пипли и всякие прочие холуи. Все они немало попили нашей кровушки, однако по сравнению с тремя главными китами это была мелочь.

Были в Освенциме и политические узники из немцев — коммунисты, социал-демократы. Они не пользовались никакими льготами. Жили в лагере на тех же правах, что и все заключенные,— голодали, терпели

побои, глумление и издевательства. Немецким политическим заключенным разрешалось раз в месяц посылать родным открытку следующего содержания: «Жив, здоров, чувствую себя хорошо, ни в чем не нуждаюсь». Тех, кто пытался писать иначе, сурово карали. Если политический узник умирал или его уничтожали, администрация лагеря извещала родных: «Умер от тяжелой продолжительной болезни — рака, и медицина, к сожалению, оказалась бессильной». Затем следовали сочувственные слова семье и сообщалось, что родные могут получить урну с прахом покойного, если внесут в банк десять марок — плату за урну, кремацию и доставку праха. В урну насыпали пепел из общей кучи.

В то же время уголовники всех мастей питались с эсэсовской кухни, получали из дома посылки. Даже в блоке они устраивались лучше других. Блок делился на две штубы (отделения), в каждой по тысяче человек. Штуба представляла собой зал-спальню и несколько комнатенок, в которых жили привилегированные узники — капо, штубовые, писари. А блоковый староста располагал отдельной, обставленной всем необходимым комнатой.

Нетрудно представить, как тесно было в блоках.

Испарения немывтых тел и гноящихся ран делали воздух тошнотворно-смрадным. Никто не придерживался правил элементарной гигиены, да их и невозможно было придерживаться, если б и хотели. Тем не менее на стенах среди прочих лозунгов масляными красками было выведено: «Чистота — залог здоровья».

На четырехэтажных деревянных нарах, вагонках, впритык один к другому лежали бумажные матрацы, наполненные прелой соломенной трухой или стружками. Каждый матрац рассчитан был на четырех узников, и, чтобы они могли поместиться, применяли хитроумный способ: «валетом попарно». Двое ложились на бок, прижавшись друг к другу и слегка поджав ноги. Третий и четвертый укладывались головами в противоположную сторону, а ноги клали на первую пару. Такой способ размещения французы остроумно называли «спать сардинами». Среди ночи один из помощников штубового давал команду «подъем!», а за ней следующую — «изменить позу!». Все переворачивались на другой бок.

Гольцшуги, завернутые в робы, клали под головы. Выгодно и удобно. Во-первых, меньше шансов лишиться обуви и одежды, за что беспощадно убивали, во-вторых, быстрее оденешься после команды «подъем!».

Голые узники представляли собой непередаваемое зрелище. Это были высохшие полускелеты. Грудная клетка каждого напоминала стиральную доску. Выпирали ключицы и лопатки, виден был каждый позвонок на спине, каждая косточка. У многих на теле гноились раны, незаживающие

язвы.

Кроме всего прочего, невыносимо допекали блохи. Одолеть эту напасть было невозможно. Лагерное начальство давно уж махнуло на них рукой. Иное дело — вши. С ними боролись, как с разносчиками тифа.

Собственно, боролись с узниками, у которых во время лэйзеконтроля находили паразитов. У входа в блок красовался лозунг: «Одна вошь — твоя смерть». Лозунг этот следовало понимать буквально: завшивевшего узника без лишних хлопот отправляли в крематорий...

Сон столь тесно спрессованных людей был тяжелым. Полутьма, ужасающая духота, приглушенные стоны, бредовые выкрики больных — все это создавало впечатление, что ты в братской могиле, где вместе с мертвыми заживо тлеют сотни еще живых, но уже обреченных людей.

У меня болели искалеченные пальцы. Невыносимо ныла спина от ударов резиновой дубинкой. Боль не давала уснуть. И я каждый раз задумывался: насколько меня хватит, ведь я не железный! Мысленно я кончал счеты с жизнью. Вспоминалась родная Сквира, отец, мать. Я засыпал в слезах.

Однажды проснувшись, когда раздалась команда «подъем!», я почувствовал, что мои ноги, лежавшие на теле напарника, застыли от холода. На команду «переменить позу!» мой напарник не отреагировал и не перевернулся. Я тронул его тело. Он был мертв. Не зная, что делать, я обратился к двум другим узникам, спавшим на нашем матрасе.

— Позвать штубового?

— Если охота испробовать дубинки — зови! — сказал один.— Пусть лежит до утра.

Глава 7

Едва забрезжил рассвет, нас уже выгнали на аппель. Затем дважды проревела сирена, и по всему лагерю заметались лойферы и капо, горлающие изо всех сил: «Арбайтскомандо формирен! Арбайтскомандо формирен!»

Завывание сирены, установленной на мачте посреди лагерной площади, разносившееся по всей территории лагеря, служило условным сигналом для проведения того или иного мероприятия. Один длинный гудок означал общее построение (обычно на утренний и вечерний аппели, или же в случае, если в каком-нибудь блоке или рабочей команде недосчитывались узников); два коротких извещали о формировании рабочих команд и отправке их на работу. Большей частью такая команда давалась после утреннего аппеля. Короткие частые гудки означали объявление блокшперы. После каждого сигнала команда повторялась еще и

голосом. Десятки специальных посыльных бегали по лагерю и во всю мочь выкрикивали ту или иную команду. Ее подхватывали блоковые и капо. Блоковые, которые не желали надирать свои глотки или же не обладали столь зычным голосом, как, к примеру, наш Бандит, за миску баланды нанимали специальных глашатаев. Такие счастливчики зарабатывали себе харчи луженой глоткой. В каждом блоке и в каждой команде имелись свои крикуны.

Из нашего карантинного, «воспитательного» блока узников на работу не гоняли. Только в отдельных случаях брали пополнение в некоторые команды взамен тех, кто уже окончательно «доходил». Поэтому на утреннем аппеле Пауль держал карантинников в строю до тех пор, пока все рабочие команды выходили за ворота лагеря.

Так было и на этот раз, пока не подбежал мордатый капо Адольф с нарукавной повязкой, на которой было написано «штрафная № 1». Еще издали он закричал: «Пауль! Десять гефтлингов, быстрее!»

Плюгавый Вацек подал команду штрафникам выйти из строя. Меня и еще девяти узников Адольф погнал на центральный апельплац, где формировались арбайтскоманды и где уже стояла штрафная команда № 1. По дороге Адольф попотчевал каждого из нас резиновой дубинкой за то, что мы не могли бежать так резво, как ему хотелось.

Апельплац уже заполнили колонны узников.

— Арбайтскоманды, по порядку номеров на выход шагом марш! — скомандовал рапортфюрер, и сразу все пришло в движение. Оркестр заиграл бравурный марш. К проходной одна за другой двинулись арбайтскоманды. За воротами их принимал конвой и вел на работу.

Освенцимский оркестр — одна из самых непостижимых прихотей гитлеровских изуверов, блажь самого обер-палача Гиммлера. Оркестр состоял из сотни музыкантов-виртуозов, вывезенных в Освенцим из столичных театров оккупированной Европы. Он играл ежедневно, когда арбайтскоманды отправлялись на работу и возвращались с нее, а также во время экзекуций и казней. Музыканты этого оркестра сочинили по заказу Гиммлера уникальную мелодию «Танго смерти», которая очень нравилась шефу гестапо. Исполнялось оно только во время казни и массовых экзекуций.

Музыканты освенцимского оркестра все как один были уничтожены эсэсовцами в последние дни существования лагеря — в январе 1945 года.

Что касается других лагерей, то во многих из них имелись свои оркестры, существовали свои «лагерные гимны» и свои «традиции». Так, например, в Маутхаузене во время казней эсэсовские палачи любили

слушать мелодию немецкой песни «Любимая, мы встретились снова».

И вот нас ведут по дороге, по обочинам которой через каждые двести-триста метров лежат сложенные в кучу лопаты, кирки-мотыги, ведра, стоят тачки. Рабочие команды занимали свои места, разбирали инструменты и начинали работу. Нашу команду повели чуть дальше, на участок, где проходила новая дорога, соединявшая Освенцим-I с Биркенау. Мы идем, шатаясь от слабости, поддерживая друг друга. Опущенные плечи, в глазах у каждого сгусток боли. В нашей штрафной колонне, истощенной до последнего предела, был полный интернационал — русские, поляки, чехи, евреи, цыгане, французы, датчане, венгры, югославы, латыши, даже несколько немцев.

Привели нас на заболоченный участок, раздали лопаты, ведра и велели расширять уже выкопанные канавы и рыть новые. Одни стояли в канаве по колено в воде и наполняли ведра, другие носили их, третьи возили тачками песок и щебенку. Неподалеку расположилась эсэсовская охрана, вооруженная автоматами. Непосредственно за работой наблюдали капо и пять форарбайтеров — бандиты один в один. Они, прохаживаясь, резиновыми дубинками подгоняли тех, кто, на их взгляд, работал недостаточно интенсивно и старательно.

Было семь утра. Чавканье болота, ругань и окрики надзирателей, глухие удары резиновых дубинок *, вопли узников рвали утреннюю тишину. Работа еще только началась, а у меня уже ломило спину, и в голове гудело от утомления. Это был бессмысленный первобытно-тяжкий труд, рассчитанный на полное изнурение.

* В Освенциме эсэсовцы обеспечивали блоковых, штабовых, капо, форарбайтеров и других резиновыми дубинками «для поддержания дисциплины и стимулирования трудовой деятельности гефтлингов»; попросту говоря, дубинки в руках эсэсовцев и их прислужников были оружием пыток над беззащитными узниками. Дубинки изготавливались баварской фирмой «Гюнтер Крюгер», имели в длину 70 см. Белая ручка с ременной петлей надевалась на кисть руки. На другом конце дубинки в каучук было залито 200 г свинца. От удара такой дубинкой по голове узник либо терял сознание, либо умирал. Удары по телу причиняли тяжелые травмы.

Рабочий день штрафных команд длился четырнадцать часов. Единственный перерыв на сорок пять минут возвещали ударом гонга в двенадцать дня, когда привозили баланду. Но до него нужно было дожить...

— Лёс, шнель, бевегтойх, темпо!* — то и дело раздавались окрики.

*Давай, быстрее, шевелись, темп! (нем.).

Мы трудились на участке длиной в двести метров. Впереди были штрафные команды № 2 и 3. Они валили деревья, выкорчевывали пни, а мы копали. Штрафников подгоняли без конца, требуя ускорения темпов работы. Тех, кто не выдерживал темпа, убивали и заменяли другими. Ежедневно в каждой команде приходилось заменять двадцать-тридцать человек.

По мнению эсэсовского начальства, каждый узник должен был понимать, что сулит перспектива попасть в штрафники.

По инструкции эсэсовцы должны были «перевоспитать» штрафников, «научить» их работать. В действительности же задача состояла в том, чтобы в кратчайший срок выжать из штрафников всю мускульную силу, довести их до полного истощения, убить и заменить другим. А чтобы эта «гениальная» идея лучше дошла до сознания всех остальных, штрафников специально рассеивали по всем блокам Освенцима. Штрафник был пугалом, штрафные команды — средством устрашения.

Официально считалось, что ни один штрафник не должен жить дольше четырех недель. Люди, попавшие в штрафники, не выдерживали даже и этот срок. Некоторые сходили с ума или кончали с собой. Других убивали эсэсовцы и капо или же отправляли в газкамеру, а то попросту вешали тут же на работе «за саботаж». А тех немногих, кто оказывался вопреки всему живучим, эсэсовцы убивали сами, не душили в газовой камере и не вешали, а просто расстреливали. Расстрел считался в Освенциме смертью «почетной».

Штрафники понимали безысходность своего положения и тем не менее упорно трудились, надеясь на чудо. Такова уж природа человека — он всегда на что-то надеется. Отчаявшийся штрафник расставался с жизнью очень просто: узник с лопатой шел на эсэсовца, и его тут же прошивала автоматная очередь.

По инструкции штрафнику запрещалось приближаться к эсэсовцу. Если конвоир сам подзывал к себе штрафника, узнику надлежало оставить лопату на месте, сбросить мютце, подойти к эсэсовцу не ближе чем на пять шагов и замереть, вытянувшись в струнку в ожидании указаний. Малейшее нарушение этого каралось смертью.

Мы копали старательно и поспешно, стремясь не привлечь к себе внимания капо и начальника конвоя. Действовал коллективный рефлекс: работали все, работал и я. И все для того, чтобы живым вернуться в лагерь, выпить порцию баланды и упасть разбитым ноющим телом на матрац, закрыть глаза и ни о чем не думать.

Глава 8

Время текло медленно. Надо было прежде всего выполнить программу-минимум — дотянуть до обеда и получить черпак баланды. Если мне это удастся и со мной ничего не случится, я мог рассчитывать, что выполню и программу-максимум, то есть доживу до вечера. А что будет завтра — об этом и думать не хотелось.

Украдкой, озираясь по сторонам, я следил за эсэсовцами, стоявшими невдалеке, за капо и фюллербайтерами, похаживающими вдоль канавы, и особенно за унтершарфюрером. Какое-то чувство подсказывало мне, что его-то и следует остерегаться пуще всего. Унтершарфюрер как раз проходил мимо. От страха я втянул голову в плечи и весь сжался. Хотелось превратиться в незаметную букашку, скрыться, исчезнуть в этом болоте!..

Он остановился неподалеку, прислонился спиной к стволу ободранной сосны и закурил, лениво поглядывая на узников, которые копались в болотной жиже. Наконец палач нашел то, что искал... Взгляд его остановился на одном еврее. Он подкрался к несчастному и содрал с головы жертвы мютце. Узник обернулся, окаменев от страха. Эсэсовец минут пять стоял молча, наслаждаясь эффектом. Потом отошел в сторону и, скомкав шапчонку, отбросил ее метров на десять за цепь охраны, после этого вкрадчиво обратился к обреченному:

— Потрудись, голубчик, принести.

Шатаясь, узник, словно в бреду, пошел навстречу своей смерти. Унтершарфюрер жестом руки предупредил автоматчиков, чтобы те не стреляли, а сам вынул парабеллум и стал целиться в затылок несчастному. Чуть только узник приблизился к своей шапке и уже наклонился, раздался выстрел. Бедняга только покачнулся, затем выпрямился и повернулся к нам лицом, ожидая второго выстрела. В его безвольно опущенной руке был ненужный теперь мютце... С измученного лица исчез страх. Человек застыл на месте, словно специально позировал унтершарфюреру, чтобы тот чего доброго не промахнулся. Второй выстрел — и мертвое тело упало на землю. Эсэсовец подбежал посмотреть, куда угодила пуля. Вскоре мы услышали его радостный возглас. Негодяй подозвал коллег, чтобы те воочию убедились, как метко он стреляет. Минут десять они переворачивали тело сапогами с боку на бок и о чем-то оживленно судачили. Эсэсовцы не скупилась на комплименты унтершарфюреру. Ежедневные тренировки в стрельбе по живым мишеням не прошли зря.

Возбужденный унтершарфюрер вернулся и в сопровождении капо Адольфа пошел вдоль канавы. Адольф гордился тем, что был тезкой самого фюрера. Свои обязанности он выполнял с завидным рвением. За два часа работы успел избить десятка два узников. А сейчас, угодливо заглядывая в

глаза своему хозяину, трусцой семенил рядом. По дороге им попалась большая лужа. Адольф подозвал узников, велел им лечь в лужу лицом, и по этому помосту из живых людей они прошествовали дальше.

Мы получили неожиданную возможность расслабиться на несколько минут, снизить бешеный темп работы. Солнце уже поднялось над лесом и пекло немилосердно. Отчаянно мучила жажда, в горле пересохло, но воды, хотя бы относительно пригодной для питья, не было. Я уже перестал верить, что доживу до обеда.

Через какое-то время унтершарфюрер и капо вернулись. О чем-то разговаривая, они посматривали на высокую ветвистую сосну, росшую поблизости. Затем палач подвел к дереву одного из узников, велел ему взобраться на верхушку сосны и кричать: «Я — обезьяна!» Он даже разрешил своей жертве сбросить гольцшуги. Капо услужливо посадили узника.

— Выше! Выше!— командовал унтершарфюрер и, когда взбираться выше стало некуда, приказал:— А теперь начинай!

— Я — обезьяна! Я — обезьяна!— сдавленным голосом закричал узник.

Эсэсовцы и капо дружно хохотали, довольные выдумкой своего начальника.

— Громче, громче!— покрикивал унтершарфюрер.— Чтобы все слышали!

— Я — обезьяна! Я — обезьяна!.. Я — обезьяна!..— разносилось по всей округе.

Этого развлечения им хватило на полчаса. Теперь унтершарфюрер направился к узнику, который, бросив работу, громко разговаривал сам с собой. Сумасшествие узников считалось наглядным доказательством неполноценности низшей расы. Некоторое время унтершарфюрер наблюдал за больным, не трогая его. Тот бормотал отрывистые бессмысленные фразы и, Держась за лопату, пританцовывал.

— Иди сюда,— подозвал его эсэсовец. В ответ — идиотский смешок.

— Ко мне! Шнель!

Тронувшийся поднял лопату над головой, с кривлянием и ужимками, заговорщицки подмигивая, пошел прямо на начальника конвоя.

— Брось лопату!— велел тот, но узник не обратил никакого внимания на приказание. Эсэсовцу уже было не до шуток. Он выхватил из кобуры пистолет, но капо опередил выстрел: ударом лома он перебил руку несчастному.

— Дайте веревку!— распорядился унтершарфюрер. Один из эсэсовцев

достал из ранца длинный тонкий шнур. Лишившемуся разума узнику связали ноги и подтащили к сосне, на которой все еще сидел тот, что кричал: «Я — обезьяна!»

Адольф перебросил один конец веревки через толстую ветку, после чего сумасшедшего подтянули вверх ногами, головой вниз. Потом капо раскачал повешенного, а сам отошел в сторону. Тем временем начальник конвоя поспорил с одним из эсэсовцев на бутылку вина, что он тремя выстрелами с расстояния в двадцать шагов прострелит череп несчастному, который раскачался, как маятник. Я давно уже заметил, что у эсэсовцев всегда был повышенный интерес к стрельбе по движущимся мишеням.

Унтершарфюрер отмерил двадцать шагов, стал в картинную позу и начал целиться. Ничто его не волновало: ни возможная кара за содеянное, ни тем более муки совести. Да и неудивительно. Сам фюрер брал на себя ответственность за преступления эсэсовских головорезов, целиком освобождая их от такого анахронизма, как совесть.

Унтершарфюрер выиграл пари.

Я старался изо всех сил, но, видимо, работал недостаточно интенсивно, так как один из штрафников, которые носили наполненные ведра, бросил мне на ходу: «Пошевеливайся, коли хочешь жить!» Унтершарфюрер и капо повернули в нашу сторону. Тяжелое предчувствие буквально парализовало меня. Обильный пот заливал лицо, липкие струйки стекали по телу. Я уже слышал голоса палачей и боялся даже посмотреть в их сторону. Вот они остановились неподалеку от меня, закурили.

— Смотри, Адольф, у этого гефтлинга номер 131161. В нашей команде еще не было узников с такими большими номерами.

— Это новенький. Я взял его сегодня из карантинного блока,— ответил Адольф унтершарфюреру.

— Ты посмотри, как он работает. Суется, а толку никакого. К тому же русский...

— Сейчас я его подбодрю....

— Погоди, я сам поговорю с ним.

Руки и ноги немеют от страха. Отчаянно колотится сердце.

— Эй ты!

Я инстинктивно отшатнулся, забыв, что нужно почтительно скинуть с головы мютцен... Эсэсовец сам сорвал с меня шапку и, отойдя поближе к стенкетте*, приказал подойти к нему. Оставляю лопату, выкарабкиваюсь из канавы и с замиранием сердца подхожу к унтершарфюреру. Приблизившись на расстояние пяти шагов, вытягиваюсь по стойке «смирно», ожидая решения своей судьбы. Убийца не торопится. Он держит

в зубах тоненький стебелек и презрительно смотрит на меня светлыми водянистыми глазами. В его взгляде я читаю приговор. Стою помертвевший и чувствую, как под ложечкой у меня медленно тает лед.

* Цепь охраны (нем.).

Унтершарфюреру наскучило забавляться, он смял мютце и бросил за линию постенкетте.

— А теперь пойдди принеси свой мютце!

«Все равно он меня пристрелит, так пускай стреляет здесь»,— подумал я. Страх, охвативший меня в первое мгновение, неожиданно сменился отчаянной и злой решимостью.

— Идти за постенкетте я не имею права. Правила поведения узника в лагере — закон для меня. Я хочу работать!— твердо сказал я по-немецки.

Эсэсовца поразило, что я говорю по-немецки. Он даже представить себе не мог, что такая мизерная букашка — и вдруг владеет его родным языком.

— Ах вот как!— сказал он насмешливо.— Знаешь порядок? И отчего же ты, такой дисциплинированный, попал в штрафную команду?

— По недоразумению.

— За шапкой пойдешь?

— Не имею права переходить линию постенкетте.

— Альзо!* — Унтершарфюрер вынул из кобуры пистолет и поставил его на боевой взвод. В его глазах загорелись хищные огоньки.— В последний раз спрашиваю: пойдешь?

— Не пойду, потому что не имею права! Ваше право убить меня, мое право — умереть, но нарушать закон я не буду.

* Итак (нем.).

— Повернись ко мне спиной!— приказал он.

Позади себя я услышал шаги, но не решился повернуть голову. В следующее мгновение унтершарфюрер выстрелил. Подо мной разверзлась земля, и наступил полнейший мрак. Очнувшись, я услышал громовой хохот и увидел возле себя нескольких эсэсовцев. Один держал в руках длинную палку, которой, подкравшись сзади, ударил меня по голове, а унтершарфюрер в это мгновение выстрелил.

Среди прочих диких выходов эсэсовцев этот трюк был самым распространенным. Я сам не раз видел, как развлечения ради они имитировали расстрел узника, а потом ржали как шальные.

— Ты уже в гиммелькоманде, голубчик, а мы пришли к тебе в гости,— сказал один из них, и все снова принялись хохотать. Эсэсовцы благодарили унтершарфюрера за доставленное удовольствие и пообещали ему за это

пару бутылок вина.

Я был в полуобморочном состоянии и плохо соображал. Натешившись вволю, палачи возвратили мне шапку и велели продолжать работу. Капо подвел меня к канаве и вlepил такую затрецину, что я плашмя плюхнулся в болотную жижу и барахтался в ней, пока не перемазался весь в иле и грязи. Мой вид еще больше развеселил душегубов:

— Русский черт в болоте! Ой, вот так цирк!.. Нахотавшись, эсэсовцы разошлись.

Меня била лихорадка. Я продрог до костей, хотя стояла адская жара. Чтобы не искушать судьбу, взял в руки лопату и, как в бреду, начал работать. Пот, стекая по носу, повисал мутными каплями. Томила жажда. Радости от того, что остался жив, я не испытывал. Теперь я даже сожалел, что не пошел за постенкетте...

Вскоре ударил гонг на обед. Сразу все замерло. Узники расправляли онемевшие спины, вытирали взмокшие лица, тяжело вздыхали. Один стоял на коленях — молился. А на верхушке сосны окончательно охрипший узник продолжал сипеть: «Я — обезьяна!»

— Эй ты, слезай обедать! — крикнул ему капо, но несчастный будто и не слышал.

— А ну помогите ему! — приказал одному из охранников унтершарфюрер.

Тот снял автомат и стал целиться. Первым выстрелом беднягу ранило. Неожиданно он закричал по-немецки:

— Смерть Гитлеру! Смерть фашизму! Проклятье вам, убийцы! Все равно вам не избежать кары! Не уйти от возмездия. Красная Армия близко... Разъяренный унтершарфюрер заорал во всю глотку:

— Фойер!

Дробно забила автоматная очередь. Узник камнем упал на землю. Форарбайтеры взяли его за ноги и подтянули к трупам.

Был полдень. Солнце стояло в зените и пекло беспощадно. Из болот подымались густые испарения, жирные и сладковатые, как запах перегоя. Мошкара исчезла, вместо нее нас немилосердно жалили какие-то маленькие серые мухи и слепни.

Началось построение. Строились молниеносно, каждый хотел как можно скорее получить баланду и сэкономить лишнюю минуту на отдых. После пересчета унтершарфюрер дал команду:

— Постенкетте айнцин!

Цепь охраны стянулась. Часть автоматчиков окружила узников, а другая расположилась рядом, за походными столиками, привезенными на

грузовике вместе с кесселями*. Эсэсовцы на наших глазах принялись обедать. Их обед состоял из четырех блюд и мог вызвать галлюцинации у любого из нас. Иногда кто-то из «щедрых» бросал нам обглоданную кость, и все с наслаждением наблюдали за толчеей, возникавшей там, куда она попадала.

* Термос с горячей пищей.

Нам тоже привезли обед: на двести голодных, истощенных человек два бачка жидкой брюквенной бурды. По четверть литра на каждого. И больше ничего! Форарбайтеры и капо столовались из эсэсовской кухни после того, как пообедают конвойные.

Капо Адольф начал разливать баланду, а форарбайтеры с резиновыми дубинками в руках следили за порядком. Штрафникам миски и ложки не выдавались, обед мы получали прямо в шапки. Они были настолько засалены потом и грязью, что баланда почти не вытекала, впрочем, вытечь она и не успела бы.

С лихорадочным блеском в глазах узники ожидали своей порции, и охватывало их при этом волнение, пожалуй, большее, чем когда эсэсовцы упражнялись в стрельбе по живым мишеням.

Одни из узников отчаянно наблюдали за раздачей, другие с невыразимой тоской поглядывали на столики эсэсовцев, третьи, получив и проглотив свою баланду, пытались испытать счастье, выстраиваясь в другую очередь в надежде получить добавку.

И только немногие поступали благоразумно. Проглотив свою порцию, они немедленно ложились на землю, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и не слышать, чтобы выключиться хотя бы на короткое время и сбросить те жалкие силы, что еще теплились в них.

Я стоял в нервном ожидании, словно в засаде. Это было тягостно, хотя очередь быстро продвигалась. Слышался металлический звон черпака, которым мешали в бачке, и хлюпанье баланды, вызывавшее спазмы в горле. Подошла моя очередь. Я дотянул до обеда и, стало быть, заслужил свою порцию баланды. Возможно, теперь дотяну до вечера. Дрожащими руками я подставил свою шапку. Капо дружелюбно посмотрел на меня.

— А-а, русский? Подставляй, дорогой, дам тебе погуще,— сказал Адольф.

Он опустил черпак на самое дно бачка, очень старательно зачерпнул и осторожно, чтобы не пролить ни капли, приподнял черпак, наполненный баландой.

От волнения у меня задрожали руки, и я не знал, как мне благодарить Адольфа. В следующее мгновение Адольф сделал резкое движение, и

черпак с баландой опрокинулся мне на голову. Я опустился на землю, уткнувшись лицом в траву, не в силах побороть судорожных рыданий.

Кто-то подошел ко мне, прилег рядом.

— Плачешь?— послышался ласковый голос. Я повернул голову и увидел пожилого узника с глубоко запавшими карими глазами. Он смотрел на меня с сочувствием, изучающе:

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Откуда ты?

— Из Сквиры.

— Значит, земляк. А я из Полтавы. Возьми, подкрепись,— он незаметно сунул мне кусочек черного, как земля, хлеба, испеченного наполовину из опилок и просяной трухи и принесенного, наверное, из лагеря, так как здесь хлеба не давали. Только тот, кто испытал муки голода, может оценить поступок этого узника.

— Запомни: отчаяние — враг номер один. Будешь киснуть — погибнешь. Слезами горю не пособишь. Нужно бороться.

— Как же тут бороться?

— Бороться можно всюду, но об этом поговорим в лагере. А сейчас давай отдохнем. Успокойся и возьми себя в руки, — сказал полтавчанин и, закрыв глаза, застыл в неподвижной позе. Я с благодарностью смотрел на этого человека, ставшего мне вдруг родным и близким, думал о значении и глубине его простых слов, и на какое-то время отчаяние уступило место решимости.

Во второй половине дня из нашей арбайтскоманды погибло еще несколько узников. Один, не вытерпев издевательств, бросился с лопатой на унтершарфюрера. Этот поступок оказался для эсэсовца настолько неожиданным, что он с перепугу бросился бежать. Узника тотчас же прошили автоматной очередью. При этом ранили еще двух, носивших ведра. Их тут же добили. После этого случая унтершарфюрер как-то весь посерел и больше к нам не подходил.

Жизнь узников штрафной команды исчислялась днями... И мы отвоевали у смерти этот день, хотя и дорогой ценой.

Работа близилась к концу. До темноты нас должны привести в лагерь; в сумерках никакие автоматчики не управились бы с таким количеством впавших в отчаяние людей, которые в любую минуту могли броситься на конвоиров, смять их и скрыться в темневшем вдали лесу.

Раздался гонг. Мы бросились строиться. Каждый стремился поскорее стать в середине колонны, подальше от резиновых дубинок капо и

форарбайтеров и не нести трупы. А их было около двадцати, что составляло среднюю дневную норму штрафной команды № 1. Последним, замыкавшим колонну, пришлось нести мертвых товарищей до самого лагеря.

Колонна выбралась из болот и пошла по грунтовой дороге. Смертельно усталые, избитые, предельно истощенные, поддерживая друг друга, мы едва переставляли ноги. Почти четыре сотни деревянных колодок подняли тучу пыли, которая, оседая, забивалась в рот, в нос, в уши, за ворот.

Приближаясь к лагерю, колонна замедлила ход. К воротам подтягивались десятки арбайтскоманд, создавая длинную серую ленту. Впереди и позади был слышен однообразный стук тысяч колодок. Это идут гефтлинги Освенцима — рабы фашистского рейха и смертельные его враги. На лице у каждого веером расходятся от глаз глубокие морщины и собираются в уголках плотно сжатых уст, как следы невыносимых страданий. Хмурые, суровые лица с мертвыми глазами.

То и дело раздаются выстрелы: добивают тех, у кого не хватило сил пройти эти несколько сот метров до ворот лагеря. Тех, кто упал, загрызают здоровенные, специально натренированные волкодавы. Трупы остаются на шоссе. Их подберут узники последней арбайтскоманды и принесут в лагерь.

Отворяются врата ада. В них втягивается нескончаемая серая лента.

— Айн, цвай, драй... — громко считает узников откормленный оберкапо с коротким, как выстрел, именем Фриц. На головы и плечи тех, кто не очень четко печатает шаг, то и дело опускается его палка. Звуки музыки фантастически вплетаются в стук тысяч колодок.

К воротам подходит последняя команда. Идут не стройными рядами, а квадратиками. В каждом квадрате пять гефтлингов — четыре живых несут за руки и ноги пятого, мертвого. Так удобнее считать.

Задумавшись, я спотыкаюсь и нарушаю стройность ряда, в котором иду. Мгновенно на голову обрушивается палка. В глазах — желтые круги. С ужасом чувствую, что сейчас упаду, чтобы уже никогда не подняться. Теплая липкая струйка стекает по лицу. Товарищи из шеренги подхватывают меня и ведут. «Оставьте,— шепчу я,— я хочу, хочу умереть».

В Освенциме существовал негласный закон: «Бойся про себя». Этого неуклонно придерживались узники. Сейчас я нарушил его, показав при всех свою слабость. Мало того, я нарушил дисциплину и тем самым поставил под удар не только себя, но и всю шеренгу.

Случалось, что нарушителей карали сами узники, чтоб отвести удар

палачей от себя.

— Держись, малец, держись! Ну, чего раскис?! Смерти испугался?— поучает меня узник, давший мне хлеб.

Как много значит слово поддержки, сказанное в трудную минуту. Я овладел собой, шаги мои стали тверже, увереннее. Недремлющее око Адольфа на миг остановилось на мне, но, не заметив ничего подозрительного, скользнуло дальше.

Глава 9

Начинался новый каторжный день.

Аппель прошел, как обычно, а когда он закончился, Пауль продолжал держать нас в строю, ожидая, не появится ли Адольф за пополнением для штрафной команды.

Я стоял ни жив ни мертв. Кружилась голова. Той минуты, когда меня заберут в штрафную, ждал с ужасом. А тут еще ноги распухли так, что гольцшуги стали тесны и больно врезались в распухшие ступни. Я опасался, что вообще не дойду до места работы. В глубине души теплилась крохотная надежда, что авось как-нибудь обойдется... Увы. К нашему блоку уже бежал за пополнением Адольф. Еще издали он крикнул блоковому:

— Пауль? Двенадцать гефтлингов!

Плюгавый Вацек начал отбирать пополнение для штрафной команды. Поскольку на моей куртке были нашиты мишени штрафника, в число обреченных попал и я.

Адольф погнал нас на центральный аппельплац, где уже стояли выстроенные арбайтскоманды. Увидя, что я с трудом переставляю ноги, он взялся подбодрить меня резиновой дубинкой:

— Не вздумай упасть — шкуру сдери! До ворот не смей, а там падай сколько влезет!

Дело в том, что каждой арбайтскоманде полагалось выходить на работу в том количественном составе, который заранее определялся администрацией лагеря. Количество работающих в арбайтскомандах было постоянным. Если кто-либо из узников падал от изнурения еще до того, как команда выходила за ворота, ее возвращали назад, пополняли и снова вели. Упавшего добивали как злого симулянта, а труп относили в тотенблок. За задержку рапортфюрер сурово спрашивал с капо. Для них главное, чтобы прошли через ворота! Конвою же совершенно безразлично, за кого отвечать — за живых или за мертвых. Лишь бы цифра сошлась.

Час спустя мы уже прибыли на место работы. Я стоял в той же канаве, наполненной болотной жижей. Работал из последних сил. Меня били, но я не ощущал боли, не стонал, не плакал, словно был под наркозом. Молча

кусал губы, молча глотал жгучие слезы! Вопреки всему я дожид до обеда. В обед выпил четверть литра баланды и, окончательно разбитый, лег на землю. Не успел закрыть глаза, как перед моим взором встали детские годы, родное село Селезневка, где я родился.

...Мне пять лет. Зимнее утро. Бабушкина хата заткана полумраком. В печи гудит пламя, стонет и завывает в трубе. Вот-вот вспыхнут и растают на окнах расписанные морозом диковинные узоры. По полу ковыляет в багровом отсвете печи красный теленочек. Он только ночью появился на свет, и его принесли на рядне в хату, чтобы обогреть. Мелко дрожит бедняжка — в хате еще холодно. Я зачарованно гляжу то на него, то на бабушку. Ласковая улыбка трогает уголки ее губ и глаз с сетью морщинок, и кажется, что сама улыбка излучает тепло.

— Летом буду пасти его,— говорю я бабушке.

— А как же, непременно будешь пасти,— и она нежно гладит мою голову.

...Погожее сентябрьское утро. Я гордо шествую по улице села. За плечами у меня настоящий ранец, набитый книгами и тетрадями, в руках большой букет цветов. Я иду в школу. А на душе и радостно, и страшно.

В классе полно цветов — на окнах, на столе учительницы, на шкафу, на партах. Класс удивительно напоминает пеструю цветастую клумбу, из которой выглядывают детские головы. «Дети, — обращается к нам учительница.— Я буду вас учить. Зовут меня Валентина Петровна...» Я подымаю глаза. Только теперь замечаю, что волосы у нашей учительницы светлые, волнистые. А голос ласковый, певучий... Чем-то она похожа на мою маму, тоже учительницу...

— Антретен!*

Раздались ненавистные удары о рельсу, и все сразу улетучилось...

Здесь Освенцим, фернихтунгслагер!.. Открываю глаза, вижу капо, эсэсовцев... Хочется волком выть...

*Стройся! (нем.).

Решил не вставать. Пускай убивают на месте. Лучше умереть, чем так мучиться. Но когда уже должна была прозвучать команда «приступить к работе», на мотоцикле примчался эсэсовский офицер и что-то передал начальнику нашего конвоя. Нас тут же построили, пересчитали и повели в лагерь. Зачем? Никто не знал, да нас это и не интересовало. Радовались, что сегодня так неожиданно-негаданно прервалась кошмарная каторга.

На дорогу, ведущую в лагерь, стекаются и другие освенцимские арбайтскоманды. Словно на лыжах, идут обессиленные, изможденные узники, почти не отрывая ног от земли. Тысячи деревянных колодок

вздымают тучи пыли. Если смотреть издалека, впечатление такое, будто эта пыль ползет рядом с колоннами. Люди бредут в ней, как в тумане.

Стук тысяч и тысяч деревянных колодок на освенцимском шоссе напоминает хруст черепов и костей, перемалываемых в гигантских жерновах. Идут смертники. Куда они идут? Их ведет какая-то неведомая сила, более могучая, чем инстинкт самосохранения. Эта сила — ненависть.

И снова врата ада.

— Мютцен ап! — рявкнул громовым голосом Фриц.

Одним движением срываем шапки долой. Значит, вблизи какое-то большое начальство.

Лагерфюрера Рудольфа Гесса я увидел впервые, хотя слышал о нем немало. Внешностью и фигурой он напомнил мне коменданта Мысловицкого лагеря полковника эсэс-войск штандартенфюрера фон Боденшатца. Но, как говорится, далеко куцему до зайца. По сравнению с Гессом «папаша» Боденшатц выглядел мальчишкой. Гесс весил не менее двухсот килограммов. Сроду не приходилось мне видеть такое убоище! Ошарашивало огромное бочкообразное брюхо. Уродливыми мешками свисал тройной подбородок. В узеньких глубоких щелях суетливо бегали крошечные глазки стального цвета. Его неправдоподобно круглая физиономия и толстенная шея лоснились жиром. На голове пылала, как огонь, ярко-красная щетина. Узники смотрели на него с отвращением, со страхом, с ненавистью — безразличных не было.

Пожалуй, никто на свете не имел столько прозвищ и кличек, сколько их было у Рудольфа Гесса. Как только не называли его узники: Свиноматкой, Кабанищем, Бегемотом, Слоном, Питоном, Цистерной, Бочкой, Цеппелином, Паровозом, Мешком с салом... А узники-немцы говорили коротко: гроссшвайне*. Остальные прозвища характеризовали его внутреннее содержание: обер-вешатель, генерал смерти, директор морга, шкурожер, трупожер, душегуб, людоед, архангел смерти. Это был непревзойденный палач. Он ревностно выполнял обязанности, возложенные на него самим рейхсфюрером Гиммлером, обязанности оберката.

*Большая свинья (нем.).

Широко расставив свои слоновьи ножищи и похлестывая по блестящему голенищу арапником, лагерфюрер следил за движением арбайтскоманд, за их перестроением на апельплаце. Возле него с раскрытыми красными пастями сидят две овчарки величиною с добрых подтелков. Гесс описывает арапником полукруг в воздухе, потом что-то говорит своим офицерам, смеется. Те угодливо поддакивают, кивая

головами, и хохочут. Так и прет из этого палача упоение властью над тысячами физически раздавленных людей!

Лагерфюрер восхищен бравурной музыкой, которую по его приказу играет оркестр. Весело апостолу смерти! Весело и его приближенным, палачам более мелкого калибра.

Слева от брусчатки, разделявшей лагерь, вытянулся в длину плац. Здесь на фоне пылающего крематория высится ряд виселиц. И перед этой сатанинской декорацией стоит кровавый гиммлеровский приспешник Рудольф Гесс. Он щурит и без того узкие глазки и улыбается. Затем, словно капельмейстер огромного оркестра, рубит рукой воздух. Обрываются звуки музыки. По команде несколько тысяч заключенных поворачиваются лицом к лагерфюреру. Он брезгливо морщится, неторопливо закуривает сигару, молча обводит взглядом тысячные толпы узников, как бы отыскивая среди них знакомых, затем говорит, обращаясь к нам:

— Прошу прощения, что оторвал вас от работы. Обстоятельства вынуждают. Вы все прекрасно понимаете: в мире, в котором мы живем, право на стороне сильного, того, кто держит в руках меч. Вы знаете также, что сюда вас привезли не на курорт, а работать...

Я человек военный,— продолжает Гесс.— И клянусь богом, я не остановлюсь ни перед чем, а наведу в лагере железный порядок! Сегодня один негодяй сделал попытку удрать. Я не раз предупреждал: из лагеря можно убежать только в гиммелькоманду. Сейчас этого саботажника мы подвесим на трапеции,— лагерфюрер показал рукой на виселицы.— А чтобы другим было неповадно, повесим всех тридцать гефтлингов команды, где он работал.

Наступила тягучая тишина. Слышно было, как запирают ворота, как переговариваются эсэсовцы, как перекликаются на вышках часовые.

Гауптштурмфюрер докладывает рапортфюреру, что количество вернувшихся в лагерь гефтлингов сошло с цифрой в журнале, а этот уже — самому Гессу. Рапортфюрер и Гесс всегда неразлучны, как гром и молния. Оба занимают наивысшее положение среди освенцимских эсэсовцев, оба — вершители всех адских дел. Рапортфюрер — худой и длинный, как столб, с белыми прилизанными волосами и глазами, как у кролика. Он улыбается Гессу одними только губами, тонкими и узкими, словно прорезанными осокой.

— Гут, аллес ин орднунг!— сказал Гесс и приказал привести осужденных.

Тем временем эсэсовцы принесли и поставили на землю несколько крупнокалиберных пулеметов, нацелив их прямо на нас. У, пулеметов

положили металлические коробки с лентами. Угрожающе щелкнули затворы. Пулеметчики легли прямо на траву и изготовились к стрельбе.

Вскоре с вахты привели тридцать узников.

Руки у них были заломлены за спины и связаны проволокой. Их вели коридором, образовавшимся из автоматчиков, выстроившихся в две шеренги. С виселиц наготове свисали петли. Под ними стояли табуретки.

Обреченные на смерть были советскими гражданами, политическими узниками. Об этом свидетельствовали красные винкелы и буква R*.

*Буква R означала «Russland» — страну, гражданами которой были эти узники.

Они вполне владели собой и держались с удивительным спокойствием и твердостью. Глаза каждого горели ненавистью. Приблизившись к виселицам, они что-то сказали друг другу коротко и тихо, словно обменялись паролем, и решительно встали на табуретки. В их глазах не было того страха, который всегда возникает под холодным дыханием смерти. Это были люди, прошедшие все испытания, и даже в последние свои минуты они показывали пример большой стойкости и душевной силы, заражая и нас своим мужеством.

Колонны замерли. В зловещей тишине, казалось, отчетливо слышалось неистовое биение тысяч сердец. И вдруг тишина разверзлась возгласами:

- Отомстите за нас!
- Помните о нас!
- Смерть фашизму!
- Прощай, Родина!
- Проклятье палачам!
- Расплата придет, гады!

Казалось, в эту предсмертную минуту, каждый из тех, кого сейчас будут вешать, спешил оставить живым свое заветное слово. Казалось, они обращаются к нам от имени миллионов задушенных, убитых, расстрелянных, казненных, сожженных, от имени всех жертв фашизма. Никогда не забыть этого хватющего за душу крика людей, которые не дошли до победы.

Глотая слезы, я даю себе клятву до последнего дыхания мстить фашистам.

За многомесячные скитания по фашистским тюрьмам и концлагерям мне не раз приходилось видеть, как гитлеровцы казнят людей. Я давно заметил, что они делают это обстоятельно, не торопясь, явно смакуя сам процесс казни. Но теперь эсэсовцы заторопились; произошло непредвиденное: обреченные, очевидно заранее сговорившись, вдруг

запели «Вставай, страна огромная...».

Мужественный, чеканный ритм грозной мелодии ошарашил фашистов. Они явно растерялись. Куда девалась спесь и напыщенность Гесса! В свиних его глазках метался испуг, они забегали по толпе узников, по виселицам, под которыми стояли наготове смертники. Наконец Гесс нашел выход — он махнул рукой музыкантам, и те нестройно, невпопад заиграли «Танго смерти». Мелодия дьявольского танго постепенно выравнивалась, набирала силу. Она разрывала сердце, угнетала безнадежностью, трагизмом. А тысячи узников стояли насупленные, хмурые, как грозовая ночь. Стиснутые зубы. Сжатые кулаки. Узники стояли под дулами пулеметов, суровые, бесстрашные, окаменевшие. Стояли, как живые монументы на кладбище залитой кровью Европы. У многих из нас были слезы в глазах, а потрескавшиеся от жажды уста шептали: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

По приказу лагерфюрера нас не пустили в бараки. Целую ночь мы простояли на ногах. Гесс мстил нам за минуты собственного страха и растерянности...

Поддерживая друг друга, мы стояли возле своего карантинного блока. Пауль предупредил, что каждый, кто попытается сесть или лечь, пусть заранее прощается с жизнью. А Бандит не бросал слов на ветер.

Как болят ноги! Как ноет и просит отдыха искалеченное тело! Я уже не думаю о еде — венцом желаний становятся нары.

А время взяло и остановилось. Позади меня кто-то шепчет горячо, как молитву: «Держись, Вася, держись, Васек, выдержим — неужели ж не выдержим?»

Постепенно все вокруг заволакивалось сумраком. И тишина стоит такая, что хоть мак сей! Но вот из Биркенау донесся тревожный вопль паровоза — прибыло пополнение. Освенцим, этот ненасытный молох, требует новых жертв. Гудок болью отозвался в наших сердцах. А над лагерем уже распростерла свои хищные крылья освенцимская ночь.

Глава 10

Ночью умерли в строю пятнадцать узников нашего блока. Перед утренним аппелем по приказу Плюгавого трупы отнесли в туалетную и заштабелировали между ящиком с хлоркой и бочкой с водой. И я помогал нести одного, хотя, правду говоря, меня самого впору было уложить вместе с умершими.

Утренний аппель прошел без обычных эксцессов, что нас весьма удивило. У Ауфмайера было отличное настроение. Как оказалось, сегодня у него день рождения. Блоковый Пауль, плюгавый Вацек и все проминенты

льстиво поздравили именинника и вручили ему ценный подарок, но что именно — никто из рядовых гефтлингов не знал: делалось это, конечно, не перед строем.

По случаю своих именин Ауфмайер разрешил проминентам до обеда спать в блоке. Всем прочим узникам велел оставаться на площадке до ночи. Аппель-плац блока 2-А был размечен флажками. Выходить за линию флажков строго запрещалось. Нужно сказать, что узникам карантинного блока вообще запрещалось ходить по лагерю без специального на то разрешения.

Как только Ауфмайер и его подручные ушли, мы сразу же попадали на брусчатку и, прижавшись один к другому, заснули. Как хорошо, что сегодня воскресенье и на работу не погонят. Эсэсовцы свято соблюдали праздники и выходные дни. По воскресеньям они сами отдыхали, гуляли, развлекались со своими красотками или же пьянствовали. Поэтому арбайтс-команды оставались в лагере. Лагерным придуркам вменялось использовать это время для «спорта», что означало истязание заключенных. Но и придурки были не прочь отдохнуть, раз отдыхают эсэсовцы, и в такие дни контроль ослаблялся. Иногда удавалось посидеть или полежать на земле перед блоком.

Перед обедом нас построили. Появился Ауфмайер. Он был пьян и долго что-то молот о своей доброте, человечности, порядочности и прочих благородных чертах.

— Наша цель — перевоспитать вас,— разглагольствовал блокфюрер. — Я не сомневаюсь, что каждый узник нашего лагеря, честно работая на благо Германии, осознает свои ошибки и станет полноценным человеком. Не тот умен, кто никогда не ошибается. Умен тот, кто сумеет исправить содеянное. Я сам некогда был узником, а видите — стал человеком, и мне близка судьба каждого из вас!

Долго еще плел он всякий вздор о честности, о дисциплине, о фюрере, который будто бы день и ночь печется о нас. Наконец, порядком устав, Ауфмайер расхлябанной походкой ушел с Паулем в блок, перед этим милостиво разрешив «кому нужно» сходить в туалетную. Но мы не торопились воспользоваться этим приглашением, хорошо зная, что недремлющие холуи блокового мгновенно отобьют печенку, если увидят, как ты «без дела» слоняешься по штубе.

Но как на грех меня нестерпимо мучила жажда. Решил пойти в блок и раздобыть хотя бы глоток воды. Чтобы попасть в туалетную, нужно было пройти оба шлафзала первого этажа. По опыту я уже знал, что лучше всего затеряться среди узников и не попадаться на глаза начальству, но так

нестерпимо хотелось пить, что я решил рискнуть. Сбросив гольцшуги, в которых я уже не мог и шагу сделать, и держа их в руках, я пошел в блок.

Благополучно миновав коридор и оба шлафзала, я вошел в туалетную. Но увы: с целью экономии воды все краны были перекрыты. Правда, в бочке имелась вода, но отравленная хлоркой. Между ящиком с хлоркой и бочкой с водой лежали четыре трупа. Это были те, что умерли днем, так как жертвы ночные сразу же после апелля отвезли в крематорий. Увидев трупы, я внутренне содрогнулся и поймал себя на том, что никак не могу привыкнуть спокойно смотреть на мертвых.

Я решил возвратиться на апельплац и — надо же такому случиться! — в узком проходе между нар наткнулся на Ауфмайера и блокового Пауля. Это произошло столь неожиданно, что я застыл как вкопанный, не зная, что предпринять.

Ауфмайер был пьян и еле держался на ногах; его поддерживал столь же пьяный Пауль. Зацепившись плечом за угол нар, блокфюрер пошатнулся, его огромная офицерская фуражка слетела с головы и покатилась под нары. Безотчетно бросаюсь к нему со словами «разрешите помочь, герр блокфюрер», и, не дожидаясь ответа, с холуйским рвением падаю на четвереньки и лезу под нары. Здесь я увидел необычайную картину: по полу катился, сверкая драгоценными камнями, обруч. Я был немало изумлен, схватив этот обруч — диадему, затейливо выплетенную из золотой проволоки, на которую искуснейшим образом было нанизано множество камней, сверкавших и переливавшихся всеми цветами радуги. Ауфмайер, забыв об арийском гоноре, тут же, в своем новеньком, с иголочки, парадном мундире, стал на четвереньки и полез под нары; такое не часто увидишь! Здесь же, под нарами, я и вручил ему его фуражку и диадему, которую он мгновенно спрятал в фуражку. По-видимому, он не на шутку разволновался. Лицо его покрылось испариной, а вид был совершенно растерянный. Забыв о всякой субординации, о своем офицерстве и эсэсовских правилах обращения с узниками, он схватил меня за руки и пробормотал слова благодарности.

— Это порядочный гефтлинг, хотя и штрафник. На работу его не посылать, кормить и не трогать. Понял?

— Яволь, герр блокфюрер! — ответил вместо Бандита появившийся словно из-под земли Плюгавый. — Будет сделано, герр блокфюрер! — еще раз сказал он; блоковый Пауль не в состоянии был даже языком поворотить. И как бы подтверждая, что не забудет меня, прочел вслух мой номер: «Хундерттайнунддрайсигхундерттайнундзехциг». — Ступай, — сказал он мне и подтолкнул меня в спину, чтобы я убирался вон и своим присутствием не

компрометировал порядочной компании. На всякий случай я поблагодарил блокфюрера и ушел на площадку к узникам, ощущая непонятное смятение и размышляя над тем, какие же последствия будет иметь для меня это происшествие. Они просто-напросто уничтожат меня как ненужного свидетеля! И почему мне так не везет! Не успею выпутаться из одной беды, как тут же попадаю в другую! Помощи ждать неоткуда. Вдруг я вспомнил того полтавчанина, что дал мне хлеба. Я запомнил номер — 125332 и стал его искать, словно он мог помочь моему горю. Но тщетно найти среди двух тысяч шестизначных номеров один-единственный нужный тебе. Долго и безрезультатно слонялся я в толпе, приглядываясь к нашитым на куртках номерам, не в силах избавиться от гнетущего чувства тревоги...

Прогудела сирена на обед. Мы быстро построились. Привезли кессели с едой, началась раздача баланды. Из плотной квадратной колонны узников выходили пятерками. Они подходили к кесселям и, получив свою порцию, переходили на другую сторону апельплаца. За порядком зорко следили десятка два проминентов с увесистыми палками в руках. Вне очереди получали баланду лойферы,* пипли и прочие ублюдки. Мы только слюну глотали, глядя, как они несут в блок красные двухлитровые эмалированные миски, наполненные баландой, не такой, какую давали нам, а густой, с кружальцами брюквы. Проминенты высших рангов питались из эсэсовской кухни. Все прочие узники получали свой «зупе», как я уже писал, в собственные шапки. Его наливали нам проминенты. Одним из них был Янкельшмок. На руке у него имелась повязка помощника штубендиста № 1, то есть помощника штубового. Янкельшмоком его называли проминенты в глаза, а мы — за глаза. Очевидно, настоящее его имя было Янкель. Даже своей внешностью Янкель отличался от общей массы узников. Он был высокий, крепкого сложения, сильный, как вепрь, с рыжими, чуть не красными волосами и мутно-желтыми, навывкате глазами. Громадные уши торчали, как лопухи, придавая ему сходство с летучей мышью. Был он очень энергичный и непоседливый. Однажды заставил нас получать утренний кофе и обеденную баланду в гольцшуги. Эсэсовцы, пораженные изобретательностью своего холуя, потешались.

*Курьеры.

Дорожа должностью проминента, Янкель верой и правдой служил своим хозяевам. Узники боялись и ненавидели его. Евреи обходили десятой дорогой и за баландой шли к другим раздатчикам, слишком уж жесток был их единокровный брат и люто ненавидел своих. Парадокс, но Янкель был образованным человеком, свободно владел несколькими европейскими языками и, помимо прочего, выполнял обязанности переводчика

блокфюрера.

Рассказывали, что однажды Янкеля в числе «передовых» гефтлингов повели в освенцимский публичный дом... Там он оказался наедине с родной сестрой. Девушка лишилась сознания. Янкель привел ее в чувство с помощью тумаков и пинков и, невозмутимый, вернулся в лагерь.

Иногда Пауль развлечения ради спрашивал у своего холоуя:

— Ну-ка, Янкельшмок, расскажи, как ты развлекался со своей сестрой Саррой?

Таков был помощник штабового, он же переводчик и раздатчик баланды Янкель.

Получив свою порцию, я одним духом проглотил баланду и почувствовал еще больший голод. Прямо в глазах потемнело. Как загипнотизированный, смотрел я на кессели. Чтобы не мучиться зря, лег на землю и закрыл глаза. Над площадкой стоял звон черпаков. Впрочем, он скоро прекратился: закончилась трапеза, которую с таким нетерпением и муками ожидали узники. Вдруг слышу — Плюгавый вызывает мой номер. Весь пронизываемый неумемной дрожью, подхожу к писарю.

— Возьми этот кессель,— сказал Вацек.— Помоешь. Да прендко, холера ясна!

Я заглянул в кессель и обомлел: на дне было добрых два литра густой баланды. С чувством невероятной радости и страха хватаю кессель и бегу с ним в туалетную. Меня провожают завистливые взгляды сотен голодных узников.

В туалетной в это время шел дележ между мелкими холоуями. Они делили свою добычу — полкесселя баланды — и тут же возле трупов пожирали ее. С независимым видом я прошел мимо них к окну, вылил баланду в пустую миску. Целых два литра! Для меня это неслыханное богатство, несоизмеримо более ценное, чем то, которое я сегодня держал в руках.

Невероятным усилием воли сдерживаю себя, не набрасываюсь сразу на еду, как обычно делают все доходяги, а ставлю миску с баландой на окно и принимаюсь мыть кессель, пока в кране есть вода.

Холуи ушли. Я остался один. Мою свой кессель и то и дело посматриваю на миску с баландой. Неожиданно почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. Поворачиваю голову и вижу старого бородатого еврея, который сидит на унитазе и корчится от боли. Видно, бедняга страдал дизентерией и к тому же вынужден был скрывать свою болезнь. Заболеть чем-либо подобным было равносильно смерти. Больных убивали либо живьем отправляли в крематорий, считая такой способ борьбы с заразой

самым эффективным.

Взгляд старика был прикован к моей миске; большие темные глаза заволокло такой печалью, такой тоской, что мне стало не по себе. Он что-то бормотал про себя, время от времени произнося вслух отрывочные фразы на родном языке. Я был молод и мог на что-то надеяться... А на что мог надеяться этот старый, несчастный, больной еврей? Часто бывало так: когда мне казалось, что я совсем огрубел и очерствел, привык к своим и к чужим страданиям, что мне на всех наплевать, лишь бы выжить самому, я начинал люто ненавидеть себя. «Шкура, жалкий подонок!» — твердил я сам себе... И теперь перед этим больным стариком я чувствовал угрызения совести.

Он весь дрожал, почерневшие губы беззвучно шевелились. Глаза смотрели на меня с такой мольбой, что решение созрело молниеносно. Беру миску и протягиваю старику. Из его глаз выкатываются две маленьких слезинки, он ловит мои руки, пытаюсь их поцеловать.

Я вырываюсь от него, поворачиваюсь лицом к окну и молча глотаю слезы. Слышу, как старик жадно хлебает мою баланду. Не прошло и минуты, как он все съел и поставил на окно пустую миску, потом охнул и схватился руками за живот...

Тем временем в туалетную в одних трусах вошел блоковый староста Пауль в сопровождении Янкельшмока.

Вид Пауля внушал ужас.

Он удивленно уставился на старика, корчившегося на унитазе.

— Что ты здесь делаешь, паскуда? — прохрипел Пауль.

Старик задрожал так, что было слышно, как стучат зубы.

— ...Я... простите... я... ничего, пан начальник, я... — пролепетал старик в страхе. — Чуть прихворнул...

— А ты что, порядка не знаешь? Почему не обратился в ревир?*

*Лагерный лазарет.

Пауль прекрасно знал, что обратиться в ревир означало самому себе подписать смертный приговор.

Старик так растерялся, что даже забыл подняться и подтянуть штаны. Его мертвенно бледное лицо покрылось капельками пота. Губы дрожали, а он еще пытался изобразить на своем лице подобие улыбки.

— Простите, герр блокельтестер... я сейчас исчезну. Я ж ничего, я не знал... Я здоров, это только так...

Янкель, презрительно искривив свои толстые губы, смотрел на старика, как на вредное насекомое, которое немедленно нужно раздавить.

Не говоря ни слова, Янкель схватил беднягу за шиворот и потащил к

ящику с хлоркой. Старик что-то лепетал, пытаясь поцеловать руку Янкелю.

— Глотай, падло!— И показал на хлорную известь.

Еврей послушно набрал полный рот хлорки и стал ее жевать.

— А теперь пошли, прополощешь рот,— сказал Янкельшмок и погрузил голову старика в бочку с водой. Тот, видимо, сразу же захлебнулся и начал пускать пузыри. Янкель на мгновение вытащил свою жертву и закричал:

— Пауль! Да у него золотые зубы. А ну, падло, открой свою плевательницу пошире, пускай пан староста увидит,— деловито произнес холуй.— Да там и пломбы. Э нет, так не пойдет. Это надо проверить.

— Принеси щипцы!— велел Пауль. Еврей упал на колени и начал умолять старосту сжалиться над ним.

— Ну зачем тебе зубы, дурень?— утешал его Янкель.— Все равно есть нечего.

Горемычный, чувствуя приближение смертного часа, поднял отчаянный крик. Янкель схватил его за ноги ниже колен, поднял и опустил головой в бочку. Некоторое время слышалось бульканье, затем и оно прекратилось.

— А ты чего здесь торчишь?— Староста только теперь заметил меня. — Марш отсюда!

Я пулей вылетел из туалетной и через минуту уже лежал на апельплаце среди других узников. Меня трясла лихорадка...

Перед вечерним апелом Пауль приказал нам строиться «на медосмотр». Эта операция сводилась к тому, что Янкель, Плюгавый и еще три холуя перегоняли пятерки узников с одной стороны площадки на другую. При этом они внимательно заглядывали в рот каждому. В результате «медосмотра» было обнаружено шесть «золотых гефтлингов»... Эти недосмотры эсэсовского контроля наворачивали Пауль и его подручные. Обнаруженное золото становилось добычей старосты блока.

Шестерых узников повели на «собеседование» в туалетную комнату. Вскоре пятеро из них вернулись с окровавленными ртами, а шестой навсегда распрощался с жизнью...

Глава 11

Не верилось, что пошел только четвертый день моего пребывания в Освенциме. Сколько горя и мук пришлось испытать за это время! В моем слабом, измученном теле угасали последние силы. А умирать так не хотелось!

Я лежал на площадке перед блоком. Вокруг меня вповалку лежали иссохшие, опухшие от голода люди с погасшими глазами. Лежали молча,

неподвижно, стараясь не двигаться, чтобы подольше сохранить жалкие остатки сил.

Глядя на этих страдальцев, которых ждет неминуемый конец в крематории, я знал, что каждый из них, как и я сам, на что-то надеется, ждет чуда. Иначе почему не кончить со всем этим сразу?

С двух сторон наша площадка была ограничена каменными стенами двухэтажных блоков — нашего и соседнего — четвертого. С третьей открывалась панорама лагеря с видом крематория; четвертой стороной площадка упиралась в многорядные проволочные заграждения, над которыми возвышалась вышка часового. Его пулемет был нацелен прямо на нас.

Мой взгляд остановился на вышке. Время от времени часовой попивал из термоса и от нечего делать напевал скрипучим голосом песенку, всего в несколько слов: «Эс, гейц аллес форибер, эс гейц аллес форбай, нах дем айн децембер комт иммер видер айн май», что означало: «Все проходит, все минует, а после каждого декабря неизбежно наступит май...»

Да, май придет, будут весны, много весен, но для кого? Для убийц они будут цвести на земле? А наш пепел развеют по полям Германии?

Эсэсовец перестал петь. Облокотившись на пулемет и безмятежно зевая, он некоторое время глазел на нас, явно томясь от скуки. Но вот он достал из ранца полбатона, завернутого в газету. Газету разложил на перилах вышки и стал крошить хлеб на мелкие кусочки, как крошат его голубям. За ним наблюдали сотни пар глаз.

Нашу площадку отделяла от проволоки полоса; смерти. Она была шириной в четыре метра, проходила по всему периметру проволочного заграждения и со стороны территории лагеря обозначалась белой линией. Так на стадионах разграничивают одну от другой гаревые дорожки. На белой линии лагерной полосы смерти стояли белые таблички с нарисованными на них чёрными черепами со скрещенными костями, подобные тем, какие бывают на столбах высоковольтных линий. Если кто-либо из узников переступал полосу, по нему стреляли без предупреждения. Полоса смерти преграждала подступ к проволочным ограждениям.

По-видимому, эсэсовец, потехи ради решил проверить, как усвоили это правило узники карантинного блока. Вот он загреб пригоршнями раскрошенный на газете хлеб и, свесившись с вышки, сильным броском перебросил хлеб к нам на площадку. Бросок он рассчитал точно: часть попала на край площадки, а часть рассыпалась на зловещей полосе. Несколько узников, которые были порезвее и среагировали раньше других, кинулись собирать крошки. Десятка два других безумцев стремглав

бросились вслед за ними. Возникла свалка. Запретная зона была нарушена. Это как раз и требовалось эсэсовцу. Тишину разорвала резкая дробь пулемета. Просвистели трассирующие пули. Они видны были даже днем и казались огненными черточками, пронизывающими горячий воздух. Мгновение жуткой тишины и вслед за этим — крики и стоны раненых. Еще одна очередь рассекла воздух, а потом оглушительный хохот на вышке.

Из блока вышел заспанный Плюгавый. Он быстро сообразил, что произошло. Презрительно посмотрел на раненых, отползающих от полосы смерти, и сказал: «Наелись? Так вам, падлюкам, и надо». После этого повернулся лицом к эсэсовцу и, сделав «мютцен ап», попросил разрешения унести убитых и раненых.

— Да, да, забирайте это дерьмо, чтоб не воняло, — ответил эсэсовец.

Явились проминенты. Они тащили убитых в туалетную. В душу каждого из нас заползало беспросветное отчаяние.

И тут произошло чудо, которого никто не ожидал. Оно заставило нас на время забыть все ужасы Освенцима, заставило вспомнить, что каждый из нас — человек.

Было за полдень. Солнце палило немилосердно. На горячем песке перед блоком лежали кучи полумертвых, высохших от голода и жары узников. И вдруг из этой груды полуживых мертвецов, в нескольких шагах от меня поднялся юноша и запел. Сильным, каким-то серебряным тенором.

Чистый, спокойный голос, полный чарующей поэзии, выводил такую близкую и родную каждому русскому сердцу песню:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля —
Это русское раздолье,
Это Родина моя...

Люди слушали, затаив дыхание. У многих по щекам катились слезы. Сейчас все мы были далеко отсюда, на Родине. А волшебник бередил сердца, растрavлял души:

Вижу горы и долины,
Вижу реки и моря —
Это русские картины,
Это Родина моя.

Юноша этот и его песня, казалось, пришли сюда из другой, навсегда ушедшей жизни.

Мягкая, мечтательная улыбка то и дело скользила по лицу юного певца.

Слышу пенье жаворонка,

Слышу трели соловья —
Это русская сторонка,
Это Родина моя...

Бывает же так, природа вдруг расщедрится и одарит одного человека и красотой, и чарующим голосом, и добрым сердцем.

Возле меня лежал тяжело больной, вконец обессиленный человек. С трудом он приподнялся на локте и присел.

— Боже, какая душа у этого хлопца,— дрогнувшим голосом сказал старик.— Какая красивая душа! Спасибо, сынок! Теперь уже и помирать можно.

— А вы не умирайте, отец,— мягким, бархатным голосом отозвался юноша. И запел мою любимую песню. Это был «Орленок» — песня моего поколения, гимн комсомольцев тридцатых годов.

Я слушал ее, а в груди что-то ширилось и плавилось, к горлу подкатывал горячий ком. Ни до этого, ни после мне не приходилось видеть, чтобы песня могла такое сотворить с людьми! Распрямялись согбенные спины, расправлялись плечи, глаза излучали внутренний огонь, оживали суровые черные лица. Казалось, кинь в эту минуту боевой клич, все эти люди в едином порыве устремятся на колючую проволоку, на вышки, под пулеметный огонь и сметут все на своем пути. Две тысячи сердец бились в унисон, напряженно вслушиваясь в каждый звук, в каждое слово песни.

Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел...

Я слушал певца и думал, узнает ли когда-нибудь моя мать, как расстреливали ее сына, как калечили, издевались над ним? Неужели мне суждено навеки остаться в списках «пропавших без вести»?..

А волшебник все пел и пел. За «Орленком» последовала украинская «Черные брови, карие очи», за ней — белорусская, польская, чешская...

Я увидел, как к юноше подошел и тот человек, что дал мне кусочек хлеба и которого я так тщетно пытался разыскать в массе узников.

— Спасибо, друг. Ты подарил нам неповторимые минуты человечности и красоты.— Он крепко обнял парня и расцеловал.

— Давайте сядем, поговорим,— преодолевая охватившее его смущение, сказал певец и оглянулся. Возле меня было немного свободнее, и юноша опустился рядом.

Возле него сел и мой щедрый знакомый. Они разговорились. Говорил больше пожилой, а юноша слушал его рассеянно, не сводя глаз с моих рук.

Наконец он спросил:

— Что у тебя с руками?

— Следы допросов,— ответил я.

— Гестапо?

— Оно самое.

— В лагерях давно?

— Четырнадцать месяцев...

— Ему надо помочь. Парень совсем упал духом, — вмешался в разговор его пожилой собеседник.

— Что-нибудь придумаем. Прежде всего нужно найти врача и лекарства. Ведь он гниет заживо. Как тебя зовут?

— Вадимом.

— А меня Георгием, Жорой,— приветливая улыбка осветила его красивое смуглое лицо. — Давай дружить. Согласен?

Мы крепко пожали друг другу руки.

— Принимайте и меня в свою компанию. А зовут меня...— наш старший товарищ запнулся. — Зовите меня дядей Ваней. — Он заговорщицки подмигнул нам и усмехнулся.

Я догадался, что дядя Ваня скрывает свое настоящее имя. Очевидно, на это имелись серьезные причины. Я уже знал, что ни один подпольщик в лагере не назовет себя.

Я был рад встрече. Просто не верилось, что в этом аду могут быть такие люди. Георгий с первой же минуты вызывал к себе безграничное доверие.

К нам подошел штубовый и, протянув Жоре ломоть хлеба, сказал:

— Возьми от блокового. Ему очень понравилось твое пение. Захочешь есть — валяй ко мне, миска баланды и кусок хлеба найдутся.

Жора вежливо поблагодарил, а когда штубовый ушел, сказал:

— Такой же негодяй, как и Бандит, но от хлеба отказываться нельзя.

Впоследствии мне не раз приходилось видеть, как некоторые лагерные придурки, садисты и палачи, старались нажить дешевую славу добрых меценатов. Даже эсэсовец Ауфмайер любил слыть добряком. Но бывали и более парадоксальные случаи «справедливости» и «благородства». Они вершились профессиональными преступниками из крупнокалиберной обоймы, такими как Рудольф Гесс и ему подобные. Все эти обер-палачи уничтожение сотен тысяч людей считали делом справедливым, обычным и естественным, равно как и уничтожение целых народов, отнесенных Гитлером к категории «низшей расы». И тем не менее некоторые из этих душегубов любили поиграть в «гуманность».

Так, например, в блоке № 15 сектора В-1 в лагере Биркенау постоянно находилось около тысячи детей различных национальностей. Иногда их скоплялось и более двух тысяч. В этом блоке, как и во всех других, периодически проводились селекции, в результате которых истощенных сжигали в крематории. Однажды после очередной селекции несколько десятков детей погрузили в грузовик и повезли. Двенадцатилетний мальчик выпрыгнул из машины, крича отчаянным голосом, и бросился бежать к своему блоку: «Я не хочу в крематорий! Я хочу работать!» У подростка был необычайно сильный голос. «Я не хочу в крематорий! Я хочу работать!» — разносилось буквально по всему лагерю.

В это время вблизи находился Рудольф Гесс, Он был поражен голосом. Выяснив, в чем дело, Гесс приказал накормить мальчугана, помыть, одеть и отправить в центральный освенцимекий лагерь, где сделал его своим личным лойфером. С тех пор — это было в июне 1943 года — все узники центрального лагеря ежедневно слышали необычайно звонкий голос мальчика, передававшего команды и распоряжения лагерфюрера и его заместителей. Юного курьера хорошо кормили и одевали. Мальчик пережил Освенцим и был эвакуирован в Маутхаузен.

Был в Освенциме и «покровитель талантов» в лице главного старосты лагеря Бруно. Он прибыл в Освенцим с первой партией узников, был первым нумерованным гефтлингом и имел порядковый освенцимекий № 1. Он был первым старостой Освенцима, затем стал лагер-эльтестером в Явожнинском лагере смерти — филиале Освенцима. Этот «почетный гефтлинг» Аушвитца любил организовывать нечто вроде художественной самодеятельности, в концертах мог принимать участие любой узник, обладавший хорошим голосом или умевший танцевать. Отличившихся Бруно награждал буханкой хлеба и миской баланды. Однако это не мешало «поклоннику и защитнику талантов» убивать десятки узников ежедневно.

Жора тут же разделил ломоть на несколько частей, дал мне, умирающему старику, дяде Ване и кусочек оставил себе,

И я подумал, что недаром отдал свою миску баланды старику. Дал я, дали и мне. Моя бабушка, бывало, говорила: голодного накорми, жаждущего напои — и тебе сторицей воздается.

К нам подсели десятка три узников. Завязался общий разговор. Говорил в основном дядя Ваня, остальные слушали, изредка вставляя слово или фразу.

Вначале дядя Ваня соблюдал осторожность, но смысл его слов хорошо понимали все: держаться сплоченнее. Видимо, в армии он был комиссаром или политруком, так как вскоре, забывшись, заговорил горячо, страстно о

том, что мы не должны, не имеем права ждать, пока из нас выжмут всю силу, а потом умертвят...

— Нужно бороться!..— подытожил он.

— Какая здесь может быть борьба? — зло возразил долговязый узник со шрамом на подбородке. — Тут знай одно: прямым сообщением в крематорий!

Дядя Ваня вместо ответа повернулся ко мне:

— Вы лучше спросите этого паренька, за что его искалечили на допросах? Расскажи людям...

— Я семь раз бежал из лагерей.

— Слышали? А это ведь мальчик, восемнадцати лет... Он не был в Красной Армии, не принимал воинскую присягу...

Из блока один за другим начали выходить проминенты. Разговор прервался. Заспанных придурков выгнал на площадку Плюгавый. По освенцимским законам вылеживаться узникам, даже и проминентам, не разрешалось. Только Пауль мог позволить себе спать сколько угодно.

Вслед за холуями вышел и сам Плюгавый. Несколько раз заразительно зевнул, почесался и приказал строиться.

Глава 12

В Освенциме была своя система построения узников: их ставили в развернутую колонну по десять человек в ряду спинами к блоку и строго по ранжиру, но с таким расчетом, чтобы впереди стояли самые низкорослые, а в последней десятке в глубине колонны — самые высокие. Делалось это для того, чтобы блокфюрер при пересчете мог видеть перед собой всех узников. Нас ежедневно муштровали по несколько часов кряду. При этом каждая такая муштра сопровождалась суматохой, давкой и избиениями. От нас требовали идеального ранжира, а этого не так просто было добиться, ведь десятки людей были одного или почти одного роста. Станет, например, узник во второй ряд, а его бьют дубинкой, перегоняют в третий, затем в четвертый. Теоретически все это просто: запомни свой ряд, место в нем и по команде «Антретен!» становись на свое место в строю. Практически же получалось совсем другое. Дело в том, что ежедневно в блоке умирали пятнадцать-двадцать человек, а иногда и больше, и, конечно же, не по ранжиру. Вместо них ежедневно прибывало пополнение. Легче всего было мне: ниже меня не было никого. Поэтому один я имел постоянное место в первой шеренге — последний ряд. Как только раздавалась команда «Антретен!», я стремглав бежал на левую сторону площадки и становился первый в последнем ряду. Это позволяло мне хотя бы здесь избегать побоев. Но, с другой стороны, это же обстоятельство

таило в себе большую опасность. Я со своими мишенями штрафника постоянно мозолил глаза начальству.

На этот раз тренировка продолжалась непрерывно четыре часа. Два часа отработывали команды «Антретен!» и «Вектретен!»*, а два часа — команды «Мютцен ап!» и «Мютцен ауф!»**. От нас требовалось, чтобы по команде «Мютцен ап!» вышел «айнкляп», то есть одновременный удар шапками о правое бедро, а по команде «Мютцен ауф!» надлежало молниеносным движением бесшумно надеть шапку и опустить руку. Начальству безразлично, как будет сидеть на твоей голове эта шапка. Важно, чтобы ее надевали молниеносно и одновременно.

После четырех часов упорных тренировок мы достигли определенных успехов — до автоматизма отработали все свои движения и выполняли команды довольно организованно и четко. Велика ли важность, что нескольких неудачников заштабелевали в туалетной? Всякая наука требует усилий и даже жертв...

* Разойдись! (нем.).

** «Шапки снять!» и «Шапки надеть!» (нем.).

Сразу же после окончания тренировок нас снова построили. На этот раз на вечерний аппель. Пришел Ауфмайер. Он сиял, как новая копейка. Все на нем сверкало, начиная с лакированных туфель и кончая пуговицами, ремешками, пряжками. На идеально выутюженном парадном костюме красовался Железный крест. Докладывал Ауфмайеру староста Пауль. От пьянки и сна он весь распух и не говорил, а сипел.

Когда лагерная сирена возвестила конец аппеля, Ауфмайер милостиво разрешил нам идти спать в блок.

Я чуть-чуть задержался на площадке, чтобы избежать давки. Ко мне подошли дядя Ваня и Жора.

— Давайте облюбруем где-нибудь место в штубе, чтобы быть вместе,— предложил Жора.

— Вот это уж ни к чему,— строго оказал дядя Ваня.— Собираться всем вместе, чтобы лагерным стукачам было удобнее следить за нами? Вы вдвоем устраивайтесь вместе, а я отдельно. Главное теперь поддержать мальчика: он потерял все силы. Я видел, как начальник конвоя стрелял ему в затылок.

Напоминание о жестокой выходке эсэсовца острой болью сковало сердце. Я не смог сдержать слез и рассказал своим друзьям, как меня уже расстреливали в краковской тюрьме.

— А вчера я наткнулся на драгоценный обруч,— и я посвятил их во все подробности. — Что теперь будет — сам не знаю.

Дядя Ваня обещал что-нибудь придумать.

Георгий пошел на заработки к штубовому, а мы остались на площадке. Через несколько минут из комнаты штубового к нам донесся мягкий, бархатный голос. Жора пел песню про Степана Разина. Под окном собралась целая толпа желающих послушать певца.

Справа от нас ярко горела освещенная сотнями мощных электрических ламп полоса проволочного ограждения, слева, в отдалении, надсадно дышал крематорий. А здесь из окна лилась и томила щемящей тоской будоражащая, мятежная русская песня о славном донском казаке, о грозных его побратимах и могучей русской реке Волге.

Песня о Степане Разине была очень популярна в Германии в годы войны. Трудно даже объяснить причину этого, так как немцы либо совсем не знали слов, либо безбожно коверкали их.

Пожалуй, весь секрет заключался в мелодии. Так или иначе, а песню о Разине пели рабочие и бюргеры, солдаты и офицеры вермахта, пели даже освенцимские эсэсовцы. А мы, освенцимские узники, связывали с этой песней надежду на освобождение, она вселяла в нас веру в неминуемую победу нашей Родины.

Вскоре сирена протрубила отбой, и к нам вышел Жора. Лицо его светилось радостью.

— Ну что ж,— сказал он,— дебют, можно сказать, превзошел все ожидания. Освенцимская аристократия признала меня. Теперь будет хлеб, будет и к хлебу, Малыш!— Он обнял меня за плечи и сказал: — Ох и живут же, гады! В комнате собралось десять немцев, все как один с зелеными винкелями. Стол заставлен яствами. Чего там только не было! На стеллажах посылки с продуктами. На плите кипит кофейник. Все как в сказке. Завтра пойду с визитом вежливости к самому Паулю. Говорят, он очень любит музыку. Недаром играет на губной гармошке.

— Сколько ты знаешь языков?— спросил Жору дядя Ваня.

— Свободно владею семью. Но об этом после, а сейчас, Малыш, пошли спать. Нам еще нужно подыскать подходящее место.

Мы распрощались с дядей Ваней и отправились в штубу. Пообещав двум «мусульманам» по миске баланды, Жора обменял у них место на первом ярусе, и мы улеглись.

— Понимаешь,— шепотом говорил мне Жора,— здесь и не так жарко, и воздуха больше, и угол укромный, меньше «простреливается» начальством. Да и ночью над головой не горит лампочка. А в случае необходимости можно юркнуть под нары.

Минуту спустя он уже спал сном праведника. А я никак не мог заснуть

от нервного перенапряжения. Легко сказать, я ведь уже прощался с жизнью, а тут вдруг судьба снова улыбнулась мне.

Ночью я несколько раз просыпался, испуганно проверяя — здесь ли Жора. Он лежал на месте и улыбался во сне своей обаятельной и доверчивой улыбкой.

Глава 13

Во вторник я проснулся задолго до подъема. Меня трепала лихорадка, в висках назойливо стучали молотками докучные кузнецы. Я очень продрог. Чувствовал себя так, словно меня целую ночь толкли в ступе. Неужели заболел? Заболевших не лечили. Их без всяких проволочек отправляли в крематорий.

Когда прозвучала сирена подъема, проснулся и Жора. Я сказал, что заболел. Мой новый друг пощупал у меня пульс, лоб и, убедившись, что я действительно болен, заволновался. Сгоряча он уже хотел было идти к штурбовому, чтобы тот упробил Вацека не посылать меня на работу. Но, взвесив все, решили, что это чревато последствиями: под маркой медосмотра Вацек может попросту отправить меня в газовую камеру, еще и скажет потом, что я умер «естественной» смертью.

Прогудела сирена, оповещая построение на аппель. Я простился с Жорой и в полнейшем равнодушии к своей судьбе стал в строй.

Ауфмайер лично дважды пересчитал нас, потом в сопровождении сонного удава — Пауля, который прохаживался перед строем с тяжелой дубинкой в руках, отправился в туалетную считать умерших «естественной» смертью. К счастью, ни Ауфмайер, ни Пауль не заметили моего состояния.

Вскоре блокфюрер отправился на доклад к рапортфюреру, а через некоторое время, как всегда, примчался мордатый Адольф. На этот раз понадобилось целых двадцать пять узников. Вацек велел всем штрафникам выйти из строя и построиться отдельно. Но их было всего семь человек. Я стал на левый фланг шеренги. Скользнув по нас взглядом, Адольф тут же забраковал меня и еще одного доходягу — «мусульман», дескать, ему не нужно. Рассердившись, Плюгавый заявил, что пусть Адольф в таком случае выбирает сам кого хочет. И Адольф выбрал двадцать пять человек по своему усмотрению. Среди них оказался и дядя Ваня.

После отправки рабочих команд лагерь опустел. В нем остались только те, кто работал в канцеляриях, мастерских, на кухне, в бане, в прачечной и прочих службах, а также узники карантинных блоков.

Утренние часы после отправки рабочих команд проминенты использовали, чтобы отсыпаться. Тем временем «организаторы»

отправлялись на промысел. Под видом «квалифицированных рабочих» они ходили с кожаными или клеенчатыми сумками через плечо, куда маскировки ради запихивали различный инструмент, мотки проволоки. Все эти «электрики», «сантехники», «столяры», «слесари», и «парикмахеры» благодаря покровителям — эсэсовцам — шастали по всему лагерю, проникали даже в центральные канцелярии, казармы и команду «Канада».

После развода арбайтскоманд узники карантинных блоков опускались прямо на брусчатку перед блоком и погружались в сон. В шлафзалы их не пускали: там в это время штатные уборщики за миску баланды трудились в поте лица, прибирая помещения, наводя блеск, и этим уборкам никогда не было конца.

Сразу же после развода ко мне подошел Жора и на радостях обнял.

— Повезло, Малыш! Ты посиди, а я мотнусь в блок: может, разживусь чем-нибудь съедобным. Потом поищу для тебя доктора, не может быть, чтобы среди тысяч людей не нашлось врача. Ты отдыхай, а я пойду на разведку.

Жора долго не возвращался. Я сидел на земле и дрожал. Утро было прохладное. Солнце уже взошло, но его еще не было видно за каменными зданиями блоков. Узники лежали прямо на земле и дремали, положив головы друг другу на колени. Я с трудом сидел, но лечь не решался, боялся простудиться еще больше.

Наконец появился Жора. Он был угрюм и зол.

— Все проминенты попрятались по своим норам, а пипли и прочая требуха — это ведь мразь,— сказал он.— За миску баланды готовы сами друг другу горло перегрызть. Придется ждать, пока проснутся киты.

Он подсел ближе положил мою голову к себе на колени, стараясь хоть как-нибудь меня согреть, но с каждой минутой мне становилось все хуже.

— Жора,— сказал я.— Прошу тебя, если вырвешься из этого ада и попадешь на Украину, заскочи в Сквиру. Запомни: улица Стаханова, двадцать два.

Я рассказал ему о своих мытарствах по гитлеровским тюрьмам и лагерям. Рассказал и о том, как был осужден на казнь.

— Наверное, это заражение крови,— сказал я под конец.— Надежд на спасение нет...

Жора как только мог успокаивал меня, а сам чуть не плакал.

В это время на площадке появились два гефтлинга. По нашивкам на куртках легко было определить, что один немец, другой русский. Оба политические. Полосатая лагерная форма на них была чистой, хорошо пригнанной, вместо деревянных гольцшугов у обоих на ногах —

добротные кожаные ботинки. Но главное — шапки. По тому, какая на узнике шапка и как он ее носит, можно было безошибочно определить, новичок это или бывалый гефтлинг.

Шапка в лагере стала мерилом благополучия, визитной карточкой. На голове у новичка она сидела как попало, лопухом. Сшитая из грубой полосатой мешковины, шапка своей формой напоминала старушечий чепчик минувшего столетия. Окончательно истощенные узники — «мусульмане» — осенью и зимой натягивали мютцен на уши и глаза, чтобы хоть немного защититься от холода.

Бывалый узник, проживший в лагере первые полгода, чаще всего заказывал мютце у лагерных портных, работавших тайком и обменивавших свой товар на продукты. Шилась она из той же полосатой мешковины, но с подкладкой и имела картонную или суконную прокладку внутри, что обеспечивало нужную форму. В такой бескозырке у узника появлялся даже молодцеватый вид, а это свидетельствовало о том, что он преодолел тяжелую душевную депрессию и голод и полон решимости выдержать любые испытания. «Передовым» гефтлингам, таким, как Пауль, шапки выдавали из синего сукна.

Эти двое, пришедшие в наш блок, были в сшитых на заказ шапках, что свидетельствовало об их привилегированном положении. Они пристально оглядывались вокруг, очевидно, кого-то искали.

— Кого вы ищете? — спросил Жора.

— Земляков, киевских, — ответил узник с буквой «R» на винкеле. Он был среднего роста, широк в плечах. На лице его, хмуром и суровом, выделялись пшеничные усы, подстриженные щеточкой.

— Вот ваш земляк, только он очень болен, — сказал обо мне Жора.

Оба незнакомца подсели к нам, проверили номер на моей куртке, сверили его с клеймом, вытатуированным на левой руке, потом нащупали пульс, и только после этого русский сказал:

— Его мы и искали. Мы от дяди Вани. Звать меня Антонычем. А это мой друг Ганс. Мы работаем в пошивочных мастерских.

У меня сразу отлегло от сердца. Заметно повеселел и Жора.

— Пошли в помещение, время не ждет, — сказал Антоныч.

— А вы знаете, какой у нас блоковый? Если попадемся ему на глаза... — забеспокоился Жора.

— Да знаем, но мы найдем к нему ключ...

Меня поддерживали с двух сторон, но я с трудом передвигал ноги. Перед глазами качалась земля иплыли оранжевые круги.

Перед входом в блок сидел дневальный.

— Мы по делу,— с независимым видом сказал Антоныч и ткнул ему в руки пачку сигарет. Ошарашенный щедростью гостей, дневальный вскочил, вытянулся в струнку и ни с того ни с сего гаркнул:

«Яволь».

Надо сказать, что табак и сигареты в лагере были самой дорогой и самой ходкой валютой, которой можно было подкупить любого блокового, капо, писаря, не говоря уже о более мелких холуях. В Освенциме даже пайку хлеба можно было выменять за две сигареты в любом блоке, в любую пору дня и ночи.

Вторая пачка сигарет развязала язык дневальному, который оберегал сон и покой штабового Зингера и плюгавого Вацека. Он сказал, что пана штубенэльтестера и пана шрайбера должен разбудить через час, а пана блокэльтестера, то есть Пауля, который жил в отдельной комнате, никто, кроме Вацека, будить не имеет права. Обычно он спит до обеда.

Получив информацию, мы пошли в глубину лабиринта из четырехъярусных нар, где было наше с Жорой место.

Тут меня раздели догола, и Ганс, который оказался хирургом, внимательно осмотрел раны, ссадины и кровоподтеки на моем теле. Кроме большого количества ран на руках, бедрах и на спине, которые я получил на «объекте икс» и в краковской тюрьме, у меня было уже и два освенцимских «гостинца»: твердый распухший рубец на пояснице и большая рана на голове. Семь пальцев, под ногти которых садист Краус вогнал остро заточенные спички, гнили, не заживая.

— Нужно снять ногти на семи пальцах, очистить их от гноя, вправить сломанные мизинцы, поставив на них шины, и продезинфицировать все раны...— тоном, не допускающим возражения, сказал Ганс.— Для операции у меня есть все,— он похлопал рукой по вместительной кожаной сумке, откуда торчали слесарные инструменты.— Все, кроме обезболивающих средств. Тебе, мой мальчик, придется немного потерпеть. Согласен?

Возражать было бессмысленно. Меня накормили и напоили настоящим черным сладким кофе. Это должно было немного взбодрить, придать сил.

Операции я не страшился. Пугало другое: а вдруг наскочит кто-нибудь из эсэсовцев или Пауль? Я понимал, что Ганс и Антоныч помогали мне, подвергаясь смертельной опасности, и сказал им об этом.

— Волков бояться — в лес не ходить,— сурово ответил Антоныч.

Операция, длившаяся более часа, была мукой страшнее всех пыток, которые мне довелось испытать. Когда я не выдерживал и начинал кричать,

Жора зажимал мне ладонью рот, и я только мычал, корчась от боли и теряя сознание. Тогда я словно сквозь кровавый сон слышал успокаивающий голос Антоныча:— Терпи, терпи, казак...

И под конец слова Ганса:

— Нох айн маль, нох айн маль, ганц веник, унд дан ниht мер, унд дан фертик...*

*Еще разок, еще разок, совсем немного, и все, конец... (нем.).

Погрузившись в небытие, я ощутил, что боль, которая так мучила меня, резко спала. Я пришел в себя, открыл глаза и увидел, что лежу на нарах, а надо мной склонились Мои спасители... Удивительно четко заработал мозг: как же благодарить мне этих людей?

Смоченным в спирту бинтом Ганс вытирал свои окровавленные руки и устало улыбался. Он напомнил мне тех немцев из аварийной команды на шахте «Гогенцоллернгрубе», которые откапывали нас во время обвала.

— Мне уже не больно, — сказал я сквозь слезы.

— Я знал, я верил, что выдержишь, а ты должен верить, что поправишься. Фашисты мучили тебя, чтобы отнять жизнь, я же вынужден был еще раз тебя помучить, чтобы жизнь вернуть. Не взыщи, мой мальчик...— сказал Ганс, как бы прося прощения.

Я смотрел на Ганса так, как смотрят на человека, которого хочется запомнить на всю жизнь. У него был тихий голос, мягкие, интеллигентные манеры, приятное лицо, голубые чистые глаза. Стальными опилками отливала преждевременная седина... Позже я узнал, что Гансу было всего тридцать лет.

Не знаю, где теперь живет и что делает хирург из Кельна бывший узник Освенцима коммунист Ганс Максфельд. Если он жив, то пусть узнает, что я, а вместе со мной и сотни освенцимских узников, которым он спасал жизнь, склоняемся перед ним за его высокое мужество, душевную доброту, человечность,

Они сердечно простились со мной и ушли, а я лежал и думал о том, что все-таки на свете много хороших людей...

Через каких-нибудь полчаса в шлафзале появились штубовый, Вацек, Жора, а за ними снова Ганс и Антоныч. Они направлялись ко мне. Я было попытался встать, но Плюгавый великодушно махнул рукой: лежи, мол! И я понял, что вопрос обо мне решен.

— А-а, это хундertaйнундрайсикхундertaйнундзехцик!— воскликнул Плюгавый. — Тем лучше. Вчера блокфюрер благожелательно отнесся к нему, а я дал ему добавку зуппе. Сегодня — все видели — я пожалел его и не послал на работу в штрафную команду. А с Паулем сами

договаривайтесь, а то в случае чего... Вы меня не знаете, а я вас...

Таков уж был Плюгавый Вацек. Он мог прикинуться кем угодно, даже сестрой милосердия, мог оказать и настоящую помощь — за соответствующую мзду, конечно. И возможности у него были большие, поскольку он являлся третьей фигурой в блоке после блокфюрера Ауфмайера и блокэльтестера Пауля. Этот сухопарый, замшелый сморчок, плешивый и тощий, как бездомная собака, обожал взятки. Любил брать, но умел и давать, за что прочно сидел на занимаемой должности, и это ни для кого не было секретом. От него зависело многое. Потому-то мои друзья и решили использовать Плюгавого.

Я заснул. Проснулся, поворачиваю голову — мне улыбается Жора и показывает взглядом на две миски супа, пайку хлеба и кусочек колбасы. Оказывается, все это он раздобыл для меня у Плюгавого.

Пока я ел, друг рассказал мне об условиях договора между Гансом и Антонычем, с одной стороны и Вацеком и штубовым Зингером — с другой. Ганс и Антоныч недаром слыли бывальными гефтлингами. Когда они зашли к Вацеку и штубовому Зингеру, те вначале встретили их неприязненно. Но после того как Ганс дал им по три пачки сигарет, проминенты сразу же раздобрились.

— Вы прекрасно понимаете,— начал Ганс,— что в лагере человек без связей и друзей — ничто. Наше знакомство может быть обоюдно выгодным. Это мой друг Иван,— Ганс показал на Антоныча.— Он старший портной пошивочной мастерской и может сшить вам по костюму. Костюмы будут люкс. Я же дам вам по две пары шелкового белья, а как задаток примите подарок,— с этими словами Ганс выложил перед эсэсовскими холуями электрический чайник. Следует заметить, что электрические чайники ценились проминентами на вес золота. В них они готовили себе чай, кофе, кипятили воду — сырая вода в Освенциме была непригодна для питья.

— А что вы хотите взамен?— спросил Вацек, которому такой деловой разговор пришелся явно по душе.

— Немного,— ответил Ганс.— В вашем блоке живет брат Ивана. Сейчас он болен. Нужно ему помочь стать на ноги, чтобы он немного окреп. Сделайте его дневальным или раздатчиком пищи. А пока он поправится, надо, чтобы его не замечали.

— Согласны,— ответил и за штубового и за себя Плюгавый.— Только пусть выходит на аппели и другие построения, которые будет проводить Ауфмайер.

— Ну что ж, договорились,— обрадовался Ганс.

— Слово гонору!* — с пафосом воскликнул Вацек.

* Слово чести! (польск.).

Плюгавый сдержал свое слово. Ни он, ни штабовый, ни остальные проминенты, включая и бесноватого Янкельпмока, «не замечали» меня. «Не замечали» и того, что Ганс ежедневно приносил мне продукты, делал перевязки. Ганс и Антоныч так же скрупулезно выполняли все пункты соглашения. В Освенциме принцип «я тебе, а ты мне» был незыблем. Я поправлялся, набирался сил, И все это благодаря моим новым друзьям — подпольщикам, участникам освенцимского движения Сопротивления.

Глава 14

Первоначально Освенцим был задуман как лагерь для советских военнопленных. Позже, когда у Гитлера созрела идея «окончательного решения еврейского вопроса», Освенцим расширили, переоборудовали и превратили в гигантский фернихтунгслагер — лагерь уничтожения.

Уже в июле 1941 года в Освенцим начали прибывать первые эшелоны. В девять громадных блоков эсэсовцы умудрялись загонять по несколько десятков тысяч человек. Эти блоки огородили колючей проволокой, и получился еще один лагерь с так называемой двойной изоляцией. Эсэсовцы боялись держать советских людей вместе с другими узниками. В строго изолированный тюремный блок № 11 со страшным бункером загнали командиров и политработников, считавшихся особо опасными. Он находился в непосредственном ведении гиммлеровского главного Управления имперской безопасности. Советских военнопленных пропускали через газовые камеры и крематории вне всякой очереди, как врагов номер один. Из двух с лишним миллионов советских людей, которые погибли в Освенциме, большинство составляли военнопленные.

Первым восставшим узником в этом лагере смерти был наш красноармеец. В марте 1942 года во время Работы на дровяном складе он зарубил топором эсэсовца. Всех работавших в этой команде пленных расстреляли. После этого случая длительное время советских военнопленных на работы не посылали.

Гитлеровцы решили подкупить отдельные группы военнопленных и натравить их на остальных узников. Так в 1942 году они отобрали сто человек советских солдат и офицеров и поставили их в привилегированное положение: хорошо кормили, на работу посылали на продовольственные склады. И, когда фашистам показалось, что «обработка» удалась, они стали посылать их одних, без контроля, на поиски беглецов в зонах оцепления.

Однажды, когда «привилегированные» искали беглеца на самой границе внешнего кольца большого оцепления, они опрокинули

сторожевую вышку вместе с эсэсовцами, которые там находились, убили их и, забрав оружие, бежали. Бежали, как говорится, «с концами»: ни живых, ни мертвых из этой группы в лагерь не привезли. В те времена каждого пойманного беглеца в назидание другим вешали перед строем узников. Строго придерживаясь этого правила, вешали даже убитых.

Эсэсовцы больше не производили подобных экспериментов. Советских военнопленных они не ставили потом ни на одну проминентную должность.

Среди двух тысяч лагерей фашистской Германии Освенцим был единственным, где за всю его историю ни один советский гражданин не занимал ни одной командной внутрилагерной должности.

Отважный побег группы советских военнопленных имел большой резонанс в лагере. Он приободрил узников, укрепил их волю, поддержал решимость бороться. Побег из Освенцима участился.

После каждого удавшегося побега эсэсовцы убивали какого-нибудь узника вместо непойманного, обезображивали его до неузнаваемости, и труп клали у ворот, где проходили арбайтскоманды, или же вешали на глазах узников, объявляя, что убитый — гефтлинг, который пытался бежать. Мистификации сразу же обнаруживались подпольщиками, работавшими в центральных канцеляриях, в частности в отделе карточек, где строго сверялись номера всех живых и мертвых. Фальшивка становилась достоянием всего лагеря, и тем не менее эсэсовцы по заведенному шаблону многократно повторяли ее.

На первых порах советские военнопленные держались обособленно, проявляя максимум осторожности. Это объяснялось тем, что среди них были офицеры высоких рангов и крупные политработники, фамилии которых необходимо было сохранить в тайне.

Первыми, кто установил контакт с советскими людьми, были чешские подпольщики. Трудно было догадаться, что один из пленных, пожилой уже человек, подметавший в лагере плац, был генералом Красной Армии и руководил тайной организацией военнопленных.

Некоторое время в Освенциме находился и легендарный Карбышев, являвший собой великий пример мужества и стойкости.

Освенцимское антифашистское подполье зародилось с первых дней создания лагеря, то есть с мая 1940 года. Подпольные группы были в каждом блоке, в каждой арбайтскоманде, но были они поначалу узконациональные, разобщенные между собой. В этом и заключалась слабость периода организации и становления движения Сопротивления. В результате постоянного перемещения узников, невероятно высокой

смертности; постоянного притока новых заключенных многие подпольные группы распадались и прекращали свое существование, не успев окрепнуть. Большие задачи были им не по плечу. Справедливо разделить баланду, оказать посильную помощь больному и истощенному, распространять среди товарищей информацию о положении на фронтах, добывать дополнительное питание — вот круг задач, которые ставили перед собой эти группы. Немецкие политзаключенные имели свои «землячества», поляки — свои, чехи — опять-таки свои, французы — тоже и так далее.

Активными организаторами движения Сопротивления в лагерях стали политические узники, прежде всего коммунисты и представители социалистических и рабочих партий европейских стран. Им приходилось вести борьбу на два фронта — против администрации и против «зеленых», которые в те времена верховодили в немецких концлагерях и являлись серьезной вспомогательной силой полицейско-гестаповского режима.

До 1943 года объективных условий для создания высокоорганизованной подпольной организации в Освенциме не существовало. Тут долгое время царила атмосфера отчаяния, безнадежности. Всякая мысль о сопротивлении убивалась страхом перед возможной изменой.

Фашисты торжествовали победу над массой затравленных, отупевших от побоев и безнадежно опустившихся узников, часть которых была уже низведена до животного состояния.

Гитлеровцы упивались военными успехами. Их закованные в броню дивизии стояли на берегах Ла-Манша и Волги, на Крайнем Севере и на острове Крите. Геббельсовская пропаганда день и ночь трубила о том, что Красная Армия разгромлена, что дни ее сочтены и ее сопротивление — конвульсия смертельно раненного зверя.

И вдруг среди ясного неба грянул гром, потрясший весь мир. Красная Армия окружила и уничтожила под Сталинградом трехсоттысячное войско Паулюса да еще и дала сокрушительный встречный бой танковым и мотомеханизированным дивизиям Манштейна. В Германии был объявлен трехдневный траур. Наступила пора горького похмелья. По всей стране раздавался погребальный колокольный звон, по радио звучали траурные мелодии Вагнера вперемежку с истерическими выкриками бесноватого фюрера.

Многие немцы начали сомневаться, а кое-кто даже пришел к тайным убеждениям в роковом авантюризме гитлеровской шайки. Бодрый Геббельс не моргнув глазом заявил по радио, что катастрофа на Волге еще больше

укрепила монолитность и дух немецкого народа, его непоколебимую веру в фюрера. Гитлеровцы бросают лозунг «Аллес фюр зиг!», то есть «Все для победы!», В пожарном порядке проводятся тотальные мобилизации, формируются новые армии взамен разгромленных, и кровавый молох войны продолжает свою работу. Усиливается гестаповский террор. Гиммлеровские ищейки рыщут по всей Германии, не очень-то полагаясь на «монолитность и дух» немецкого народа. Рыщут они и в Освенциме. Гиммлер прилагает все усилия к тому, чтобы известие о катастрофе на Волге не просочилось в лагеря смерти, где сконцентрированы огромные массы людей, явных и потенциальных врагов фашизма. Освенцимские эсэсовцы проходят специальный инструктаж. Им запрещаются какие бы то ни было разговоры с узниками. Но весть о нашей победе под Сталинградом все же проникает за ряды колючей проволоки. Она вдохнула в движение Сопротивления новые животворные силы, активизировала борьбу освенцимского подполья.

Попытка объединить все подпольные группы в единую интернациональную организацию, руководимую единым центром, была сделана в начале 1943 года. Центром организации, мозгом ее стали главная канцелярия и мастерские шнайдерай*, где в то время работали Антоныч и Ганс Максфельд. В этих местах эсэсовцам было трудно установить контроль над узниками. И работа закипела. Всюду создавались группы Сопротивления, подпольщики установили связь с филиалами Освенцима, организовали несколько удачных побегов. Беглецы выполнили задание подпольного центра — разыскали партизан и передали им копии секретных документов, похищенных из центральных канцелярий; передали также изобличительные фотографии освенцимской действительности. Наконец-то мир узнал правду об Освенциме!

* Швейные мастерские (нем.).

Гитлеровцы бесились от злобы, их одолевала лютая ярость, но они так и не сумели раскрыть, какими путями тайна Освенцима вышла за пределы лагеря. Это была крупная победа освенцимского движения Сопротивления. Подпольщикам удалось установить связи с «канадцами», которые снабжали нужными медикаментами. Кроме того, были налажены отношения с вольнонаемными, и они, в свою очередь, помогли связаться с партизанами, действовавшими в районе расположения освенцимских лагерей.

В шнайдерее, шустерае** и шлесерае*** происходили встречи представителей различных групп широко разветвленного и теперь уже хорошо организованного движения Сопротивления.

** Обувные мастерские (нем.).

*** Слесарные мастерские (нем.).

Советские военнопленные, работавшие на демонтаже разбитых самолетов, проносили в лагерь оружие, топографические карты. Из отдельных разрозненных деталей удалось собрать радиоприемник. Подпольный центр слушал оперативные сводки Советского Информбюро, передачи радиостанций союзников и распространял их среди узников. В 1944 году смонтировали радиопередатчик, и подпольный центр открытым текстом вел передачи на всю Европу. Так мир узнал об ужасных тайнах Освенцима. К чести освенцимского подполья следует отнести и то, что вплоть до последнего дня существования лагеря, то есть до 27 января 1945 года, когда Освенцим был освобожден частями Советской Армии, гитлеровцы так и не сумели найти подпольную радиостанцию, передачи которой они не раз запеленговывали.

Осенью 1944 года в освенцимских лагерях проводилась усиленная подготовка к вооруженному восстанию. Ею руководил подпольный центр. До всеобщего восстания дело не дошло, но несколько вооруженных выступлений состоялись. Одно из них, самое значительное, произошло в октябре.

...Стояли теплые, погожие дни. 7 октября утренняя тишина взорвалась выстрелами и воем сирены. Над небольшим леском, в котором находился крематорий № IV, в небо взметнулись столб дыма и языки пламени. По лагерю молниеносно распространился слух: восстали узники зондеркоманды, обслуживающей четвертый крематорий.

В планах подготовки всеобщего вооруженного восстания зондеркоманде отводилась особая роль: она должна была выступить первой. Но зондеркоманда выступила значительно раньше, чем предполагалось, что спутало все карты политическому центру освенцимского подполья.

Руководителем подпольной группы в зондеркоманде был капо Каминский. Он долгое время работал в крематории № 1. Его руки по локоть в крови тысяч невинных жертв.

Вне всякого сомнения, решение Каминского приобщиться к движению Сопротивления было продиктовано шкурными соображениями. Красная Армия стремительно продвигалась на Запад. В лагере уповали и молились на нее, считая, что за месяц-два она освободит Освенцим. А значит, приближался час расплаты и для Каминского. Вот он и решил подумать об алиби, застраховать себя. Но нет никакого сомнения в том, что, если бы Каминскому и удалось пережить Освенцим, его все равно признали бы военным преступником и посадили бы на скамью подсудимых вместе с его

хозяевами-эсэсовцами. Каминский не переставал думать о возмездии, и это привело его в ряды движения Сопротивления.

Неограниченное доверие эсэсовцев к Каминскому позволяло ему посещать другие лагеря и помогло установить связь с членами тайной подпольной организации. По поручению руководящего центра Каминский спрятал на территории крематория № I несколько десятков ручных гранат, раздобытых советскими военнопленными и женщинами, работавшими на складе боеприпасов и на крупновском военном заводе «Унион».

Однажды вечером в конце августа 1944 года начальник всех крематориев Молл выстроил зондеркомандовцев и объявил им, что капо Каминский расстрелян и что эсэсовцам, дескать, все известно. Молл угрожал расстрелом каждому, кто решится стать на путь Каминского.

На самом же деле администрация Освенцима решительно ничего не знала об организации; схвачен был один только Каминский. Возмущенные его «неблагодарностью» гитлеровцы ночью ворвались в барак крематория № I, схватили капо и били до тех пор, пока тело не почернело, после чего отправили в крематорий № IV, где расстреляли над огромной ямой, предназначенной для сожжения трупов *.

* Как уже говорилось, начиная с 1942 г. крематории не успевали перерабатывать поступавшее «сырье». Поэтому выкапывались огромнейшие ямы, в которых сжигали трупы, а иногда и живых узников.

Вместо Каминского прислали нового капо, немца, профессионального бандита, привезенного из Майданека. В зондеркоманде тогда насчитывалось более тысячи человек.

Советская Армия приближалась к Кракову. Гиммлер и Эйхман спешили «переработать сырье», которое неудержимым потоком продолжало поступать в Освенцим. Из одной только Венгрии эшелоны привезли 450 тысяч евреев. В конце концов зондеркоманда стала слишком велика и небезопасна для самих эсэсовцев. Ведь речь шла о большой группе узников, свидетелей убийства миллионов людей... Эсэсовцы не раз открыто заявляли: для зондеркомандовцев одна дорога на волю — через газовую камеру. Об этом свидетельствовала и практика предыдущих лет: состав зондеркоманды уже обновлялся несколько раз. Старых уничтожали, а новых набирали. Но поскольку в 1943 и 1944 годах освенцимская фабрика смерти едва успевала перемалывать новые и новые эшелоны невольников, менять состав зондеркоманды было уже нецелесообразно: новичков требовалось обучать. Работа в зондеркоманде была очень тяжелой во всех отношениях. Именно потому за последние два года состав зондеркоманды не менялся, а лишь пополнялся.

С целью сохранения тайны узников из зондеркоманды нельзя было использовать на других работах, С другой же стороны, то, что они долго засиживались в зондеркоманде, не могло не вызывать тревоги у эсэсовцев. Люди изучали друг друга, находили общий язык, объединялись и сплачивались и поэтому становились опасными.

Летом 1944 года неожиданно пришел приказ ликвидировать дезинфекционную станцию в Освенциме-І. Окна ее замуровали, а для чего — никто не знал. Тем временем из зондеркоманды Биркенау отобрали триста заключенных, привезли в вышеупомянутое помещение и отравили газом, после чего трупы отвезли назад в Биркенау. Всю операцию обслуживали уже не зондеркомандовцы, а эсэсовцы. Таким образом они несколько ослабили зондеркоманду, представлявшую для них определенную опасность.

Вскоре начальника всех крематориев эсэсовца Молла перевели в лагерь Блехгамер, а потом в Равенсбрюк. На его место назначили Буша. При нем бывшего некогда порядка и железной дисциплины в зондеркоманде не стало. Подпольщики не преминули воспользоваться этим.

Палаческая работа, жестокое обращение со стороны эсэсовцев и сознание своей неминуемой гибели вынудили зондеркомандовцев прибегнуть к вооруженному выступлению. О своем решении они поставили в известность руководство движения Сопротивления центрального Освенцима. Тогда решено было поднять всеобщее восстание. Соответственно разработали план выступления. Первый удар должны были нанести зондеркомандовцы. Им отводилась роль детонатора. Само расположение крематориев Биркенау, их отдаленность от эсэсовского городка, численность и решимость тамошних узников, их боевая готовность и сплоченность — все учитывалось при разработке плана восстания.

Их вооружили гранатами, взрывчаткой, ножницами для перерезывания ключей проволоки и приказали ждать сигнала. Самостоятельно выступить разрешалось только в случае непосредственной угрозы уничтожения.

Непредвиденные обстоятельства ускорили развитие событий.

Утром 7 октября 1944 года подпольщикам, работающим в центральной шрайштубе — главной канцелярии — а также в эсэсовских казармах, стало известно, что поступил приказ в ближайшие дни ликвидировать зондеркоманду. Эту весть сразу же передали в зондеркоманду. Ее принес узник Л. Вербель. Немедленно собрался штаб группы. Неожиданно в помещение, где заседал штаб, вошел капо. Выхода не было, отступить было

поздно. Его схватили и живьем бросили в пылающую печь. После этого откопали спрятанное оружие, обезоружили и уничтожили эсэсовцев, находившихся на территории крематория, подожгли крематорий и заняли оборону в небольшом лесу за крематорием.

О начале восстания немедленно известили зондеркоманды других крематориев. Узники зондеркоманды Второго крематория также поднялись на вооруженную борьбу. Узник Л. Панец из Люблина обезоружил эсэсовца, оглушил ударом по голове и бросил его в печь крематория. Часть восставших открыла стрельбу по сторожевым вышкам, а все остальные, перерезав колючую проволоку, кинулись бежать в направлении Буды.

Эсэсовцев подняли по тревоге и вооруженных до зубов перебросили на машинах и мотоциклах к месту событий. Эсэсовцы окружили крематорий, сосредоточив главные силы около леса, где окопалась основная группа восставших. Крематорий пылал *. Вдоль ограды из колючей проволоки эсэсовцы вели бешеный пулеметный огонь. Только одной группе восставших удалось убить с десятков эсэсовцев и вырваться из огненного кольца. Они бежали по направлению Вислы. Эсэсовцы настигли их в районе Райско — в десяти или двенадцати километрах от Биркенау. Беглецы забаррикадировались в сарае лесника. Подпалив сарай, эсэсовцы перестреляли всех.

* Этот крематорий до конца существования лагеря так и не был восстановлен.

Одна группа восставших в количестве 27 человек под руководством немца-антифашиста пошла не на восток, как прочие, а на запад — на территорию Германии. Расчет был верный. Группа скрывалась до самого конца 1944 года, то есть до тех пор, пока началась эвакуация освенцимских лагерей. Их схватили в одном глухом провинциальном немецком городке. На допросе узники заявили, что бежали из эшелона во время бомбежки. В то время уже невозможно было проверить достоверность этих показаний. Англо-американская авиация почти ежедневно бомбила территорию Германии. Беглецов отправили в один из лагерей: там они и дождались освобождения.

В этой отчаянной борьбе за свободу с оружием в руках полегло несколько сот узников из зондеркоманды. Схваченных повстанцев расстреливали на территории лагеря или вблизи его, а также во дворе второго и четвертого крематориев. Из тех, кто пошел на восток, спаслись только единицы, да и то благодаря случайности: вечером того же дня над лагерем появились американские самолеты. Воздушная тревога помешала эсэсовцам прочесать территорию лагеря вместе с близлежащими

окраинами.

Подпольный центр сообщил всем своим организациям о событиях в Биркенау и просил оказать беглецам всяческую помощь. Благодаря этому удалось спасти нескольких человек, находившихся в самом лагере.

Учинив кровавую расправу над восставшими, эсэсовцы не успокоились. Они хотели знать детали заговора. Хватали каждого, на кого падало малейшее подозрение, хватали десятки ни в чем не повинных людей. Лагерное гестапо прочесало все блоки и арбайтскоманды в центральном лагере и в Биркенау. С особенной жестокостью допрашивали тех, кто работал на складах боеприпасов и на крупновских военных заводах. Все узники, а среди них и женщины, держали себя чрезвычайно мужественно и никого из подпольного центра не выдали. Четырех девушек, которые работали на складе боеприпасов, эсэсовцы допрашивали особенно жестоко. Их повесили в женском секторе центрального лагеря 5 января 1945 года, почти накануне освобождения Освенцима Советской Армией.

Эсэсовцам не удалось разгромить подпольную организацию Освенцима. Она функционировала до последнего дня — случай беспрецедентный в истории движения Сопротивления. Даже в условиях Освенцима были руководители, которые внесли особенно крупный вклад в дело борьбы с фашизмом. Назову хотя бы некоторых из них: это Юзеф Циранкевич, Хорст Ионасе, Ян Чешпица, Антонин Новотный, Милош Едвьеда, Зденек Штых, Карл Маловичка, Ота Краус, Эрих Кулка, Кафунек, Живульска, Вайян-Кутюрье, Даниель Казанова, Диаманский, Барановский, Ганс Максфельд, Павел Логачов, Эрнст Бургер, Игнат Кузьменко... К сожалению, еще сегодня неизвестны все имена.

После эвакуации Освенцима, которая продолжалась с конца октября 1944 вплоть до 27 января 1945 года, все участники освенцимского подполья попали в другие лагеря, где влились в местные подпольные организации и там продолжали борьбу,

Восстание в крематориях было последним и самым значительным вооруженным выступлением узников Освенцима. Оно сыграло огромную роль, вселило веру в собственные силы, в реальную возможность вооруженной борьбы с эсэсовскими преступниками. Оно показало, что сравнительно небольшая группа даже очень слабо вооруженных узников может воевать против целого эсэсовского гарнизона.

Восстание сбilo спесь с гиммлеровских погромщиков и убийц, развенчало миф о «бесстрашии» и «непобедимости» кровавого воинства, на чьих фуражках красовался череп с костями. С той поры вопреки чрезвычайным мерам, проведенным в войсках СС, репутация их в глазах

Гитлера заметно пошатнулась.

Из-за огромнейших потерь, которые испытывала немецкая армия на Восточном фронте, Гиммлер уже не мог увеличить эсэсовский гарнизон Освенцима. Более того, он вынужден был снимать с охраны лагерей целые подразделения для нужд Восточного фронта. Даже мобилизация в ряды СС «зеленых» не исправила положения. Вот почему гитлеровцы не смогли реализовать свой план уничтожения всех узников Освенцима.

Две недели спустя после восстания из Освенцима в другие лагеря потянулись первые эшелоны узников. А еще через неделю прекратились массовые удушения в газовых камерах. Эвакуация продолжалась до 27 января 1945 года. В одном из последних эшелонов был вывезен в Маутхаузен и автор этой книги.

Глава 15

Июль был необычно жарким. Солнце жгло немилосердно — казалось, оно все время висит в зените — и ни единого облачка, ни капли дождя, ни малейшего дуновения! Не повеет ветерок прохладой, не шелохнется скрученная, безжизненно обвисшая, преждевременно пожухлая листва. Зной и зловонный запах мертвечины. Жарко пылает крематорий, и кажется, что все это жгучее пекло и зловоние, и все освенцимские ужасы исходят от него. Зрелище крематория мутило сознание. Привыкнуть к нему невозможно, и мне становилось понятным, почему в Освенциме многие узники сходили с ума. Душный, смрадный лагерь, битком набитый людьми и опутанный густой сетью проволоки, казался раскаленной гигантской духовкой, в которой должно задохнуться все живое. Таким мне запомнился Освенцим в те дни...

Я лежал, задыхаясь в душном шлафзале на нарах. Мой истощенный организм судорожно боролся за жизнь. А она не раз повисала на волоске. За нее, как я узнал впоследствии, боролись десятки узников. Одни доставали у «канадцев» лекарства, другие — продукты, третьи — сигареты для писаря Вацека и штабового Зингера... Регулярно приходил Ганс и изредка Антоныч. Жора кормил меня, поил, оберегал, подбадривал. «Дорогие мои, родные! — думал я. — Чем отплачу вам за всю доброту, за вашу братскую заботу, за то, что, рискуя жизнью, спасаете меня?»

Когда миновал кризис, у меня появился аппетит, я начал есть и много спать.

Писарь и штабовый пунктуально придерживались договоренности с Гансом и Антонычем и «не замечали» меня. Их примеру следовали и другие проминенты. Я постепенно становился на ноги. Снова появилось неодолимое желание пережить Освенцим, дойти до победы, быть

свидетелем и участником разгрома фашизма. Теперь я уже ничего не боялся, ведь рядом были такие люди, как дядя Ваня, Антоныч, Ганс, Жора. Воистину только во времена суровых испытаний можно безошибочно определить, что стоит настоящий человек, настоящая дружба!

Взять Антоныча. Внешне замкнутый, немногословный, суровый. Никогда я не видел улыбки на его лице. Но это был человек необычайной душевной доброты, а главное — удивительно находчивый, смелый и решительный. В любой ситуации он готов был прийти на помощь. Любое дело, каким бы опасным оно ни было, он доводил до конца, не страшился риска, причем риск он брал на себя и не старался переложить его на плечи другому. Однажды я сказал ему об этом. «Да брось ты...— отмахнулся Антоныч,— больше всех рискует трус, а мы не должны быть трусами». «Смелого пуля боится, смелого штык не берет»,— было его любимой пословицей и, вероятно, девизом.

А коммунист ленинской закалки, бывший комиссар полка дядя Ваня был страстным агитатором, неутомимым пропагандистом. Прекрасный лектор, дядя Ваня проводил политическую работу среди людей всюду, куда забрасывала его судьба. Он был бесстрашный и в то же время осторожный, рассудительный. Ни на минуту не сомневался он в нашей победе, верил в неминуемый разгром гитлеризма и вселял эту веру в других.

А взять Ганса! Долгие годы заключения и самые изощренные пытки и муки не очерствили его сердца, не пошатнули его убеждений. Он в лагере был добрым, я бы сказал — трогательно ласковым ко всем друзьям и пациентам, оставаясь неизменно спокойным и уверенным в любой ситуации. Он был настоящим интернационалистом, настоящим тельмановцем-антифашистом.

Животворным вихрем ворвался Жора в мою жизнь, подхватил, покорила и повел за собой. Жора никогда не грустил, не падал духом и этим во многом напоминал Стася Бжозовского. Дружба с ним широко раскрыла мою душу навстречу людям и всему хорошему, что есть в них. Пример Жоры научил меня, что нужно жить не для себя, а для людей, тогда и твоя жизнь будет стоящей. Времени у нас с Жорой было достаточно, и мы разговаривали часами.

Передо мной раскрылась трагическая история целой семьи.

Во время похода пилсудчиков на Украину в 1920 году один из польских жолнеров, Адам Тшембицкий, добровольно перешел на сторону Красной Армии. Польский рабочий не хотел воевать против братьев по классу — украинских и русских тружеников. В 1922 году судьба забросила его в Одессу, где он познакомился с девятнадцатилетней красавицей

Оксаной Чередниченко, дочерью портового грузчика. Отец Оксаны, кичившийся тем, что в гражданскую войну воевал в дивизии самого Котовского, и слышать не хотел, чтобы его единственная дочь вышла замуж за тридцатисемилетнего скитальца без роду и племени. Но у Оксаны был характер отца. Наперекор ему она ушла к Адаму и стала его женой. Через год у них родился сын, которого назвали Георгием. Оскорбленный непослушанием дочери и стремясь заглушить нанесенную ему обиду, старик начал все чаще и чаще прикладываться к чарке. Вскоре он погиб — в пьяном виде угодил на работе под контейнер.

Тяжело пережив смерть отца, Оксана еще больше приросла сердцем к своему Адаму, и оба не могли нарадоваться на сына. Жили они в тихом одесском переулке. В их доме был собран целый интернационал: украинцы, русские, турки, поляки, ассирийцы, болгары, евреи, армяне. Маленький Жора целыми днями играл с их детьми и был всеобщим любимцем. Уже в пять лет мальчуган проявил незаурядные способности к языкам, а в пятнадцать свободно разговаривал на русском, украинском, польском, болгарском, армянском и еврейском. Ему предсказывали большое будущее.

Когда он был маленьким, чтобы не оставлять его дома без присмотра, мать не раз брала мальчика с собой на работу. А работала она официанткой в ресторане. Там играл оркестр, выступали певцы. Жора полюбил музыку, пение. Через несколько лет, обладая удивительно красивым голосом и природными способностями полиглота, он уже хорошо исполнял песни на многих языках.

Началась война. И уже в июле 1941 года солдат Георгий Трембицкий (так была записана его фамилия в паспорте) защищал Одессу. В ночь с 15 на 16 октября последние корабли с ранеными на борту взяли курс на Крым. В море их разбомбили немецкие самолеты. Корабль тонул вместе с ранеными. Жора отлично плавал и мог часами держаться на воде. Его подобрал румынский катер и доставил в лагерь военнопленных. Георгий взялся изучать румынский язык и через месяц уже мог довольно прилично разговаривать с румынами, а еще месяц спустя его назначили лагерным переводчиком.

— Честно говоря,— рассказывал Жора,— жил я там неплохо. Мне даже предлагали надеть мундир солдата румынской армии и занять должность переводчика при одной из румынских воинских частей. Передо мной открывалась карьера и сытая жизнь предателя Родины... Но разве мог я стать изменником?

Через некоторое время переводчик румынского коменданта лагеря военнопленных, запасшись соответствующей справкой, бежал и пробрался

в родной город.

Холодная и голодная зима 1941/42-го в Одессе запомнилась Жоре навсегда. Дома он не застал матери. В квартире хозяйничали румынские солдаты, которые изрубили и сожгли всю их мебель. На пол они навалили сена и валялись в нем, как медведи в берлоге. На Жорин вопрос, где его мать, румыны ответили, что до них здесь побывали немцы, а где пройдут немцы, там румынам, мол, делать уже нечего.

Город стал настороженным, чужим. Жора решил во что бы то ни стало разыскать мать. Но сперва нужно было где-нибудь устроиться, найти знакомых. Неожиданно на улице он встретил бывшего соседа по квартире — армянина Арташеса. Старик был в грязных лохмотьях, невероятно истощен и измучен. До войны он работал сторожем в рыболовецкой артели и не раз, бывало, угощал Жору вкусной рыбой. Сейчас Арташес расплакался и несколько минут не мог связать двух слов.

Жора спросил о матери,

— Ты разве не знаешь?— удивился Арташес.— Только как это тебе сказать?— Он угрюмо надвинул шапку на глаза. Наступила пауза, долгая, мучительная. Жора схватил старика за руки.

— Нет ее!— глухо выдавил Арташес.— Фашисты хватили всех подряд... Забрали и ее вместе с евреями... Я спасся... Я спасся случайно, спрятавшись в кочегарке...

У Жоры потемнело в глазах, черным стал весь свет и собственная жизнь показалась ничтожной, бессмысленной и никому ненужной. Не помнил, как расстался со стариком-армянином. Потом никак не мог понять, как и почему очутился возле домика своего школьного товарища Гриши Воробьева.

Гриша не ожидал встречи и явно растерялся. Но все же пригласил Жору в дом. Там его встретила низенькая полная женщина.

— Кого это ты, сын, ведешь на ночь глядя?— раздраженно спросила она.

— Да это же Георгий, учился со мной...

— Никого не знаю и знать не желаю. Не такое нынче время, чтобы гостей водить...

В доме пахло борщом и печеным.

Не говоря ни слова, Жора повернулся и ушел. Потом сожалел о своем поступке: люди могли подумать, что он выдаст их немцам. И как же он был поражен, когда после очередной облавы группу одесситов, в которой находился и Жора, конвоировали на вокзал полицаи, среди которых он узнал отца и сына Воробьевых!

В закованных вагонах, как скот, привезли их в Германию. Там Жора попал на угольную шахту в Лотарингии. Работал вместе с французскими военнопленными, за несколько месяцев изучил их язык. Стал членом подпольной организации, помогал устраивать побег советских и французских военнопленных. Когда гестапо напало на их след, бежал в начале лета 1943 года. Безупречное знание немецкого помогло ему добраться до Бреслау. Но недалеко от этого города его все же схватили и отправили в обычный ост-лагерь, узники которого работали на цементном заводе где-то поблизости Свентаховиц.

26 июля Жора бежал из этого лагеря, но сутки спустя его поймали и отправили в тюрьму города Бреслау, откуда переправили в Освенцим на «пожизненное перевоспитание».

В тюрьмах и лагерях Жора встречал людей различных национальностей. Это давало ему возможность удовлетворить свою ненасытную страсть к изучению языков, запоминать их песни.

Ни в Освенциме, ни после у меня не было повода разочаровываться в Жоре. Удивительным, необычным человеком был Георгий Трембицкий. При всей своей доброте и деликатности, при всей своей романтичности он мгновенно преображался и, где нужно, становился твёрдым, принципиальным, непримиримым. А ведь ему было всего двадцать лет!

— Слишком много горя вокруг нас, — говорил Жора, — а мы все еще какие-то робкие, нерешительные и живем единственным желанием вырваться на волю, другими словами — думаем только о себе. А ведь есть и более благородная цель: сплотить этих несчастных, повести их в бой.

Глава 16

Проходили дни, однообразные, как вид полосатых гефтлингов, в этом море людских страданий. Благодаря помощи друзей я набирался сил и выздоравливал. Почти целыми днями валялся на нарах, спал или же слушал нескончаемые рассказы и песни Жоры.

Мученическая жизнь узников карантинного блока 2-А шла своим чередом: построения, апелли, дикарская муштра на площадке перед блоком и занятия «спортом» на манер тех, что устраивались в Мысловицком лагере, показательные экзекуции перед строем, тайные пытки и убийства в туалетной... И хотя нас с Жорой благодаря протекции штабового не гоняли на «спортивные занятия» и прочие муштры, кроме, конечно, аппелей, мы чувствовали себя беспокойно, в любую минуту ожидая беды. Заступничество штабового Зингера и Плюгавого Вацека слишком дорого стоило подпольщикам. Кроме того, Жора каждый вечер должен был развлекать этих подонков концертами. Относительное благополучие,

купленное такой ценою, было ненадежное, шаткое и таило опасность. В этом мы не раз убеждались.

Однажды днем, когда мы с Жорой лежали на нарах, неожиданно вошел Ауфмайер с двумя эсэсовцами и Паулем. Они о чем-то громко говорили, и мы едва успели нырнуть под нары. «Кантуйтесь,— сказал позже наш штубовый.— Но если попадетесь на глаза начальству, я своей головы подставлять не стану!»

В другой раз переполох был значительно серьезнее. В лагерь нагрянули эсэсовцы — целый полк. Утром, после окончания развода, когда арбайтскоманды ушли на работу, а в лагере остались только придурки и узники, отбывавшие карантин, с невероятным шумом и криком в блоки ворвались вооруженные эсэсовцы. Наставив автоматы, они велели нам поднять руки и выгнали всех на площадки перед блоками, потом тщательно обыскали, избивая всех подряд. Тем временем другая группа эсэсовцев разошлась по блокам и учинила там форменный погром. Специалисты магнитными искателями обшарили каждый закоулок — наверное, искали рацию и оружие.

Налет эсэсовской банды продолжался несколько часов, и все это время полуживые узники стояли с поднятыми руками. Интересно, что от обыска более всего пострадали проминенты. Эсэсовцам достались немалые трофеи: шерстяная, кожаная и меховая одежда, отличная обувь, одеяла, шелковое белье, часы, электроплитки, утюги — все, что им пришлось по вкусу, они забирали. Словом, грабители грабили грабителей.

Пострадавшие проминенты, сразу лишавшиеся всех ценных вещей, после каждого такого нашествия дня два-три ходили как погорельцы, жалуясь и сочувствуя друг другу, но, оправившись от кратковременного шока, с еще большим рвением принимались за прежнее ремесло — «организацию» вещей и ценностей. И так без конца.

Царившему духу лихорадочного гешефтмахерства задавали тон сами немцы — эсэсовцы и вольнонаемные, а также участвующие в организации влиятельные проминенты — капо, блоковые, штубовые и другие. Эти киты не разменивались по мелочам, они занимались оптовыми операциями, а все остальные промышляли мелкой торговлей. После возвращения узников с работы до самого сигнала «отбой!» каждый блок превращался в ярмарку. Чем тут только не торговали! Вот за две сигары продают пайку хлеба. Тот за два окурка хочет выменять порцию прокисшей холодной баланды; другой продает перочинный ножик и ложку. А там какой-то «мусульманин» за ржавую консервную банку просит ломтик хлеба не больше спичечного коробка. Много было торговцев-перекупщиков, которые за вечер

умудрялись десять раз продать и перепродать одну пайку хлеба, пока не зарабатывали на этой операции целую пайку чистой прибыли. Это достигалось так: дробили порции хлеба на несколько частей и меняли часть на одну сигарету. В случае удачи за приобретенные сигареты выменивалась уже не пайка, а пайка с четвертью, после чего за этот хлеб покупались опять сигареты и так далее. В результате подобных операций торгаш-фанат мог за вечер нажать одну-две пайки хлеба. Нередко коммерция оканчивалась кровавыми драками и убийствами. Обнаруживалось, например, что в сигаретах вместо табака насыпана была сухая трава или обыкновенные высушенные и перетертые листья, что в пайке хлеба внутри искусно замаскирован кусок глины. Дельцов, торговавших «выеденными» пайками, убивали на месте как злых аферистов, подрывающих авторитет «честных коммерсантов».

Во время торгов в блоках творилось нечто неопишное: невероятный шум и невообразимая толчея создавали впечатление растревоженного улья. Здесь «ловили рыбку» и мелкие воришки. Но доставалось им нещадно: пойманного с поличным убивали тут же. Искусными аферами и ловким воровством почему-то все восхищались, а с неумелыми расправлялись немедленно. Даже тут не было справедливости ни на грош.

Богатые и влиятельные проминенты продавали сигареты коробками, хлеб — буханками, маргарин, смалец, повидло — банками. Они же торговали и золотом, драгоценными камнями, но, разумеется, занимались этим более скрытно и осторожно.

В нашем карантинном блоке «торговля» едва теплилась. Две тысячи нигде не работавших узников (кроме нескольких штрафников) никаких продуктов, ясное дело, организовать не могли, тем более что нам болтаться по лагерю строго воспрещалось. Что касается штрафников, так о них и говорить не приходится. Зато вечером можно было зайти в блок, полежать часок на нарах, поговорить с товарищами, помечтать и погрустить. Это время, продолжавшееся около часа, мы называли «ярмарочным временем». В эту пору эсэсовцы в лагере почти не бывали. Ярмарочным временем дорожили все: и обычные узники, и подпольщики, и проминенты. За час можно было успеть многое...

Проминенты нашего блока в ярмарочное время отправлялись на промысел или же резались в карты со своими дружками из соседнего. Пауль и Плюгавый Вацек шли развлекаться в публичный дом или где-нибудь пьянствовали. Иногда они забирали с собой и Жору на званые вечеринки в другие блоки, чтобы похвастать талантливым певцом, владеющим «всеми языками».

Блестящее знание немецкого помогло Жоре войти в доверие к «зеленым» и выуживать у них сведения, нужные подпольщикам. Кроме того, Жора обычно возвращался не с пустыми руками. Иной раз он приносил немало продуктов, подкармливал меня, дядю Ваню и других.

На время своего отсутствия Жора поручал меня дяде Ване и Григорию Шморгуну * из штрафной команды № 1, бывшему матросу. Вокруг нас собиралось много узников, и начиналась политбеседа. Дядю Ваню слушали затаив дыхание. О чем только он не рассказывал: и о причинах наших неудач в начале войны, и о разгроме немцев под Москвой, и о сталинградском крахе Гитлера. Рассказывал он масштабно, панорамно, если можно так выразиться, словно с командного пункта окидывал взглядом все поле Сталинградской битвы, делал неожиданные интересные обобщения.

— Я давно пришел к выводу, что немецкие солдаты не знают, за что они воюют,— как-то сказал дядя Ваня. — Много раз я сам спрашивал пленных: «За что вы воюете, во имя чего стоите насмерть?» Каждый из них пожимал плечами и бормотал: «Бефель ист бефель!» — «Приказ, мол, есть приказ». И ни разу я не слышал от них слов о родине, о немецком народе, о национал-социалистском духе.

*В послевоенные годы мне удалось разыскать тридцать бывших освенцимских узников, однако никто из них не знает, жив ли Григорий Шморгун.

Беседы дяди Вани стали той духовной пищей, без которой невыносимо было выжить в условиях Освенцима. Слушая, мы забывали о голоде, крематориях и виселицах. Мысленно переносились в будущее, а об этом будущем дядя Ваня мог говорить часами:

— Война хотя и принесла нам в избытке горе, неисчислимы страдания, но многому и научила нас. После войны мы заживем по-новому. Учтем ошибки, допущенные нами прежде. Наш народ столько выстрадал, что вполне достоин самой лучшей, самой счастливой жизни. И он добьется этой жизни не позднее чем через восемь-десять лет, помяните мое слово!..

Узники улыбались, радуясь как дети в предвкушении той счастливой жизни, которая наступит после войны. Правда, некоторые выражали опасение: как, мол, встретят нас, бывших пленных, узников концентрационных лагерей?

Дядя Ваня начисто развеивал эти сомнения. Он говорил, что встретят нас как героев-мучеников, прошедших преисподнюю, но не предавших своего народа и оставшихся верными своей Социалистической Отчизне.

Я не раз удивлялся: что поддерживало в этом физически разбитом,

обреченном человеке такое мужество, такую фанатическую веру в жизнь? Ведь он штрафник с одной перспективой — крематорий. На фронте дядя Ваня несколько раз был ранен — под Москвой в 1941 году осколком снаряда ему перебило ребра и обе ноги. Под Сталинградом контузило. Теперь у дяди Вани открылись старые раны и язва желудка. И, несмотря на все это, он не падает духом, борется, верит сам и веру эту вселяет в других.

Изредка меня проводывал Антоныч — Логачов Павел Антонович, член КПСС с 1932 года, кадровый офицер Красной Армии. Накануне войны старший лейтенант Логачов служил в штабе Киевского особого военного округа в отделе снабжения, а когда началась война — в этом же отделе штаба Юго-Западного фронта. В сентябре 1941 года армии Юго-Западного фронта, держащие оборону на левом берегу Днепра, попали в окружение. В этой трагической ситуации одну из групп, прорывавшихся к своим, возглавил Логачов. Окруженцы целый месяц догоняли фронт, а тот откатывался все дальше и дальше. На восток пробирались ночами, через глухие села и леса Черниговщины. Обтрепались, изголодались, истерзались; в группе остались самые стойкие — около сотни бойцов. Пробиваясь к своим, громили тыловые подразделения немецкой армии. Когда до линии фронта оставалось не более тридцати километров, они как-то на рассвете неожиданно наткнулись на вражеский танковый заслон, который будто специально поджидал их. Готовые к бою танки в упор расстреливали красноармейцев, вооруженных одними винтовками. Местность была открытая, укрыться негде; в живых осталось только пять человек. Среди пленных оказался и раненый Логачов.

На первом же допросе он лишился сознания. Немцы не стали возиться с ним и отправили в лагерь военнопленных. Логачов дважды бежал. Первый раз, когда везли в Германию, а второй — уже в самой Германии. После второго побега его зверски избили и месяц держали в карцере. Потом отправили на шпалозавод. Там Логачов создал подпольную антифашистскую группу, ставившую перед собой задачу организации диверсий и массовых побегов узников из лагеря. Поломки механизмов и инструментов на заводе стали обычным явлением. То падало давление в барабанах пропитки шпал, то портился мощный компрессор, то вдруг ломался дизель, то выходила из строя лесопильная рама... Патриоты ни перед чем не останавливались, лишь бы только сорвать выпуск шпал, необходимых гитлеровцам для восстановления железнодорожных путей.

Подпольщики действовали настолько ловко и умело, что немецким мастерам только и оставалось, что жаловаться на ветхость и непригодность оборудования. Им даже в голову не приходило, что среди военнопленных

есть опытный инженер-механик и инженер-электрик, которые и руководят диверсиями. Общее же политическое руководство и организация всех диверсий осуществлялись Логачовым.

В разгаре была весна — самая удобная пора для побегов. Явление это стало массовым, размах его принял неслыханные масштабы. Гитлеровцам пришлось в спешном порядке разрабатывать и вводить чрезвычайные меры по борьбе с массовыми побегами, саботажем и диверсиями, которые серьезно отражались на работе промышленности и транспорта. Но Логачов и его группа действовали успешно. Они раздобыли карту железных дорог Германии и компасы. Однажды ночью во время погрузки пульманов готовыми шпалами подпольщики спрятали в вагон нескольких пленных. Они уже знали, что эшелон пойдет в направлении Минска. Завод по производству шпал вообще работал в основном на Минское направление, где благодаря партизанам взлетали в воздух целые участки железнодорожных путей.

Чтобы ввести в заблуждение администрацию лагеря и пустить по ложному следу расследование, в ту же ночь подпольщики перерезали несколько нитей проволочного ограждения. Этому способствовала воздушная тревога, во время которой была выключена электросеть. Гестаповцы не раскрыли тайну побега, не удалось им поймать и беглецов. Кончилось тем, что фашисты выместили свою ярость на пленных, оставшихся в лагере. Их зверски избили, а десятерых в назидание остальным отправили в тюрьму, а оттуда — в Освенцим. Среди них был и Павел Антонович Логачов.

Подпольщикам Освенцима удалось спасти Логачова от газовой камеры, и они устроили его на работу в центральные мастерские, где в то время были сосредоточены основные силы подполья. Официально Логачова зачислили в шнайдерай портным, а позднее перевели в небольшую команду при шнайдерее, которая обеспечивала блоки центрального лагеря бельем и полосатой формой*.

* В отличие от филиалов в центральном лагере белье узникам меняли раз в месяц в банный день. В филиалах же его только прожаривали раз в месяц. Белье узники носили до тех пор, пока оно полностью не истлевало, в результате чего большинство вообще не имело белья даже в зимнее время.

Должность, которую занимал Логачов, позволила ему развернуть большую работу по созданию в блоках подпольных групп Сопротивления.

Павлу Антоновичу выдали большую бухгалтерскую книгу для учета белья и форм. Эту книгу он буквально не выпускал из рук. Она служила

ему магическим пропуском в любой блок, в любую команду центрального лагеря. Ни одному эсэсовцу никогда не пришло в голову обыскать или вообще заподозрить в чем-либо Павла Антоновича. Он был представителем солидной и влиятельной фирмы снабжения, к услугам которой нередко прибегали и сами эсэсовцы, когда хотели сшить себе что-нибудь из одежды.

Сколько сложнейших ухищрений и какой изворотливости требовала организационная работа от подпольной организации в целом и от каждого ее члена в отдельности!

Формирование и подготовка подпольных групп заставляли сводить в один блок или в одну арбайтс-команду ранее незнакомых людей, которым в дальнейшем предстояло проводить агитационную и политико-воспитательную работу с массой заключенных и стать руководителями и командирами новых подпольных групп.

В Освенциме проводилось широкое перемещение людей внутри лагеря, но при огромной перетасовке их надо было соблюдать постоянную осторожность и бдительность и все проводить обдуманно, не возбуждая подозрений не только врагов, но и тех, кто был недостаточно проверен. Задачи требовали удешевления бдительности и такой конспирации, которая уменьшила бы до крайних пределов возможность провала. Нелегко было создавать подпольные группы, особенно в филиалах лагеря. Но вопреки всем трудностям Логачов успешно справлялся с порученным ему делом. Он выполнял также задания подпольного центра по спасению жизни тех или иных узников. Это была трудная и опасная работа.

Глава 17

Как же на практике осуществлялась вся эта работа?

В центральных освенцимских канцеляриях было много всяких отделений — регистрации, учета, планирования, экономического отдела, снабжения и т.д., вплоть до архитектурного и строительного. Там трудились сотни писарей, учетчиков, инженеров-экономистов, плановиков, финансистов, снабженцев, архитекторов и прочих должностных лиц.

Роль эсэсовских специалистов и консультантов в многочисленных и сложных областях промышленного производства и громадного лагерного хозяйства, которым был освенцимский комбинат смерти, сводилась лишь к выработке директивных инструкций и общего наблюдения за их выполнением. Всю практическую работу выполняли узники. Сложность, характер и объем этой работы не позволяли эсэсовцам должным образом контролировать тех, кто ее выполнял. К тому же для работы в центральных канцеляриях и их многочисленных отделах привлекались работники самой высокой квалификации — крупные инженеры, ученые, экономисты. В этом

вавилонском царстве, каким являлся Освенцим, не было недостатка в опытных, высококвалифицированных специалистах.

Малограмотные эсэсовцы не шли ни в какое сравнение с этими интеллектуально развитыми людьми, которых Гитлер загнал в Освенцим, пытаясь сделать их бессловесными рабами. Естественно, что большинство из них активно включалось в движение Сопротивления. Вот почему центральные канцелярии стали мозгом движения Сопротивления. Руководствуясь принципами интернационализма, создавалось братство заключенных и поднималось на борьбу с фашизмом. Освенцим стал мощным очагом сопротивления в тылу врага. В практической организации и развертывании движения Сопротивления непосредственно в массах освенцимских узников большую роль сыграла самоотверженная работа советских людей.

В Освенциме я познакомился с узником-подпольщиком, которого называли Старик (освенцимский номер 63891). Действительно, в свои 42 года непомерно физически истощенный человек этот выглядел глубоким стариком. В Освенцим он попал после того, как побывал во многих других лагерях и тюрьмах и уже был истерзан до предела, но, несмотря на это, здесь, в Освенциме, развернул большую работу по организации саботажа на предприятиях наряду с агитационной работой в арбайтскомандах. Старик самостоятельно организовал несколько подпольных групп в арбайтскомандах и в блоках и в конце концов был введен в руководящий орган интернациональной подпольной организации. Только много лет спустя после войны, изучая материалы и документы, связанные с освенцимским подпольем, мне удалось разыскать этого человека — он пережил Освенцим — и установить, что настоящее имя Старика Кузьменко Игнат Остапович, родился он в 1901 году в семье батрака-крестьянина села Пологи-Вергуны Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. В двенадцатилетнем возрасте Кузьменко вынужден был батрачить в имении помещика Горчакова и у местных кулаков. В шестнадцать лет Кузьменко попал в тюрьму за участие в забастовках и бунтах. Из тюрьмы совершил побег и в 1918 году организовал партизанский отряд, принимавший участие в борьбе с немецкими оккупантами и петлюровщиной. Отряд Кузьменко влился в партизанский отряд Гайдамаки В.И. Позже отряд Гайдамаки влился в состав Богунской бригады регулярной Красной Армии. Здесь в первом кавалерийском полку Богунской бригады юный солдат Советской Республики Игнат Кузьменко прошел славный боевой путь по фронтам гражданской войны, был несколько раз ранен. После окончания гражданской войны работал в органах по борьбе с бандитизмом.

В 1929 году по состоянию здоровья Кузьменко вынужден был оставить службу в конном дивизионе окружной милиции и был направлен на работу в Киев на 6-й кожевенный завод имени Фрунзе, где в 1930 году вступил в ряды ВКП(б).

С 1930 по 1941 год товарищ Кузьменко работал там, куда посылала его партия: и по проведению коллективизации и восстановлению сельского хозяйства, и на руководящих должностях в профсоюзах на киевских промышленных предприятиях.

Великая Отечественная война застала товарища Кузьменко в селе Иванки Бориспольского района, где он был председателем колхоза. Там же, под Борисполем, 22 сентября 1941 года, принимая участие в оборонительных боях, Кузьменко был тяжело контужен и попал в плен. И потянулась бесконечная вереница лагерей военнопленных, тюрем и концлагерей как на оккупированной территории, так и в самой Германии, откуда Кузьменко совершил несколько побегов. Прошел всю Германию и половину Польши, попал в засаду и после зверских пыток — в Освенцим. Кузьменко нашел в себе силы вынести все удары судьбы и, дойдя до состояния полного физического истощения, организовывал подпольные группы в арбайтскомандах, где довелось работать.

Польские подпольщики давно уже следили за каждым шагом узника с номером 63891 и поручили своему товарищу Стефану Гнеху взять шефство над ним. Стефан Гнех — поляк по происхождению, родившийся в России, очень быстро нашел общий язык с Кузьменко. Прежде всего Кузьменко была оказана медицинская помощь и подкрепление продуктами. А когда Кузьменко несколько оправился, его послали в арбайтскоманду, работавшую на кожевенном заводе, поскольку он был знаком с технологией производства. Кузьменко получил от Стефана Гнеха химикаты особого состава, специально изготовленные подпольщиками для приведения в негодность больших партий кож. Кузьменко засыпал эти порошки вместе с дубильными веществами в чаны. В негодность кожа приходила после того, как солдатские сапоги впервые соприкасались с водой.

Кузьменко создал крепкую подпольную группу в составе пяти человек. В нее вошли: Лищук Демьян (освенцимский номер 63887), Антоненко Иван (освенцимский номер 102642), Яцук Анатолий (освенцимский номер 62300), Болилый Иван (освенцимский номер 102523) и Богдан Иван (освенцимский номер 65042). На эту группу возлагалась особо ответственная задача: каждый из ее членов должен был создать еще несколько подпольных групп из надежных людей для организации саботажа и диверсий в первую очередь на военных предприятиях.

Вокруг группы возникли десятки новых групп и так называемых «боевых постов», развернувших большую подпольную работу во многих арбайтсмандах — прежде всего в таких, как «Унион», «Веркале», «Бангоф», «Беклайденкомандо», «Берле», «Ландвиршафткомандо», «Гольцгоф», «Рашпенкомандо», «Солабрике», «Флюскис Райско». Они организовывали выпуск бракованной продукции, устраивали на предприятиях аварии, приводившие к порче и поломке оборудования, коммуникаций.

Руководимые Игнатом Кузьменко подпольщики сумели осуществить очень смелую операцию по «организации» большого количества продуктов, которые в тех условиях помогли поддержать силы десятков и сотен истощенных узников. Эсэсовцы, презиравшие представителей «низших» рас, очень любили животных и в изобилии обеспечивали доброкачественными кормами лошадей, коров, свиней, имевшихся в подсобном хозяйстве, продукция которого шла на содержание эсэсовского гарнизона и семей эсэсовского начальства. Мука, отруби, овес, картофель, брюква и прочее в большом количестве доставлялись в конюшни, коровники и свинарники для откормки животных. Часть этих продуктов благодаря подпольщикам шла в котлы лагерной кухни, дополняя рацион узников. В этом большая работа была проделана группой Демьяна Лищука, работавшей в сельскохозяйственной команде. Самого Игната Кузьменко подпольный центр устроил работать в цех картофелечистки эсэсовской кухни на должность старшего рабочего. В результате подпольная организация ежедневно получала 2-3 кесселя вареной картошки, которая шла на поддержание наиболее обессиленных узников.

Сплоченность подпольщиков может изумить любого даже теперь, тридцать лет спустя... Тщательнейшая конспирация и дисциплина, основанная на самосознании каждого подпольщика и усиленная требованиями, выдвигаемыми суровыми лагерными условиями, обеспечивали живучесть всех звеньев организации. Примером может служить даже тот факт, что группа, созданная Игнатом Кузьменко, активно действовала до последних дней существования лагеря, и действовала без срывов, провалов и потерь.

В конце 1943 года Кузьменко был введен в руководящий центр освенцимского движения Сопротивления, принимал участие в совещаниях политического и военного отделов организации. Эти совещания проводились в подвале 4-го блока, служившем овощехранилищем для эсэсовской кухни.

В роли подсобных рабочих, желающих заработать кессель цуляги*,

руководители подполья собирались в этом подвале на обсуждение всех неотложных вопросов и между делом занимались переборкой картошки, не вызывая ни у кого подозрения. Шеф эсэсовской кухни кихефюрер бывал здесь не чаще одного раза в три месяца и всегда оставался доволен образцовым порядком, который, разумеется, поддерживался подпольщиками. У них хранились и ключи от этого подвала.

* Добавка супа отличившимся узникам.

Руководителем военного отдела от русской секции был назначен полковник Кузьма Карцев (подпольная кличка Кузьмич). В этих совещаниях участвовали, как правило, не более тридцати человек. На одном из таких совещаний Кузьменко познакомился с австрийским коммунистом Эрнстом Бургером. Это знакомство впоследствии переросло в прочную дружбу.

Среди подпольщиков Эрнст Бургер был самым уважаемым и самым авторитетным товарищем, поскольку являлся основателем и первым организатором освенцимского подполья.

В двадцатые годы Эрнст Бургер учился в Москве на курсах Профинтерна, видел и слышал Ленина. Вернувшись в Австрию, Эрнст Бургер проводил большую работу в профсоюзах, пропагандируя национальное и международное единство профсоюзного движения, идеи революционной борьбы, разоблачал реформистскую идеологию и раскольническую политику правых социал-демократов и профсоюзных лидеров, боролся за сближение с Советским Союзом.

После аншлюса началась интенсивная фашизация Австрии. Эрнсту Бургеру пришлось уйти в подполье. Гестаповские ищейки сбились с ног, выслеживая «красного агента Москвы». Через два года им удалось напасть на его след. Эрнст Бургер был арестован в Вене и отправлен в Освенцим. На сопроводительной карточке значилось: «Возвращение нежелательно».

В Освенциме Эрнст Бургер не сложил оружия, являя собою пример мужества и стойкости. Он заложил «первый камень» подпольной организации. Организаторский талант, огромный опыт, мужество и воля — все было отдано антифашистской борьбе. Знание русского языка очень помогало Эрнсту в его работе. Он любил советских людей, со многими дружил.

Эсэсовцы боялись Эрнста Бургера и всех тельмановцев, которых не сломала фашистская каторга. Однажды в беседе с Игнатом Кузьменко Эрнст Бургер сказал: «Фашистские мерзавцы, когда почувствуют крах, постараются уничтожить всех лидеров немецких и австрийских коммунистов, в том числе и меня. На это не значит, что им удастся меня

сломить. Я буду бороться до последнего своего часа». Мужественный сын австрийского народа до конца выполнил свой долг. Эрнст Бургер был расстрелян в августе 1944 года во дворе третьего крематория. В это же время был убит во дворе крематория в Бухенвальде Эрнст Тельман. Тогда же была учинена зверская расправа над многими немецкими и австрийскими коммунистами в различных концлагерях фашистского рейха.

Организационная структура, формы и методы работы подпольной организации менялись в зависимости от обстановки и условий. Кроме национальных секций и разветвлений на подпольные группы по блокам и арбайтскомандам, которые, в свою очередь, разветвлялись и дробились на более мелкие, существовали еще и так называемые «боевые посты», куда входили не более двух человек. «Боевой пост» получал конкретное задание, тайну которого не должен был знать никто. Например, слежка за каким-нибудь эсэсовцем или палачом из числа «зеленых» с целью раздобыть те или иные сведения или с целью «подложить свинью» — скомпрометировать палача перед эсэсовцами, добыть оружие, географические карты, компасы, медикаменты, устроить диверсию в таком месте и таким способом, чтобы ни в коем случае подозрение не пало на узников, и многое другое. «Боевые посты» были постоянные и «блуждающие», то есть такие, которые перебрасывались с места на место с целью сбора необходимых данных. В таком случае они выполняли разведывательную работу. Долгое время «блуждающим боевым постом» был Иван Иосифович Смык (освенцимский номер 78708). Поочередно его забрасывали во все арбайтскоманды, он побывал везде, и даже в эсэсовских казармах, выполняя обязанности сантехника и собирая нужные сведения, побывал почти во всех коттеджах и квартирах, где находились семьи эсэсовского начальства, посетил и квартиру блокфюрера Ауфмайера, побывал и в резиденции Рудольфа Гесса. И хотя по пятам неотступно следовал автоматчик, все же добыто было немало ценных сведений, необходимых подпольщикам.

Большую помощь подполью оказывали П.И.Мишин, Л.И.Гофман, В.М.Венков, Николай Николаенко, Александр Нечитайлов, Николай Васильев, Иван Кравчук, Владимир Козлов, Петр Шевченко, Петр Гайко, Дмитрий Искра, Иван Терещенко, Петр Малёванный, Михаил Дудник, Ирина Харина, Екатерина Белостоцкая и многие другие.

Самая большая заслуга подпольщиков — в спасении жизни активных антифашистов, крупных организаторов и руководителей движения Сопротивления. Через руки узников-писарей проходили все учетные карточки живых и мертвых и, конечно же, новоприбывающих.

Подпольщики-писари внимательно изучали сопровождающие документы узников, которых привозили в Освенцим из тюрем и лагерей. В этих документах с немецкой педантичностью перечислялись все «преступления» узника перед рейхом. Таким образом сопровождающие документы служили своеобразной «визитной карточкой» узника; по ним подпольщики узнавали, какие у кого заслуги перед движением Сопротивления, Если заслуги были значительными, центр давал команду спасти его жизнь. Распоряжение это практически выполняли подпольщики центральных мастерских. Новоприбывшему антифашисту оказывали медицинскую помощь, нелегально обеспечивали продуктами, устраивали на такую работу, которая гарантировала жизнь.

Таким образом, центральная канцелярия была руководящим органом, центральные мастерские — исполнительным. Возможности подпольщиков были ограничены, они не могли спасти сотни тысяч, а тем более миллионы людей; к тому же целые эшелоны без регистрации эсэсовцы отправляли в газовые камеры.

Спасли и меня, хотя я не имел никаких заслуг: я не воевал, не взрывал мостов и эшелонов, не руководил подпольными организациями. Внимание ко мне объяснялось просто: вместе со мной из Мысловиц прибыли несколько поляков, которые до того сидели в краковской тюрьме. Они принесли в Освенцим легенду о том, что я якобы совершил какой-то необычайный подвиг, выдержал страшные пытки в гестаповском застенке, был осужден к расстрелу и каким-то чудом остался жив. Я на первых порах пытался опровергать всевозможные вымыслы и небылицы относительно приписываемых мне подвигов...

Подпольщики, однако, запретили мне это. «Узникам необходим живой символ мужества и героизма, нужна вера в то, что можно победить даже смерть, — говорили они. — А ведь ты семь раз бежал, выдержал страшнейшие пытки, тебя расстреливали... В семнадцать лет это не так уж мало...»

Руководители освенцимского подполья поручили Логачову и Максфельду оказать мне необходимую помощь. Рассказал обо мне еще и дядя Ваня. Первые два дня они никак не могли связаться со мной. Мое счастье, что я выдержал кошмарные дни работы в штрафной команде, иначе некому было бы оказывать помощь.

Глава 18

Мы с Жорой с нетерпением ожидали посещения Ганса Максфельда или Антоныча. Каждый их визит становился радостным событием. И не из-за того, что они приносили лекарства, продукты, сигареты, которыми мы

откупались от Вацека и штабового, а прежде всего потому, что они всегда сообщали важные новости.

На этот раз Ганс рассказал, что на территории чуть ли не всей Германии объявлено состояние тревоги. Побег из лагерей приняли массовый характер. Проводится общеимперская облава. В ней участвуют целые дивизии, переброшенные в Германию из оккупированных стран Европы. Около шестисот пятидесяти тысяч солдат, полицаев, членов нацистской партии, гитлерюгендцев, отряды фашистского мотоциклетного корпуса войск СС, пограничные части, даже подразделения военно-морского флота мобилизованы на поимку беглецов.

Всю Германию облетела весть: в районе Гинденбурга трое советских военнопленных, бежавших из лагеря, среди белого дня пустили под откос шедший на фронт воинский эшелон, груженный танками. Безоружные, измученные до предела люди напали на путевого обходчика, связали его, завладели инструментом и развинтили на стыках рельсы, после чего бесследно исчезли. В результате диверсии несколько десятков «тигров», «фердинандов» и «пантер» вместе с экипажами рухнули под откос, и на некоторое время целый участок железной дороги был выведен из строя. Это событие вызвало у фашистов новый приступ бешенства: Гитлер учредил даже специальную должность генерального инспектора по делам советских военнопленных, предоставив ему неограниченные полномочия. Но ничто не могло остановить побег, погасить пламя борьбы.

Эти новости окрылили нас. Не менее утешительные сведения приносил и Павел Логачов. Внимание всего мира в те дни было приковано к событиям на советско-немецком фронте, к битве на Курской дуге. Мы, узники, понимали, что там решалась судьба нашей Родины, а значит — и наша судьба. Сводки Информбюро подпольный центр регулярно принимал по радиоприемнику и передавал в подпольные группы. Таким образом мы были в курсе событий и с волнением ожидали результатов этой невиданной в истории битвы.

Трудно рассказать о той радости, которая охватила нас, когда стало известно, что под Курском Красная Армия остановила бронированные дивизии вермахта и перешла в решительное наступление. Это значило, что победа не за горами.

Странно вели себя эсэсовцы в эти напряженные до крайности дни. Они то устраивали прочесы и облавы, нагоняя страх на несчастных узников и мотаясь как очумелые, то напивались до полного бесчувствия и бродили по лагерю как пришибленные, ничего и никого не замечая.

В понедельник 19 июля к нам пришел Антоныч с увесистым свертком

в руках. В нем, кроме хлеба и других продуктов, было десять пачек сигарет — неслыханное богатство по тем временам. Жоре вменялось подкупить сигаретами Плюгавого Вацека, чтобы он хотя бы на один день освободил дядю Ваню от работы в штрафной команде. Необходимо было провести организационное собрание подпольной группы нашего блока, избрать руководителя. Лучшей кандидатуры, чем дядя Ваня, в нашем блоке не было. Фактически он сам, не ожидая, пока его найдет подпольный центр, создал такую группу. Антоныч сказал, что принимаются меры для спасения дяди Вани: он был вторым на очереди после меня. Надо было вырвать нас из штрафной команды, снять с нас мишени штрафников, переделать учетные карточки, которые хранились в центральной канцелярии, и перевести нас в обычные рабочие команды в самом Освенциме или же в один из его филиалов. Сделать это было не просто: лагерное начальство пристально следило за учетом и перемещением штрафников. Официально снять мишень со штрафника имел право только лагерфюрер. И все-таки подпольщики из центральных канцелярий умудрялись подменять учетные карточки некоторых штрафников карточками умерших.

В Освенциме неоднократно расстреливали штрафников как «неисправимых саботажников и отъявленных врагов рейха».

Антоныч, Жора и я обсуждали все детали плана проведения завтрашнего собрания подпольной группы. Мне и Жоре поручено было проследить, чтобы на собрание не попал ни один узник, в котором мы не были уверены.

— Дядя Ваня,— сказал Антоныч,— самая подходящая авторитетная кандидатура на пост руководителя вашей группы: он умеет зажечь людей, повести за собой. Но есть у него и недостаток: нервный он, вспыльчивый. Мы запрещаем впредь проводить открытые беседы. Пора подумать о строжайшей конспирации. В среде заключенных всегда может найтись предатель, готовый за миску баланды выболтать врагу все что угодно. Лагерное гестапо не дремлет: оно имеет осведомителей в каждом блоке. Некоторых из них нам удалось нащупать и обезвредить. Передайте мои слова дяде Ване и предупредите о соблюдении величайшей бдительности. Это приказ! Строжайшая конспирация, бдительность и дисциплина — закон нашей жизни. Нужно всегда помнить об этом.

Антоныч сказал, что завтра вечером к нам придет связной. Он спросит: «Как у вас, ребята, с куревом?» Если собрание пройдет успешно, мы должны ответить: «Одна сигарета найдется» — и угостить связного сигаретой. Если же собрание по каким-либо причинам не состоится, мы должны сказать: «Ничего нет, сами припухаем».

Логачов ушел, а я еще долго глядел ему вслед. Я давно уже ощутил, какую бодрость вселяют в нас встречи с этим решительным, мужественным человеком. Мы, как аккумуляторы, заряжаемся от него запасом энергии, твердости духа и уверенности.

Вечером Жора сравнительно легко уговорил Плюгавого, чтобы завтра он оставил дядю Ваню в лагере. Это стоило нам двух пачек сигарет. Нужно сказать, что после одного из Жориных концертов в комнате Плюгавого и штубового Зингера его назначили старшим уборщиком, ответственным за чистоту в шлафзале. Жора уже несколько дней по своему усмотрению выбирал из тысячи узников двадцать человек и в обед получал для них цулягу. Это был большой успех.

С вечера мы наметили и обсудили кандидатуры участников тайного собрания.

Наутро сразу после апелля проминенты, как обычно, пошли досыпать. Жора по распоряжению Вацека отобрал двадцать человек для уборки шлафзала. Все прочие под командой Янкельшмока занимались на площадке муштрой.

Мы собрались в самом дальнем углу шлафзала второй штубы. Выставили посты наблюдения и сигнализации— один возле комнаты проминентов, второй — у блокового и третий — у входа в блок.

Дядя Ваня открыл организационное собрание подпольной антифашистской группы. Голос его звучал торжественно, взволнованно, но говорил он коротко. Цель нашей подпольной организации — объединить и повести за собой узников карантинного блока, подготовить их к решительным действиям, когда наступит подходящий момент. Затем он представил слово Жоре, чтобы тот прочел устав организации. Над текстом этого устава мы немало потрудились, и поэтому почти все присутствующие знали его наизусть.

«Подпольная антифашистская организация создается для борьбы с гестаповско-полицейским режимом насилия и террора в освенцимском лагере смерти,— торжественно читал Жора,— для сохранения жизни советских людей и всех антифашистов, ...для беспощадной борьбы с бандитами, моральными растлителями, предателями, изменниками, доносчиками, клеветниками... для беспощадной борьбы с мародерами, хищниками, садистами и всеми фашистскими элементами».

Затем избрали бюро и его секретаря — дядю Ваню. Кроме него, в бюро вошли: Григорий Шморгун, Андрей Кашуба, Георгий Трембицкий и я.

Заместителем дяди Вани были избраны Григорий Шморгун и Жора.

Осталось решить вопрос о секретных кличках и пароле. Постановили дядю Ваню так и называть впредь, Андрея Кашубу — Шубой, Жору — Южным, Гришу Шморгуна — Моряком, а меня — Орленком. Паролем взяли слова: «Жизнь Орленку», отзывом — «Во имя победы!»

— Вот так, наш Орленок,— нежно обнял меня дядя Ваня. — Гордись и дорожи этим именем, а мы сделаем все, чтобы ты остался в живых.

Собрание мы провели за полчаса, после чего принялись за уборку шлафзала. Я ходил как в тумане.

— Что приуныл?— сказал Жора.— Теперь твое имя принадлежит истории. Так будь же настоящим Орленком! Во-первых, сделай лицо суровее, а голос — руководящим, и нос повыше задери,— засмеялся он.

До обеда мы в поте лица трудились в шлафзале. Начальство осталось довольно уборкой. С той поры команда уборщиков составлялась исключительно из подпольщиков.

В тот же день к вечеру, как предупредил Антоныч, к нам пришел связной — парень лет тридцати со шрамом на лице. Это был Володя Белгородский, о котором мы уже много слышали.

— Я вправду из Белгорода,— сказал он,— оттуда меня и в армию мобилизовали.

Он нам очень понравился: толковый, сдержанный. Оказывается, обо мне он также слышал, но, увидя, должно быть, разочаровался: перед ним стоял тощий, невзрачный малец. Володя предупредил меня, чтобы я все же остерегался своей славы и поменьше попадался на глаза эсэсовцам; не исключено, что мною может заинтересоваться лагерное гестапо.

Глава 19

Если бы кто-нибудь сказал мне, что я познакомлюсь с одним из главарей фашистской преступной камарильи Генрихом Гиммлером и даже буду с ним разговаривать, я попросту назвал бы его сумасшедшим. Всесильный рейхсфюрер СС, шеф германской полиции, всем палачам палач — и я!.. Такое представить себе немислимо!

День 21 июля 1943 года начался как обычно: подъем, апель. Блокфюрер Ауфмайер принял рапорт блокельтестера Пауля, дважды прошелся вдоль строя, пересчитывая узников, расписался в рапортичке и пошел на центральный апельплац доложить рапортфюреру. Мы остались в строю, пока не закончится развод. Прошло время апелья, а сирена почему-то не возвещала отбой. Мы терялись в догадках. Очевидно, произошло нечто необычное. Еще более насторожило всех то, что рапорты от блокфюрера в этот раз принимал сам начальник лагеря Рудольф Гесс, что уже само по себе было чем-то из ряда вон выходящим. Как мы узнали

потом, приняв рапорты, Гесс выстроил на центральном аппельплаце всех блокфюреров и офицеров эсэсовской охраны и сообщил, что в лагерь прибывает сам рейхсфюрер Гиммлер. После этого он долго инструктировал своих подчиненных, как нужно подготовиться к встрече высокого гостя. Рейхсфюрер любил наблюдать лагерь в действии. Нужно, чтобы у рейхсфюрера осталось впечатление об Освенциме как об образцовом, показательном лагере. После этого Гесс дал указание отправить арбайтскоманды на работу, а всех остальных узников послать навести в лагере идеальный порядок и чистоту. Уборку следовало закончить до двенадцати дня: в тринадцать прибудет Гиммлер.

Вскоре прибежал запыхавшийся Ауфмайер. Он распорядился выделить на каждый шлафзал по сто узников, остальные будут убирать территорию.

Плюгавый Вацек дал команду штатным прибиральщикам выйти из строя. К ним добавили еще восемьдесят человек, и работа закипела. Руководили уборкой немецкие уголовные преступники: палки гуляли по нашим спинам без разбора и снисхождения. Мы трудились в поте лица, вылизывая, что называется, все углы.

Чистоту немцы любили. Рядом со штабелями тщательно уложенных и посыпанных хлоркой трупов можно было увидеть аккуратно подстриженные декоративные кустарники и газоны, роскошные клумбы, ровные, как теннисный корт, площадки и дорожки, усыпанные белым песком, многочисленные таблички, выкрашенные масляной краской, расписанные затейливыми шрифтами на разных языках. Не хватало только качелей и фонтанов. Если бы не крематории, не смрад, не ограждения из колючей проволоки, не вышки с пулеметами, не мрачные здания блоков и не узники, напоминавшие вышедшие из преисподней привидения, освенцимский лагерь мог бы сойти за фешенебельный санаторий.

Весть о том, что прибывает сам Гиммлер, распространилась молниеносно. Все понимали: добра ждать не приходится. Гиммлер в Освенциме бывал не раз и не два, и после каждого его визита комбинат смерти увеличивал обороты, росли и убыстрялись темпы уничтожения людей.

Шесть часов мы работали, не разгибая спин. Наконец в двенадцать дали команду всех узников выстроить перед блоками. В лагере воцарилась зловещая тишина. Даже часовые на вышках перестали вышагивать.

Гиммлер и его свита прибыли специальным поездом — паровоз и четыре бронированных вагона. Один вагон занимал Гиммлер, второй — его свита, а в двух остальных была охрана.

Гиммлера в этой поездке сопровождали: начальник полиции, он же начальник имперской службы безопасности (СД) обер-группенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер; начальник управления шпионажа и диверсионной службы, или, как он тогда назывался, начальник VI Главного управления имперской безопасности бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг; начальник главного административно-хозяйственного управления войск СС обер-группенфюрер СС Освальд Польш; начальник отдела IV Б-4 управления СС штандартенфюрер Адольф Эйхман; шеф эсэсовских диверсантов, или, как его тогда называли, начальник VI управления гауптштурмфюрер СС Отто Скорцени и другие высокопоставленные чиновники фашистской империи.

Первой из вагонов выскочила личная охрана Гиммлера и выстроилась вдоль железнодорожной платформы. Перед тем как Гиммлер ступил на территорию лагеря, охрана заняла все блоки, мастерские, дорожки, площадки. Вдоль всего маршрута стояли автоматчики.

К двум часам дня напряжение достигло апогея. Узники уже два часа стояли перед блоками по команде «смирно». Некоторые не выдерживали невыносимой жары и напряжения и падали. Таких немедленно уносили в туалетную.

Гиммлер решил пройтись по лагерю пешком; он любил этот лагерь, как никакой другой. Не отвечая на целые хоры «ахтунгов» и «хайлей», среднего роста кривоногий человек с лицом мелкого торговца, в белой эсэсовской форме неторопливо прошел через ворота лагеря. Рядом семенил запыхавшийся Гесс, которому трудно было носить в этот июльский зной свою двухсоткилограммовую тушу. Да и не привык он ходить пешком. За Гиммлером сплошной стеной шли генералы и офицеры из его свиты. Процессию замыкали десяток освенцимских эсэсовских офицеров и среди них начальник крематориев Молл, доктор Менгеле, начальник лагерного гестапо Богер, рапортфюрер Бумтрок и другие.

Гиммлер внимательно всматривался во все, что встречалось на пути.

— Только в Аушвитце я отдыхаю по-настоящему и чувствую себя спокойным*,— сказал он Гессу в глубокой задумчивости.

*Эту фразу впоследствии часто повторяли эсэсовцы. Благодаря эсэсовцам, которые любили повторять слова начальства, множество деталей, связанных с визитом Гиммлера, стали известны подпольщикам, а отсюда и мне.

— Да, у нас тут хорошо, спокойно,— ответил Гесс. У самых ворот, с правой стороны, как идти в лагерь, росла одна-единственная березка. Увидев ее, Гиммлер остановился, на его каменном непроницаемом лице

прорезалось некое подобие улыбки.

— Подросла, красавица,— сказал он.— Смотрите, чтобы за нею был надлежащий уход.

— Я, герр рейхсфюрер, лично слежу за тем, как ухаживают за березкой,— поспешил заверить Гиммлера лагерфюрер, радуясь, что шеф сегодня в отличном расположении духа.

Гиммлер пожелал начать осмотр лагеря с карантинных блоков. Вся свита направилась ко 2-А блоку, который был крайним в верхнем левом углу лагеря.

Начальство еще не показалось, а наш блокфюрер стоял наготове. Раздалась команда «мютцен ап!»— две тысячи шапок ударились о бедра невольников, произведя громopodobный звук. Все замерли, боясь не то что шевельнуться, а даже перевести дыхание. Наконец где-то впереди, за углом соседнего четвертого блока, рявкнуло «ахтунг!» и вслед за тем появилась ослепительная свита.

Ауфмайер сдавленным от испуга голосом, в свою очередь, рявкнул: «Ахтунг!»— и, чеканя шаг, двинулся навстречу Гиммлеру, чтобы отдать рапорт. Едва он успел выбросить правую руку для нацистского приветствия, как Гиммлер нетерпеливым жестом оборвал рапорт и быстро подошел к выстроенным узникам. За ним поспешила вся свита. Издали замелькали высокие тульи с орлами и черепами на кокардах, светло-голубые мундиры генералов с ярко-красными лампасами на галифе и темно-зеленые — эсэсовцев рангом пониже. На солнце засверкали пуговицы, пряжки ремней, лакированные ремни и кобуры пистолетов.

Вот он в середине — один среди всех, словно белая ворона, в белых перчатках, поблескивает стеклами очков, почти до половины закрытых козырьком надвинутой на лоб фуражки. Генералы подобострастно заглядывают ему в лицо, за ними жмутся те, что званием пониже. Никого из них, конечно, не интересуют узники, а волнует только одно — настроение шефа.

Гиммлера я узнал сразу. Дело в том, что в гестаповской тюрьме Кракова в кабинете Крауса висело два портрета — Гитлера и Гиммлера. Во время допросов они все время были у меня перед глазами и навсегда врезались в память. Правда, на портрете Гиммлер выглядел моложе, и на носу у него были не очки, а пенсне.

Живого Гиммлера я наблюдал с острым любопытством. Скуластое, еще не старое, но уже обрюзгшее лицо, оттопыренные уши, крючковатый нос. Бросались в глаза отвислые розовые щеки, треугольные усики, узкий подбородок и глубоко посаженные колючие глазки-пуговицы — маленькие

черные зрачки в окружении зеленоватого болотца. Холеное непроницаемое лицо хранило следы чрезмерной косметики.

Пройдя вдоль первой шеренги, Гиммлер замедлил шаг и где-то посередине остановился. Лагерфюрер давал ему объяснения: какая категория узников содержится в этом блоке, откуда они прибывают. Гиммлер слушал молча и внешне совершенно равнодушно. Гесс, между прочим, сказал, что прежде продолжительность карантинного содержания узников составляла шесть месяцев, а теперь не более шести недель: это объясняется тем, что арбайтскоманды чаще нуждаются в пополнении вместо выбывших. Пожаловался, что и при этом администрация лагеря едва справляется, с трудом успевая пропускать узников через карантин даже при условии, что значительная часть прибывающих, как правило, подлежит «особой обработке». Под этим условным термином имелось в виду уничтожение. Преступные правители «третьего рейха» не любили называть вещи своими именами, а всегда прибегали к кодам, шифрам, символам, как, например: «Окончательное решение», «Особая обработка», «Кампания Рейнгардта» и прочее.

— Чем занимаются гефтлинги, находясь в карантине?— спросил Гиммлер.

— Их приучают к дисциплине, к порядку. Кроме того, мы прививаем им любовь к труду и вообще перевоспитываем. В этом отношении у наших кадров значительный опыт, — пояснил Гесс, улыбаясь.— Кроме того, во время карантина мы отсеиваем физически слабых, непригодных к интенсивному труду. Физически сильных вливаем в арбайтскоманды, а больных и немощных лечим. Селекцией занимается комиссия во главе с доктором Менгеле, а лечением — Молл. Карантинники получают половинную норму питания.

— Это правильно,— оживился Гиммлер.— А где Менгеле?

— Я здесь, господин рейхсфюрер!— отозвался один из идущих в хвосте свиты эсэсовцев и молодцевато подбежал к Гиммлеру.

О Менгеле я слышал очень много. Его боялись как огня. К моему удивлению, внешность этого «доктора» никак не вязалась с тем, что о нем рассказывали. В лагере он занимался «селекцией», попросту говоря — выбраковывал больных и немощных узников, как выбраковывают скот, и отсылал их в распоряжение Молла для «лечения», что означало уничтожение в газовых камерах и сожжение в крематориях. Менгеле проводил над живыми людьми свои изуверские опыты: стерилизовал женщин, девушек и даже девочек вплоть до младенцев женского пола, кастрировал мужчин и мальчиков, производил пересадку желез, спинного и

черепного мозга, делал резекции здоровых желудков, трепанации черепов, вводил в кровь заразные бактерии и возбудителей эпидемий, испытывал на людях разные яды и новые, еще не проверенные препараты.

Зная от подпольщиков, чем занимался Менгеле, я ожидал увидеть чудовище, вампира. Он оказался высоким, стройным, еще молодым мужчиной с приятной внешностью. Перед ним бледнел даже щеголеватый Ауфмайер. Я не мог и подумать, что четыре месяца спустя мне предстоит ближе познакомиться с ним и во время очередной «селекции» он отправит меня «на лечение» к Моллу.

— Не кажется ли вам,— сказал Гиммлер,— что многие карантинные узники нуждаются в вашем пристальном внимании и лечении?

— Вполне с вами согласен, господин рейхсфюрер. Но лагерей много, контингент гефтлингов велик, а комиссия одна. У меня только три помощника: Клейн, Кениг и Тило. Мы и так работаем сверх пределов возможного.

— Здесь не обязательно быть врачом. Не умеете работать! Все четверо. Возьмите каждый себе в помощь по эсэсовскому офицеру и по писарю — вот уже четыре комиссии. В течение нескольких часов можно осмотреть десять тысяч узников. Вы меня поняли?

— Все понятно!— ответил Менгеле, не выказывая при этом никакого страха перед грозным рейхсфюрером. Более того, он смотрел на Гиммлера даже лукаво.

Гиммлер пошел дальше вдоль строя, туда, где на левом фланге стоял и я. В отличие от других узников на мне была новенькая, хорошо сшитая и подогнанная форма, а на ногах вместо деревянных гольцшугов кожаные ботинки. Это постарались Ганс и Антоныч. Как я уже говорил, внешний вид узника в немецких лагерях играл не последнюю роль. Именно поэтому Антоныч и Ганс позаботились о моем внешнем виде.

Через мгновение я почувствовал на себе колючий взгляд Гиммлера, а когда он заговорил, с первых же слов понял, что речь идет обо мне.

— Спросите этого русского, за что он попал в штрафники,— приказал Гиммлер офицеру, который стоял рядом и держал руку на расстегнутой кобуре пистолета.

По опыту я знал, что отрицать свою вину значило озлоблять фашистов, ставить под сомнение их право карать. Решаю играть роль наивного простачка, раскаявшегося в ошибках, совершенных по молодости и неопытности.

Тем временем переводчик повторил вопрос Гиммлера. Для меня было бы лучше делать вид, что я не понимаю по-немецки, тогда оставалось бы

время для обдумывания ответов. Но, с другой стороны, знание языка могло вызвать и положительную реакцию.

— Благодарю вас, господин штурмбаннфюрер, не извольте утруждать себя,— сказал я переводчику и обратился к Гиммлеру:

— Господин рейхсфюрер, разрешите ответить на ваш вопрос?

Гиммлер удивленно шевельнул бровями:

— Ты меня знаешь?

— Вас знает вся Германия!— выпалил я.

— Гкм... — Гиммлеру не удалось сдержать улыбки. — А откуда ты знаешь немецкий?

— Изучал в лагерях.

— Похвально, похвально,— сказал Гиммлер, и его непроницаемое лицо несколько оживилось.— Ну а почему же ты попал в Освенцим?

— Бежал из Германии.

— Почему? Не захотел работать?

— Нет. Работал я хорошо, мастера были довольны моей работой, но меня плохо кормили, и я бежал, надеясь найти лучшее место.

По лагерным правилам начальству надлежало отвечать громко и четко.

Гиммлер и вся свита с любопытством слушали мои ответы, а наш блокфюрер Ауфмайер стоял бледный, как стена. Наверное, очень волновался, боясь, не сболтну ли я чего лишнего. Но я понимал, что попытка изобличить Ауфмайера закончится тем, что и меня, и всех свидетелей, а точнее две тысячи узников блока, Гиммлер прикажет расстрелять. Он не потерпит позора, который темным пятном упал бы на войска СС.

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове.

Справа от Гиммлера стоял генерал с отвратительным асимметричным лицом. Это был Кальтенбруннер. Рядом стоял Шелленберг. Слева от Гиммлера находился Рудольф Гесс, а возле него штандартенфюрер с лицом непорочной девы. К нему и обратился Гиммлер:

— Слышите, Эйхман, этот гефтлинг искал райский уголок и нашел его в Освенциме.

Свита дружно расхохоталась, а Эйхман с видом заговорщика почему-то подмигнул мне и сдержанно усмехнулся.

Гиммлер, дав волю смеху, снова впери в меня взгляд своих колючих глаз.

— Ну и как, ты нашел то, что искал? Здесь лучше?

— Нет, но зато здесь порядок,— сказал я.

— Вот как! А в чем же заключается этот порядок?

— В высокой организованности, суровой дисциплине. Каждый гефтлинг знает свое место, никто не смеет нарушать приказов. Здесь подлинный немецкий порядок. Ну... и думать не нужно — начальство думает за тебя.

— Слышали, Гесс? Это комплименты в ваш адрес,— съехидничал Гиммлер.— Как видите, наши национал-социалистские идеи и немецкая система железной дисциплины и трудового воспитания дают свои плоды. Вообще я вижу, что на карантине у вас порядок. Гесс подобострастно поддакивал, члены свиты удовлетворенно кивали.

— Скорцени, вам не подойдет этот гефтлинг?— Гиммлер не то шутя, не то серьезно обратился к двухметровому верзиле в чине гауптштурмфюрера. У него было квадратное, сильно загорелое лицо, изуродованное шрамами.

Верзила презрительно сжал губы. Гиммлер не унимался:

— Имейте в виду, искренность — весьма ценная и редкая черта, которую мы еще не всегда умеем ценить.

— Согласен, но она полезна далеко не во всех случаях,— ответил Скорцени. Было странно видеть, как эсэсовец в звании капитана так уверенно и независимо держит себя в присутствии рейхсфюрера СС. Только со временем нам стало известно, что Скорцени имел особые полномочия Гитлера.

— Ты хотел бы быть на воле?— ни с того ни с сего спросил меня Гиммлер.

Свобода? Из рук Гиммлера? По горькому опыту других я уже знал, что гестаповцы и эсэсовцы даром никогда ничего не дают. Они даже могут выпустить меня, чтобы затем организовать пропагандистский балаган: отпетого, мол, преступника, большевистского фанатика перевоспитали национал-социалистские идеи, дисциплина и труд.

— Я хочу разделить судьбу своих соотечественников. Кроме того, до окончания войны мне все равно где работать на великую Германию, — отчеканил я.

Визит Гиммлера не закончился благополучно для нашего блока. Уже когда этот палач и его свита миновали наш строй, один из узников, очевидно впавший в полное отчаяние, закричал:

— Господин министр? Разрешите обратиться!..

Гиммлер остановился.

— Я попал сюда по ошибке и страдаю безвинно. Прошу вас, разберитесь...

Узник заплакал.

Переводчик разъяснил Гиммлеру его слова. Рейхсфюрер скривился, словно от зубной боли, и вдруг сердито заорал:

— Страдаешь? По ошибке? Свинья! Гестапо не ошибается! В Освенциме не страдают, а искупают свою вину перед рейхом!— И, разъяренный, пошел дальше.

Гесс и Ауфмайер поспешно записали номер узника.

После посещения нашего блока Гиммлер зашел в центральную канцелярию, затем отправился на склад награбленных вещей. После этого Гиммлер и его свита отправились в Биркенау посмотреть на работу крематориев. Два крематория осмотрели поверхностно, наспех, а в третьем задержались — туда прибыло «сырье», и Гиммлер заинтересовался циклом превращения людей в пепел. Он сделал замечание, что процесс удушения продолжается чересчур медленно, и посоветовал не жалеть циклона.

Как выяснилось, Гиммлер остался недоволен работой команды «Канада», плохим хранением имущества, отобранного у обреченных и уничтоженных узников. Он приказал построить новые склады и обеспечить сохранность всех без исключения вещей вплоть до детских колясок и очков. «Все это необходимо Германии»,— сказал Гиммлер.

Гесс оправдывался тем, что железнодорожный транспорт не успевал вывозить все вещи, по этой причине и приходилось складывать их прямо на земле под открытым небом. Недоволен остался Гиммлер и темпами строительства новых крематориев.

Кроме того, он дал указание сосредоточить всех штрафников в одном блоке, чтобы они «не били баклуши» по всем баракам и чтобы в отношении их применяли самый суровый режим, как к зондербегандлунгам*. Гесс заверил, что указание будет выполнено, для этого в лагере и существует одиннадцатый блок**.

* Те, которые содержатся на особом режиме.

** Абсолютно изолированный блок, из которого узники никогда не возвращались в лагерь. Приказ Гиммлера, касающийся штрафников, был выполнен месяц спустя.

Вечером Гесс в своем коттедже дал банкет в честь высоких гостей. Той же ночью Гиммлер отбыл в Берлин.

Мы оживленно обсуждали этот визит Гиммлера. К нам пришли даже из других блоков посмотреть на узника, который разговаривал с самим Гиммлером и остался жив.

— Ты молодчина, Малыш!— сказал Жора после ухода гостей.— Как я волновался за тебя! Наверное, ты в самом деле родился в рубашке.

Этим же вечером к нам пришел Антоныч. Он сказал, что визит

Гимmlера не сулит ничего хорошего; репрессии, безусловно, усилятся. Удачу же Орленка нужно использовать. Теперь его не тронут ни Ауфмайер, ни Пауль. Антоныч посоветовал нам завтра поговорить с блоковым, не согласится ли тот за хорошую плату снять с меня мишени штрафника.

— Железо надо ковать, пока оно горячо,— сказал он.— Прозондируйте почву, намекните о сигаретах, поторгуйтесь, больше десяти пачек не предлагайте, предел — двадцать. И не особенно заискивайте, сейчас этот тип нам не так уж страшен! — напутствовал Антоныч.

На следующий день, несмотря на все наши уговоры, Вацек отправил дядю Ваню на работу в штрафную команду.

— Пацан — дело другое,— сказал Плюгавый.— А с остальными штрафниками церемониться нечего: скоро им всем труба!

Мы и сами чувствовали, что надвигается гроза. Забегая вперед, скажу, что 24 и 25 июля в лагере были проведены массовые «селекции», в результате которых несколько тысяч узников отправили в распоряжение Молла.

И вот в это утро, когда нам не удалось отстоять дядю Ваню, после отправки арбайтскоманд нас продолжали держать в строю. Через час появился Ауфмайер. По его приказу из блока принесли дубовый табурет, возле которого стоял Янкельшмок и еще три холуя с увесистыми дубинками в руках. Ауфмайер произнес речь. Из нее явствовало, что его настойчивая работа по перевоспитанию узников не пропала даром, что рейхсфюрер и лагерфюрер остались довольны порядком в блоке. Но нашелся один негодяй, который чуть не испортил всю обедню.

— Сейчас,— объявил блокфюрер,— этот клеветник получит сто палок.

Несчастливого поляка, осмелившегося обратиться с жалобой к самому рейхсфюреру, вывели из строя и потащили к табурету. Он рыдал, судорожно, как астматик, хватая ртом воздух. Его опухшее от голода водянистое лицо побелело. Все понимали, что даже здоровый, сильный человек не может выдержать больше пятидесяти ударов, какие обычно раздавал Янкельшмок. Узнику предстояла мучительная смерть. На наших глазах совершалась еще одна дикая расправа, а сколько их было и сколько еще будет!

Как цепи во время обмолота, засвистели в воздухе дубинки. Минут пятнадцать тело обреченного корчилось и конвульсивно содрогалось. Когда счет перевалил за сорок, он был уже мертв. Но его продолжали бить до тех пор, пока Ауфмайер не досчитал до ста.

Убитого отнесли в туалетную, после чего Ауфмайер еще долго разглагольствовал о порядке, нарушать который не смеет никто. «Приказ

есть приказ!»— сказал он в заключение.

Ауфмайер ушел, приказав «закалять гефтлингов спортом». Главные придурки отправились отдыхать. Жора, как ответственный за уборку, отобрал восемнадцать человек, и мы ушли в барак. Остальные остались на площадке на «тренировке» под руководством Янкельпмока.

Уборку мы к полудню закончили, но не выходили из блока, создавая видимость работы. Вообще уборщиков придурки никогда не выгоняли ни на какие «занятия». Поэтому мы, восемнадцать подпольщиков, были в привилегированном положении по сравнению с остальными узниками. Только двое наших товарищей — Дядя Ваня и Гриша Шморгун — по-прежнему находились в штрафной команде. Для них мы оставляли хлеб и баланду, «организованные» Жорой.

Под вечер один из пиплей сообщил Жоре, что пан староста проснулся. Надо было попробовать уговорить его снять с меня мишени штрафника.

Когда мы с Жорой подошли к комнате блокового, оттуда доносились звуки губной гармошки. Значит, Пауль был в хорошем настроении. Жора постучал и скрылся за дверью. Через пять минут он позвал меня. Я вошел в комнату и почтительно остановился у порога, боясь прервать «вдохновенную» игру.

Блоковый в одних трусах лежал на кровати в окружении доброго десятка разноцветных шелковых подушек. В изголовье стоял пипль и усердно обмахивал Пауля огромным веером.

Пол комнаты был устлан дорогими коврами, стены тоже в коврах, а на одном из них, висевшем над кроватью, я увидел целую витрину порнографических цветных открыток. Чего только на них не было!

Разговор с паном старостой оказался удивительно коротким и ужасающе конкретным:

— Двести пачек сигарет — и аллес ин орднунг.

Мы ахнули. Двести пачек! В переводе на хлеб — две тысячи порций хлеба! Жора начал азартно торговаться.

— Ну ладно, я не какой-нибудь жмот,— блоковый пошел на уступки.— Сто пачек сразу или сто пятьдесят в рассрочку сроком на месяц. Все. А теперь проваливайте!

— Какой негодяй!— возмущался Жора, когда мы вернулись к своим нарам.— Такого шкуродера я бы сам повесил...

Глава 20

В шесть вечера к нам пришел Антоныч.

— Ну, что нового?— спросил он.

Мы поведали ему о своих делах, сообщили, что восемнадцать

подпольщиков уже работают штатными уборщиками, что мы изучаем людей, нашли общий язык с двумя немецкими политзаключенными и с группой польских узников, создавших в нашем блоке свою подпольную организацию, построенную по принципу национального землячества, Сказали, что придется, наверное, открыть карты перед нашими новыми друзьями — немцами и поляками. Рискованно, конечно, но что делать...

— С этим не торопитесь,— сказал Антоныч.— Работайте пока с нашими людьми. Со всеми остальными поддерживайте тесный контакт и дружбу. А слияние, если нужно будет, проведут без вас. Не слишком увлекайтесь, придерживайтесь самой строгой конспирации.

—Дядю Ваню и Гришу Шморгуна гоняют по-прежнему на работу в штрафную команду, — сокрушался Жора.— Да и у Орленка положение ненадежное из-за проклятых мишеней...

Мы рассказали о результатах визита к блоковому.

Впервые за это время Антоныч усмехнулся:

— Сто пачек? А сто чертей в печенку он не хочет? Нам не нужна его помощь. Сам лагерфюрер уже снял с тебя мишени штрафника.

— Как?..

— В два часа дня Гесс зашел в обершрайбштубу, и, вызвав Ауфмайера, приказал ему сегодня же перед строем узников блока снять мишени штрафника с гефтлинга 131161, который понравился самому рейхсфюреру. Кроме того, за образцовое поведение и старательность в труде велел выдать узнику буханку хлеба, полкилограмма колбасы и пачку маргарина, Уразумел?

Я, не помня себя от радости, бросился обнимать Жору.

Но Антоныч тут же обрушил на нас ушат холодной воды.

— Не торопитесь радоваться,— сказал он,— Вполне возможно, Ауфмайер попыбует сделать Орленка своим холуем. Кроме того, им как «передовым» гефтлингом. может заинтересоваться гестапо и предложить стать их агентом. Будьте готовы ко всему.

Не успели мы попрощаться с Антонычем, как пришел Ауфмайер. По его приказу Пауль выстроил нас и, как положено, отдал рапорт, после чего Ауфмайер обратился к нам с традиционной речью о «дисциплине и порядке».

— Мои труды не пропали даром,— сказал под конец Ауфмайер.— Наш блок признали лучшим в лагере, что побудило меня обратиться к лагерфюреру с ходатайством о поощрении некоторых гефтлингов, разумеется, лучших.

Затем он сказал, что его стараниями пять польских фольксдойче

признаны чистокровными арийцами. Отныне они становятся привилегированными гефтлингами. Блокфюрер вынул из кармана блокнот и назвал пять номеров, приказав их обладателям выйти из строя. Вперед вышли пятеро уголовников с зелеными винкелями на груди. Тут же перед строем им разрешено было спороть букву «Р». Новоиспеченные арийцы подобострастно благодарили блокфюрера и в его лице лагерфюрера.

Затем Ауфмайер назвал мой номер и приказал выйти из строя.

— За исключительную старательность в работе, дисциплинированность и послушание,— сказал он,— командование лагеря снимает с тебя мишень штрафника и причисляет к привилегированным гефтлингам.

Я поблагодарил Ауфмайера за «отеческую заботу».

Заискивающе улыбаясь, Плюгавый Вацек тут же перед строем отпорол перочинным ножичком спереди и сзади красные мишени штрафника.

Ауфмайер говорил еще несколько минут, после чего пошел с Паулем в блок — он не выносил жары.

Солнце заходило. Тяжелая духота начала понемногу спадать, и тем не менее от накаленных за день каменных блоков и брусчатки несло жаром. Янкельшмока на площадке не было, и узники опустили на землю. Многие дремали в полузабытьи, другие, сбившись в кучи, рассказывали друг другу всевозможные житейские истории, чтобы хоть как-нибудь скоротать время и не думать о голоде. Это были тихие, блаженные минуты, не столь уже частые в нашей жизни. Я, Жора и несколько парней лежали на земле перед блоком, обсуждая события дня. Все радовались, что я избавился от штрафной команды, но вместе с тем высказывали опасения, как бы щедрость эсэсовского начальства не вышла мне боком. В это время на площадке появился Вацек.

— Хундertaйнундрайсикхундertaйнундзехцик!— прогундосил Плюгавый.

Я подбежал к нему. Отрапортовал.

— Иди в комнату блокового, тебя вызывает господин блокфюрер, — прокаркал Плюгавый, поощрительно хлопнув меня по спине.

В коридоре я привел себя в порядок, вытер пыль на ботинках и с замиранием сердца постучал в дверь.

— Герайн!

Ауфмайер был явно навеселе, в комнате больше никого не было. Я отрапортовал, как положено, и замер на месте.

— Ну, доволен?— спросил он.

— Не знаю, как и благодарить вас за вашу доброту, герр блокфюрер.

— Это верно. Я мог бы давно уже отправить тебя на тот свет, могу сделать это и сейчас. Но я человек слова. Пообещал отблагодарить за услугу — сделал. Я умею выполнять обещание. Это мой принцип, мое правило. Порядочность прежде всего.

Я снова поблагодарил Ауфмайера.

— Откуда ты прибыл в Аушвитц?

— Из Мысловицкого лагеря, а перед тем сидел в краковской тюрьме, в Моабитской.

— Да ты заслуженный гефтлинг, со стажем и опытом! Ну что ж, тем лучше. Хорошо и то, что владеешь немецким.

Я опять поблагодарил Ауфмайера, понимая, что все услышанное — всего лишь преамбула.

— Тебя никто не обижает?

— Никто. Я глубоко благодарен вам, герр блокфюрер.

— А теперь открой-ка эту тумбочку и вынь из нее пакет.— Я повиновался.— Там буханка белого хлеба, колбаса и маргарин. Все возьмешь себе,— сказал Ауфмайер, не сводя с меня пристального, изучающего взгляда.— Ты давно был в Моабите?

— В мае прошлого года, герр блокфюрер.

— Тебе случайно не приходилось там слышать о Вилли Шмидте?

— Не только слышать. Я имел счастье сидеть с ним в одной камере, в сто сорок четвертой. Великий гангстер был у нас старостой,— ответил я, чем очень обрадовал Ауфмайера.

Он просто загорелся весь. Поднявшись с подушки и расстегнув китель, долго расспрашивал меня о Вилли Шмидте.

Несомненно, его прошлое было прочно связано с этим гангстером.

Ауфмайер смотрел на меня почти с нежностью.

После того как я рассказал о Вилли все, что знал, Ауфмайер минуты две молчал, довольно потирая руки, оживленный и радостный. Я тоже был рад, что все идет пока гладко.

— Со мной не пропадешь, мой мальчик. Ты умница, видать, умеешь и организовывать! В моем блоке ты будешь как у Христа за пазухой. Я тебе доверяю и хочу, чтобы ты кое-что делал для меня.

Я заверил Ауфмайера, что на меня он может положиться, как на самого себя.

— Хорошо. Но предупреждаю: язык держи за зубами! Если где-нибудь что-либо сболтнешь, мгновенно переведу тебя в гиммелькоманду. У меня это просто.

Понял?

Я вытянулся в струнку, сказал, что буду нем как рыба и сделаю все, что он пожелает. — Завтра повезешь на склад команды «Канада» кессели с едой. Кроме кесселей, доставишь туда фляги со спиртом и отдашь их капо Вернеру. Вернер — широкоплечий, белобрысый парень, ты его легко отличишь: на груди у него зеленой тушью вытатуирован орел, а на кисти правой руки — якорь. Вернера отличить может даже слепой, да тебе и не нужно будет его искать — он сам примет кессели. Скажешь ему, но так, чтобы никто не услышал, что половина камушков, переданных им в прошлый раз, фальшивые, поэтому за ним должок. И пусть не скупится.

— Все будет сделано, герр блокфюрер.

— Я тебе доверяю. Но имей в виду: попадешься — всю вину катай на себя, меня не впутывай! Спросят, откуда спирт, скажешь, что стянул в комнате блокового, а мы засвидетельствуем, что фляги со спиртом, изъятые из чешских и немецких посылок, действительно кто-то украл. В крайнем случае тебя отдубасят и отправят на перевоспитание ко мне. Двадцать; пять ударов выдержишь запросто, потом отлежишься в блоке. Кормить будем хорошо, поправишься быстро. Но лучше, конечно, не попадаться. Если же струсил, тут уж ни я, ни сам черт тебе не поможет.

— Можете не сомневаться, герр блокфюрер. Я вас не подведу.

— Как ты думаешь пронести фляги?

— Сперва надо на них посмотреть.

Беззвучно, словно водяной жук, проплыв по комнате, он с помощью перочинного ножика открыл потайной ящик письменного стола и вынул оттуда две металлические продолговатые и плоские фляги. При этом пальцы его рук мелко дрожали, как у карманного воришки. Мягкие и чрезвычайно осторожные движения да и вся манера держаться — все выдавало в нем выходца из уголовного мира. Показалось, что передо мною не эсэсовский офицер, а обыкновенный вор, из тех, что считали себя интеллектуалами, королями уголовного мира, профессорами «культурного» грабежа и афер.

Блокфюрер передал мне фляги. Пока я рассматривал их, Ауфмайер смотрел на мои руки. Его внимание привлекли многочисленные рубцы и шрамы.

— Что это?— спросил он.

— Память гестаповской тюрьмы, господин блокфюрер.

Ауфмайер засмеялся:

— Результат собеседования «по душам»?

— Так точно, господин блокфюрер.

— Да-а... у гестапо мертвая хватка...— посочувствовал блокфюрер.—

Ну так ты придумал, как пронесешь эти фляги?

Я вертел в руках фляги емкостью с литр каждая. Обычные пробки в них сверху закрывались плотно завинчивающимися колпачками, что обеспечивало полную герметичность. Работа явно кустарная, хотя и ювелирная. Каждая фляга толщиной сантиметра в четыре, вытянута по форме в длину, с одной стороны вогнута, а с другой — выпукла. Сверху у горлышка и снизу под донышком было припаяно по два ушка для шнурков, чтобы ее можно было привязать к бедру или туловищу.

Я сказал Ауфмайеру, что лучше всего прятать с таким расчетом, чтобы брючный ремень проходил посередине каждой фляги и плотно прижимал их к животу. Как правило, обыск проводится снизу вверх. Обыскивающий приседал на корточки и ощупывал ноги, бедра. В момент, когда он выпрямлялся, чтобы обыскать выше, нужно резко втянуть живот, фляги, освободившись от давления ремешка, незаметно скользнут по ногам в кальсоны, которые внизу должны быть завязаны штрипками. Лагерные штаны очень широкие и мешковатые и как нельзя лучше маскируют такую манипуляцию.

Ауфмайеру не терпелось немедленно проверить предложенный мною способ. Я спрятал фляги под белье, затянул ремешок, а он, присев на корточках, начал обыск. Результаты оказались блестящими.

— Чудесно! Молодец! Изумительно!— не переставал восхищаться блокфюрер.— И все так просто и надежно. Это замечательно, друг мой!— Он закурил и, глядя на меня умиленно, спросил:— А как ты думаешь пронести золото, когда будешь возвращаться?

— Можно в кесселе. В кесселе двойные стенки, и между ними для изоляции поставлена пробковая прокладка. Часть прокладки придется вынуть и в образовавшийся тайник прятать золото, закрыв его той же прокладкой, да еще для маскировки облить баландой. С таким кесселем можно пройти через любой контроль. Разумеется, кессель нужно подготовить заранее.

— Вариант великолепный, но мы его отбросим, чтобы не втягивать кухонных работников. Круг лиц, посвященных в это дело, нужно сузить до минимума. Есть более простой вариант: золото будешь нести во рту.

— А если велют открыть рот?

— Исключено. Тем более что я кое с кем договорился. Но вообще, конечно, чего не бывает. От случайностей никто не застрахован. Главное — ни в коем случае не признаваться, кому несешь. Нужно сказать, что взял для себя с целью выменять на хлеб. Обо всем прочем я позабочусь сам. Не подведешь?

— Можете не сомневаться, господин блокфюрер.

— Ладно. Завтра повезешь обед в команду «Канада». Но тебе нужен надежный помощник.

— Есть такой.

— Номер?

— Сто тридцать один пятьсот один. Звать Георгом. Он старший над командой уборщиков.

— А-а, тот певец?

— Так точно. Сам он из немецкой семьи; его мать — немка. Только у него пропали документы, подтверждающие происхождение. Парень железный.

— Отлично. Кликни-ка его сюда. Жора нервно вышагивал по площадке перед блоком и встретил меня вопросом:

— Почему так долго? Что случилось? Я коротко изложил ему суть дела.

— Нам золото тоже понадобится,— сказал Жора.— Нужно спасти наших. Для этого необходимы продукты и медикаменты. С пустых рук не разживешься. Выменять можно только на золото.

Мы пошли к Ауфмайеру.

Минут пятнадцать мы втроем обсуждали детали предстоящей операции, прорепетировали манипуляции с флягами и с воображаемым золотом, вместо которого Ауфмайер дал нам горсть монет. Мы совали их в рот, клали под язык, за щеки, стараясь делать все как можно быстрее, незаметнее и совершенно бесшумно. Наконец все было отрепетировано и обо всем договорено. Ауфмайер велел нам идти, разрешив взять пакет и пообещав, что отныне мы ежедневно будем получать такой презент, а лагерного «зуппе»— сколько пожелаем.

Еще раз поблагодарив блокфюрера, мы вышли.

На душе было тревожно, вот мы и попались в сети Ауфмайера, а удастся ли выпутаться? Но это была реальная возможность помочь товарищам и пренебрегать ею было нельзя.

За туалетной комнатой была крохотная каморка, в которой хранились ведра, щетки, каустическая сода, тряпки и прочий хозяйственный инвентарь. Все это находилось теперь в ведении Жоры, как старшего команды уборщиков. Чуланчик этот мы называли каптеркой. У Жоры был свой ключ, и мы хранили здесь не только швабры, но и организованные за день продукты для дяди Вани и Гриши Шморгуна.

Закрывшись с Жорой в каптерке, достали спрятанный ножик и разделили хлеб, колбасу и маргарин на двадцать одинаковых порций, после

чего я сбегал на площадку, разыскал «уборщиков». Товарищи поочередно заходили в каптерку, и каждый получал свою порцию.

Глава 21

Вечером Жора и я отпросились у штурбового на часок «погулять». Он решил, что мы идем «организовывать». Да так оно, собственно, и было. Теперь нас собралась порядочная семейка — двадцать человек. Кормить их была наша кровная обязанность, поскольку и Жора, и я находились в привилегированном положении по сравнению с другими.

До вечернего апелля оставалось часа полтора. Решили заглянуть в четвертый и шестой блоки. Там жили проминенты из числа немцев, поляков и чехов. Они занимали в лагере командные должности и получали из дому посылки.

В четвертом блоке мы зашли в штурбу проминентов. Там стояло двенадцать двухъярусных деревянных коек, застланных добротными шерстяными одеялами. В помещении чисто, аккуратно. Двадцать лагерных аристократов ужинали. Чего только не было у них на столе! Консервы, колбасы, сыры, варенье, домашнее печенье... На отдельном столике стояло несколько распечатанных посылок. Мы пожелали «уважаемым господам» приятного аппетита, после чего я как можно независимее спросил, не желают ли «уважаемые господа» послушать знаменитого певца Георга. «Господа» недоверчиво смерили нас косыми взглядами, презрительно скривились и спросили: «А на каком же языке он будет петь?»

— На каком пожелаете,— ответил я. Это произвело впечатление. Жора спел три песни: немецкую, чешскую и польскую. Успех был потрясающий. Придурки долго не хотели отпускать нас, заказывая все новые и новые песни. В качестве гонорара дали нам хлеб, сало, банку консервов и немного печенья.

До апелля оставались считанные минуты. Мы торопились в нашу каптерку, чтобы успеть разделить продукты и раздать их.

Не успели мы войти, как неожиданно раздался условный стук, настойчивый и нетерпеливый. Мы отперли дверь. В чулан, шатаясь, вошел узник и в изнеможении прислонился к стене. Лицо его было распухшее и черное от побоев, со следами запекшейся крови, маринарка* с мишенью штрафника и мютцен забрызганы кровью, глаза заплыли, вместо рта алело кровавое месиво. Это был Гриша Шморгун, только что вернувшийся с арбайтскомандой в лагерь. Он был изувечен и обезображен до неузнаваемости.

— Пить...— простонал он.

* Пиджак узника, сшитый из полосатой мешковины (*польск.*).

В каморке стояли две миски холодной баланды, оставленной для дяди Вани и Гриши. Мы дали ему одну миску. Он сразу осушил ее и бессильно опустил на ящик. Шамкая беззубым ртом, Гриша сказал:

— Дядю Ваню убили, гады! Завтра меня добьют.

Весть ошеломила нас. С трудом ворочая распухшим языком, Гриша рассказал о разыгравшейся трагедии. Капо Адольф бесновался как никогда. Он без конца цеплялся к дяде Ване, всячески над ним издеваясь и избивая без всякой причины, после чего заявил, что сегодня же отправит его в крематорий.

К концу рабочего дня Адольф подошел к дяде Ване и со словами «сейчас я тебя укокошу» начал избивать. Чувствуя неотвратимую неизбежность гибели, дядя Ваня ударом лопаты раскроил череп Адольфу. Эсэсовцы расстреляли дядю Ваню, а с ним еще двадцать штрафников. Всех остальных избили до полусмерти.

— Сам не пойму, как в живых остался, — сказал

Гриша.

Шморгуна надо было спасти любой ценой.

— Вся надежда на тебя, — сказал я Жоре. — Сегодня же поговори с Плюгавым, чтобы не посылал Гришу в штрафную команду.

— А что же я предложу этому подонку взамен? — чуть не плача спросил Жора. — У нас ведь ничего нет, а петть он может заставить меня за баланду, а то и так...

— А что если пообещать ему золото, которое мы организуем завтра? — неуверенно предложил я. Жора подумал:

— Придется... Иного выхода все равно нет.

Мы промыли Гришины раны водой, кое-как перевязали, потом отдали ему половину принесенных продуктов. Времени оставалось в обрез.

На наше счастье, пришел связной от Антоныча Володя Белгородский. Мы рассказали ему о гибели дяди Вани и о том, что завтра идем «организовывать» золото Ауфмайеру. Володя пообещал завтра же прислать Ганса.

— В связи с гибелью дяди Вани руководство подпольной группой 2-А блока бери пока на себя, — сказал Володя Жоре, — а мы поможем. С золотом будьте предельно осторожны, иначе и сами погибнете, и Гришу погубите. Отдать Ауфмайеру нужно большую часть, чтобы не вызывать подозрения. Проверить точно, сколько вы раздобыли в «Канаде» золота, он не сможет — не имеет туда доступа; связь с «Канадой» у него непрочная. Плюгавому же пары монет вполне достаточно. Остальное отдадите любому из наших или тому, кто явится к вам и назовет пароль, — напутствовал нас

Володя. А через минуту прозвучала лагерная сирена, возвестившая о построении на вечерний Appel.

Мы помогли обессилевшему Грише выйти на площадку и стать в строй и попросили узников держать его под руки до конца Appеля. Место Гриши находилось в предпоследней, девятой, шеренге, где поддержка обессиленных узников была делом обычным. Ауфмайер во время пересчитывания рядов проходил всегда впереди строя и мог видеть только головы узников, стоящих в глубине строя

Все сошло благополучно и сравнительно быстро. Короткая сирена оповестила лагерь об окончании Appеля. Узники ринулись в свои блоки. Через пятнадцать минут должна прозвучать длинная сирена отбоя, после которой запрещается какое бы то ни было хождение не только по лагерю, но и в блоках. За это время нужно успеть сбежать в туалет, вернуться в шлафзал, раздеться, занять место на нарах. В эти минуты в блоках суматоха и давка достигала своего апогея. В этой толчее нередко погибали больные и наиболее обессиленные узники. Поэтому мы попросили товарищей, чтобы помогли Грише добраться до нар.

За минуту Appельплац опустел. На нем оставался только Плюгавый Вацек. Мы с Георгием подошли к нему, попросили уделить нам несколько минут и начали нелегкий разговор о Грише Шморгуне.

— Известно ли вам, господин старший писарь, какая нам предстоит завтра работа? — спросил Жора.

— Знаю. Пойдете в «Канаду», — ответил Плюгавый.

— Сами понимаете, это редкая возможность кое-что организовать, — дипломатически намекнул Жора.

— Кроме золота, вы вряд ли оттуда что-нибудь вынесете, а золото должны будете отдать тому, кто вас туда посылает.

— Совершенно правильно, но разве нам запрещается организовать немного и для себя не в ущерб интересам нашего хозяина?

— Ну что ж, я тоже постараюсь быть для вас полезным, — пообещал Вацек.

— Позвольте вас попросить об одном существе пустяке.

— Ну?

— Оставьте в блоке на пару дней одного моего приятеля, с которым я когда-то сидел в тюрьме и который меня не раз выручал в прошлом. Я перед ним в долгу. Сейчас он штрафник, сегодня попал в переделку. Хотелось бы помочь парню.

— Договорились. Но, разумеется, о нашем разговоре ни гуту... — Вацек записал Гришин номер.

— Могила! — поклялся Жора.

Мы поблагодарили Вацека и вернулись в блок. Суматоха в шлафзале уже начала стихать. Первым делом мы забрали Гришу и устроили его возле себя. За ломтик хлеба один из узников с радостью поменялся с ним местами.

Прозвучала сирена отбоя. В шлафзале погас свет. Под потолком мерцали лишь синие точки — ночные контрольные лампочки. Измученные узники мгновенно заснули тяжким и маетным сном. Гриша всю ночь стонал, метался, бредил. То звал дядю Ваню, то какого-то комиссара из Севастополя, то плакал и просил пить. Грише было так плохо, что казалось, до утра он не дотянет. Придет ли завтра Ганс? Оставит ли Гришу в лагере Плюгавый? Удастся ли нам раздобыть золото? Сколько забот, сколько задач со множеством неизвестных!

Мысль не могла смириться с тем, что дяди Вани уже нет. С острой болью я думал об этом человеке и обо всех дядях Ванях, которых встречал в тюрьмах и лагерях. Как правило, это были коммунисты. Они не изменили своему долгу и в лагерях, как и на фронте, находились в первых рядах сражающихся против фашизма...

Глава 22

На рассвете мы с трудом растормошили Гришу, вывели, точнее — почти вынесли на апельплац и поставили в строй. На всякий случай Жора еще раз напомнил Плюгавому о нашей просьбе. Вацек ощерился:

— Не приставай, без тебя тошно!

Гриша стоял в строю, изо всех сил пытаясь не упасть. К счастью, жадность взяла верх, и Вацек оставил Гришу в лагере.

В этот день все шло как обычно. После аппеля Янкельшмок с несколькими приспешниками устроили для двух тысяч узников блока «спортивные занятия». Наше счастье, что команду уборщиков не гоняли на эти занятия. Среди нас был один новенький — Николай Ерошко*, бывший секретарь райкома комсомола в одном

из пограничных районов. Его только вчера взял Жора в нашу команду. Николай был очень вспыльчивый и, видя, как издевается над узниками Янкельшмок, весь кипел. Он никак не мог понять, почему подпольщики до сих пор не уничтожили его. Откровенно говоря, я был такого же мнения.

* Несколько дней спустя Ерошко возглавил подпольную группу в нашем блоке. Позднее под руководством Николая Ерошко подпольщики повесили ненавистного Янкельшмока в туалетной комнате 2-А блока.

Еще до начала «спортивных занятий» Жора повел всех уборщиков, а с ними и Гришу Шморгуна в блок. Мрачный шлафзал стал для нас

спасительным островком.

Восемнадцать человек под руководством Жоры приступили к уборке помещения, а я остался с искалеченным товарищем, ожидая прихода Ганса. Наконец Ганс появился. Часа полтора он промывал, обрабатывал йодом и перевязывал Гришины раны. Закончив, сказал:

— Медикаменты нужны как воздух. Мы достаем их у «канадцев», а большей частью через вольнонаемных, достаем с огромными трудностями, за золото. И все же я лично против того, что вы стали «организаторами» Ауфмайера. Для вас это добром не кончится. Слишком уж приметными вы сделались — Георг, как певец, а ты, Орленок, как гефтлинг, которого удостоил внимания сам Гиммлер. Кроме того, с тебя сняли мишень перед строем, по приказу лагерфюрера. Это единственный случай в истории лагеря, случай беспрецедентный. Теперь вас обоих знают в лицо тысячи узников, а также эсэсовцы, и каждый ваш шаг у всех на виду. Ауфмайер втянул вас в очень опасную аферу. Если на первый раз она и увенчается успехом, все равно долго так продолжаться не может. Вы ставите под удар не только себя, но и других.

— Что же нам делать? — спросил Жора.

— При первой же возможности вас нужно назначить на транспорт и вывезти отсюда.

Трудно даже представить, что бы мы делали, не будь доброго нашего друга.

Без четверти двенадцать явился Ауфмайер и сразу же отправился в комнату старосты. Мы ждали вызова. И он не замедлил последовать.

— Готовы? — спросил блокфюрер, когда мы явились. — Берите четыре фляги, прячьте — еще раз прорепетируем, — сказал он, поглядев на часы.

Репетиция прошла успешно. После этого Ауфмайер позвал капо Зигфрида, и тот повел нас к эсэсовской кухне. Капо привел нас в зал раздачи, откуда через широкий проем в стене через стеклянные перегородки была видна вся кухня.

Ничего подобного я еще не видел в своей жизни. Кухня была оборудована по последнему слову техники и больше напоминала лабораторию какого-нибудь научно-исследовательского института. Котлы, кастрюли, посуда, столы и вспомогательные механизмы — все поражало необычайной, я бы сказал, стерильной чистотой. Трудно сказать, сколько узников убирали тут по ночам, драили и начищали до ослепительного блеска специальными порошками и пастами каждый металлический предмет, кафельный пол и стены.

Рядами, строго симметрично стояли закрытые шароподобные котлы,

оборудованные термометрами, манометрами и еще какими-то приборами. В другом конце кухонного зала выстроились в ряд белые кафельные плиты, на которых жарилось мясо. А над ними были вытяжные трубы, выкрашенные в белый цвет. Котлы, плиты и прочие подсобные механизмы работали на электричестве. Ни пара, ни дыма, ни копоти,

На кухне трудились десятки поваров из числа немецких заключенных. Все они были как на подбор рослые, крепко сбитые, пышущие здоровьем парни. На каждом был белоснежный, накрахмаленный и тщательно отутюженный халат, на головах — пышные поварские колпаки. За работой поваров-узников наблюдали специалисты-эсэсовцы в таких же белоснежных халатах. Но на головах у них были не колпаки, а эсэсовские пилотки, а на поясах висели неизменные парабеллумы. Кессели, наполненные горячей пищей, из главного зала кухни вывозили на специальных тележках-автокарах в зал раздачи. Снабженные колесами с надувными шинами, тележки двигались плавно, бесшумно, а специальное устройство позволяло водителю одним нажатием педали поднимать тяжелые кессели до уровня эстакады, где двое подсобных рабочих, подхватив кессель, ставили его на эстакаду и толчком отправляли вниз. Дальше кессели двигались уже сами, скользя по наклонному спуску эстакады, обитому цинковыми листами, к специальной платформе, где их принимали уже другие рабочие. Подхватив за ручки тяжелый кессель, скользящий по наклонной плоскости, они в мгновение ока, чуть не на лету ставили его на машину, упирающуюся открытым кузовом в платформу.

К платформе один за другим подъезжали грузовики и пикапы, на которые и грузили кессели с пищей. Командовал тут шеф кухни — кюхефюрер — эсэсовский офицер. В руках у него была книга в кожаном переплете, в которой он делал соответствующие отметки: кому сколько и каких продуктов отпущено.

Меня не покидала мысль, что в двух шагах от этой чудо-кухни сотни истощенных узников, с гноящимися ранами и язвами на высохших телах пухли от голода и мерли как мухи. Сытая, роскошная жизнь одних — рабский труд, голод, муки и смерть других; все земные радости одним — все неземные муки другим. «Каждому свое» — излюбленный афоризм фашистов.

В Освенциме я не раз слышал, что лагерфюрер Рудольф Гесс очень гордился тремя достижениями: крематориями, эсэсовской псарней и эсэсовской кухней.

В зале выдачи висели электрические часы. Я проследил: за четверть часа было отпущено двадцать машин и отгружено не менее трехсот

кесселей емкостью в двадцать пять и пятьдесят литров. Это был обед для эсэсовских подразделений, разбросанных по всему Освенциму, не считая его многочисленных филиалов.

Команда «Канада» была последней в очереди, а перед нами получала пищу зондеркоманда, обслуживающая крематории. По количеству кесселей, отпущенных ей, можно было определить количество заключенных, работающих в зондеркоманде. Ориентировочно их было не меньше тысячи. Для зондеркомандовцев и «канадцев» пища выдавалась такая же, как и для эсэсовцев, из одних и тех же котлов и по той же норме.

Минут за пять до того, как подошла наша очередь, из команды «Канада» прибыл грузовик. Капо приказал нам залезть в кузов и принимать кессели, которые будут нам подавать рабочие. Машина была загружена молниеносно.

У ворот команды «Канада» нас уже ждала группа заключенных.

Машину на территорию не пустили. Кессели из машины тут же разобрали. Мы несли двадцатипятилитровый бачок. Как только дошли до проходной, прозвучала ненавистная команда «Хальт!». По спине побежали мурашки.

Ко мне подошел долговязый эсэсовец и, присев на корточки, начал ощупывать мои ноги снизу вверх. Вот он разогнулся, выпрямился, но, прежде чем его руки коснулись моего пояса, я резко втянул живот и ощутил, как обе фляги скользнули вниз. Словно во сне слышу голос: «Гут. Нехсте!»* После меня обыскивали Жору. Я боялся глянуть в его сторону. Наконец обыск окончен. Волшебной музыкой звучит команда «Форвертс!». Подхватываем свой бачок и быстро идем в глубину двора, окруженного деревянными бараками и захламленного сваленными в кучи всевозможными вещами.

* Хорошо. Следующий! (нем.).

Посреди двора был сооружен аккуратный деревянный навес из тонких белых досок. Он служил эсэсовцам команды «Канада» столовой. На чистом деревянном полу стояли столы и стулья, стеклянный шкаф с посудой. Очевидно, место для столовой было выбрано не случайно: отсюда хорошо просматривалась вся территория.

Нас встретил белобрысый верзила, одетый в легкий летний костюм из светлой ткани. Куртка была расстегнута, под ней на полуобнаженной груди во всю ширину красовалась татуировка — орел с распростертыми крыльями, выполненный зеленой тушью с большим мастерством. Я сразу догадался, что это капо Вернер. Отправив «канадцев», он пристально поглядел нам в глаза, с недоверием покосившись на винкели с буквой «К».

— Ваше имя Вернер?— спросил Жора.

— Вернер. А что?

— Привет вам от нашего шефа. Мы из 2-А.

— Очень рад, спасибо, — дружелюбно ответил капо.

— Мы тут кое-что вам принесли...

— Идите сюда,— сказал Вернер и подвел нас к шкафу. Выдвинув нижний ящик, приказал:— Кладите.

Мы вынули четыре литровые фляги и положили их в ящик.

— Хо! Четыре литра! Чудесно!— воскликнул он, не скрывая радости. Вернер отвинтил одну из фляг и, попробовав на язык, воскликнул:

— Вундербар!*

Он воровато оглянулся, потом сунул руку глубже в ящик и вынул красную эмалированную миску с поваренной солью, разгреб ее и извлек оттуда целую горсть новехоньких сверкающих золотых монет. Вернер отсчитал нам по десять монет и сказал:

— Спрячьте. Это для шефа. А эти две для вас лично! — И дал нам еще по одной монете. Мы сразу же сунули их в рот.

* Бесподобно! (нем.).

— Не спешите, — засмеялся капо.— Я еще накормлю вас обедом. Ну а уже на десерт монеты. Надеюсь, вы умеете держать язык за зубами?— Он перешел на деловой тон.

— Можете не сомневаться, — ответил Жора.

— Если попадетесь, скажете, что золото нашли вот в том бараке под коврами. Дело кончится тем, что придется кокнуть пару евреев, которые сортируют ковры. Но могут кокнуть и вас, если шеф не заступится. Тут уж я ничем не смогу помочь — сам хожу по канату.

Чем больше приглядывался я к Вернеру, тем более он нравился мне: простой, откровенный парень. Даже не верилось, что перед нами профессиональный убийца.

— А для чего эта маскировка?— спросил Вернер, глядя на Жорин винкель.

— Никакой маскировки нет. Это мой винкель.

— Ты разве не немец?— удивился Вернер. (Впоследствии мне не раз приходилось видеть, как немцы считали Жору соотечественником, настолько хорошо он владел немецким языком.)

— Да, я немец, но родился в России, поэтому в лагере мне нашили русский винкель.

— Но это же несправедливо! Немец есть немец, где бы он ни родился.

— Ты прав, Вернер,— согласился Жора и повторил слова популярной тогда песни: «Немцем я родился, немцем и умру...» Ничего не поделаешь. Так случилось, что у меня пропали документы.

— А этот русский?— Вернер кивнул в мою сторону.

— Да, он русский, но парень хороший! На него вполне можно положиться,— поспешил успокоить Вернера Жора.— Мы с шефом не раз проверяли его.

— Ладно. Ступайте вон в тот барак, поболтайте там, а когда ударит гонг, станьте на левый фланг строя. Пообедаете с нами, после заберете пустые кессели. Во время обеда со мной никаких разговоров.

Понятно?

— Яволь!— ответил Жора, и мы поспешили в барак.

Глава 23

Хотя мы с Жорой уже около месяца находились в Освенциме и успели узнать многое, но то, что мы увидели сейчас, превзошло все наши представления. Меж бараков прямо под открытым небом сложены были огромные кипы ковров, одеял, всевозможной одежды, сундуков, чемоданов, детских колясок, протезов, зонтов и всяких прочих вещей.

Между вторым и третьим бараками лежала громадная куча мужских пальто, гора плащей и макинтошей, дальше — женские пальто и вороха детской одежды. Последние еще не были рассортированы. Здесь в хаотическом беспорядке лежали сваленные детские пальтишки, кофточки, платица, рубашечки, штанишки... Эта гора детской одежды была выше одноэтажного дома. Между третьим и четвертым бараками мы увидели целые кипы белья — отдельно мужского и отдельно женского. Дальше располагались бурты разнообразнейшей обуви, точно так же рассортированной на три отдельные кучки — мужскую, женскую, детскую. Несколько в стороне высилась гора дамских сумок и ридикюлей. Возле нее — свалка резиновых галош. Особенно поразили меня костыли и протезы. Десятки тысяч штук! Было такое впечатление, что их отобрали у калек всего мира и для чего-то свезли сюда...

Мы вошли в барак. Часть заключенных сортировала и упаковывала ковры. Несколько человек сидели за отдельными столами с лупами в руках и сортировали драгоценные камни и всевозможные изделия из золота. На нас никто не обратил внимания. Хотя поблизости эсэсовцев не было, работа кипела. Очевидно, здесь была своя система стимулирования и поощрения труда, система, не имеющая ничего общего с лагерной системой террора и морения голодом. Только в самом конце барака, подальше от пыли, два эсэсовца играли в карты, не обращая никакого внимания на то, чем

занимались заключенные. На столе у них стояла начатая бутылка и стопки.

У входа слева и справа в кипах, достигающих до уровня крыши, лежали дорогие ковры. Потолка в бараке не было. Сам барак был очень длинный, без всяких перегородок.

Вся территория «Канады» представляла собой огромный склад разнообразнейшего имущества и одежды, награбленного эсэсовцами у своих жертв. Сюда же, в этот барак, очевидно, сносили самые ценные вещи. Чего тут только не было: ковры, мех, уникальные гобелены, ценные картины, штабеля шерстяных одеял, груды женских платьев, антикварная посуда, предметы роскоши, сделанные из золота, серебра, слоновой кости, бронзы. Один из столов был завален золотыми часами, браслетами, цепочками, пудреницами, портсигарами, колье, медальонами, диадемами, монетами, очками и пенсне. Там же лежало золотое распятие Иисуса Христа. На голове Христа терновый венец был украшен большим количеством сверкающих драгоценных камней.

За столом сидел старый, белый как лунь человек. Через отворенное окно падали лучи солнца, вызолачивая пыль и ослепительно играя на золоте. Венец на голове Христа переливался всеми цветами радуги, создавая сияющий нимб. Особенно выделялись рубины, они производили впечатление капель крови.

Но вот мы увидели нечто такое, отчего застыла кровь в жилах. Посреди барака высилась огражденная деревянной решеткой громадная гора женских волос, высота которой достигала добрых пяти метров.

В скорбном молчании мы смотрели друг на друга, не в силах вымолвить слова.

Отдельно на стеллажах лежали аккуратно заплетенные и, видно, срезанные «под самый корень» девичьи косы. Прежде чем сжечь свои жертвы, фашисты вынуждали их заплетать косы, чтобы потом иметь меньше мороки.

Возле загородки стояли весы. Два узника паковали волосы в мешки, а третий, ловко орудуя цыганской иглой, зашивал их и цеплял бирку, на которой проставлял вес. Я спросил, для чего эти волосы. Он пугливо оглянулся и сказал:

— Потеряв голову, по волосам не плачут, а тебе лучше бы не спрашивать. Эсэсы не любят любопытных...

Совет был резонным. Мы отошли к двери барака. Тем временем «канадцы», отрывисто перебрасываясь словами, сосредоточенно трудились.

Наконец ударил гонг. «Канадцы» выстроились перед бараком. Мы отошли на левый фланг. Капо Вернер пересчитал всех и доложил

подошедшему эсэсовцу. Тот пересчитал еще раз и приказал нам стать в сторону.

К месту общего построения спешили сотни полторы «канадцев», высыпавшие из других бараков. Они стали в общий строй, и вот теперь, когда эсэсовцы снова пересчитали и убедились, что все налицо, нам разрешили стать на левый фланг. Вернер дал команду «садись!», а сам побежал вслед за эсэсовцами, направившимися под навес, где для них уже были накрыты столы. Эсэсовцев собралось не так уж много — десятка два. Во время обеда Вернер выполнял роль официанта-раздатчика. Надев на себя белый халат, он обслуживал эсэсовцев. Пообедав, некоторые ложились тут же на специально поставленные для них в тени раскладушки: отдыхали, не снимая с себя мундиров и оружия. Эсэсовцы вообще никогда не расставались с оружием.

Обслужив эсэсовцев, Вернер вызвал десять заключенных и велел им забрать кессели с оставшейся едой. Начали обедать узники.

Обедали чинно, неторопливо. Каждый ел сколько хотелось. Как это было непохоже на то, что я видел в штрафной команде! На обед дали вкусный овощной суп, макароны с мясом, кофе с молоком... Хлеб был нормальной выпечки, из настоящей муки. Во время обеда нервное напряжение у меня несколько ослабло, но, когда мы после обеда с десятью «канадцами» понесли пустые кессели в вахтштубу, мною снова овладела тоска. Во время этой транспортировки мы с Жорой переложили золотые монеты из кармана в рот. Я молил судьбу, чтоб она и на этот раз отнеслась к нам благосклонно.

В вахтштубе передавали по радио обзор военной обстановки. Обозреватель заверял, что в боях под Курском, Белгородом и Харьковом окончательно измотаны и обескровлены большевистские орды, которые уже никогда не смогут воспрянуть, что у большевиков исчерпаны все резервы и положение их безнадежное... Далее обозреватель болтал о героизме немецких солдат и под конец сказал, что фюрер во избежание лишних жертв принял решение выровнять линию фронта. В связи с этим на отдельных участках немецкие войска отошли на заранее укрепленные позиции. Дальше шел рассказ о некоем фельдфебеле, совершившем головокружительные подвиги в боях под Курском. Мы хорошо знали: когда гитлеровцам на фронтах приходилось туго, геббельсовское радио вещало басни о подвигах какого-нибудь солдата, ефрейтора или фельдфебеля. Рассказ о фельдфебеле был завершен сообщением о том, что гигантские людские резервы России иссякли. Для России битва под Курском была предсмертной агонией, заверял тем временем комментатор. Созревает плод

окончательной победы. Вскоре он сам упадет в наш мешок, подобно спелому яблоку. Великая битва под Курском окончилась неслыханным поражением Красной Армии... Гений фюрера обеспечит окончательную победу над большевизмом.

Команда «Открыть кессели!» вернула меня к действительности. «Канадцы», поставив кессели, вернулись на работы. Мы с Жорой остались одни. Тщательно осмотрев кессели, часовые приказали нам раздеться догола. Снова не обошлось без этого ненавистного «шнель!».

Одежду и обувь нам приказали положить на стол. Эсэсовцы ощупали каждый рубец, зачем-то заставили нас присесть на корточки, но в рот не заглянули. Наконец раздалась команда «Одеться!», «Грузить кессели!».

Солнце пекло немилосердно. Пот заливал глаза, от волнения воздух застрял в легких — не продохнуть! Но я чувствовал себя счастливым. В глазах у Жоры также прыгали веселые искорки.

Говорят, риск — благородное дело. Да, это так, если человек рискует во имя благородной цели. Мне не раз приходилось рисковать в своей жизни. Я прошел гестаповские тюрьмы и лагеря смерти. Меня расстреливали, я выполз из газовой камеры крематория за несколько минут до газации, участвовал в работе подпольных организаций, в восстании узников лагеря смерти «Линц-111», переходил линию фронта, участвовал в боях. Не раз моя жизнь висела на волоске; как каждый узник гитлеровских концлагерей, я сотни раз умирал. Скажу честно, я не был трусом, однако всякий раз, когда решался вопрос о жизни и смерти, я неизменно ощущал жуткий страх...

Я всегда возмущался тем, что в некоторых заметках и очерках, печатавшихся в нашей прессе после войны, меня описывали человеком «необычайной отваги и героизма», «бесстрашным подпольщиком» и так далее. Это, мягко говоря, явное преувеличение. Без своих товарищей по подполью я был бы ничто. То, что делал в лагерях я, делали тысячи, и ничего особенно героического я в этом не вижу. Выполняя очередное задание подпольного центра, я ежедневно опасался за свою жизнь, как опасались и мои товарищи...

Сдав на кухне кессели, мы возвращались в блок. По дороге решили спрятать монеты в карманы, ибо первый попавшийся нам эсэсовец может спросить, чего мы валандаемся по лагерю. А как же ему ответить, когда рот полон золота. И впрямь, не прошли мы и тридцати метров, как привязался к нам эсэсовец. Он жестом велел нам подойти. Неужели будет обыскивать?

— Из какого блока?

— Из 2-А, господин шарфюрер,— отрапортовал Жора.

— Чего шляется по лагерю?

— По приказу блокельтестера мы относили на кухню пустые кессели.

Жора умолчал, что мы были в «Канаде». Иначе эсэсовец мог бы нас обыскать.

— Идите за мною!— приказал шарфюрер.

— Яволь!— молодцевато ответил Жора и, изображая старшего, подтолкнул меня в спину:— Форвертц!

Переживать пришлось недолго: оказалось, что неподалеку, возле старой акации, эсэсовец увидел на земле жухлые листья. Кто-то смел их в кучу, забыв отнести в мусорный ящик.

— Прибрать!— приказал шарфюрер.

Мы попадали на колени, и старательно собрали в свои шапки все до единого листочка, и отнесли в ящик.

— Рихтик* — одобрил шарфюрер и повернулся к нам спиной. Мы поспешили в свой блок.

* Правильно! (нем.).

И вот перед нами, как спасительная пристань, неуклюжая каменная постройка, наш карантинный блок.

Мы проскочили в шлафзал, лихорадочно раздумывая, куда спрятать часть монет. Двенадцать монет ткнули под матрац, а десять разделили пополам и спрятали в карманах, после чего пошли к Ауфмайеру и тут же наткнулись на капо Зигфрида, который сопровождал нас до кухни.

— Вы уже были у блокфюрера?— спросил Зигфрид.

— Нет, мы только что воротились.

— Смотрите же, не проговоритесь, что я не сопровождал вас до вахты штубы «Канада». Мы все время были вместе, и я не отходил от вас ни на шаг. Ясно?

Из этих слов мы поняли, что Ауфмайер приставил Зигфрида к нам как надзирателя, которому вменялось следить, чтобы мы не присвоили часть золота. Пока мы были в «Канаде», он промышлял где-то на стороне, видимо, в центральном лагере и опоздал, а теперь боялся нахлобучки.

Мы заверили капо, что не продадим его. Несколько минут спустя мы уже отчитывались перед Ауфмайером, докладывая ему о результатах операции. На его вопрос, каковы наши успехи, я и Жора молча вынули из карманов и разложили перед ним на тумбочке десять двадцатифранковых золотых монет.

— Да вы молодчаги!— радостно воскликнул Ауфмайер.— Двести франков... Для начала неплохо, совсем неплохо!— Он подошел к тумбочке, достал буханку хлеба, полкилограмма колбасы и пачку маргарина.— Это

вам. Кроме того, с сегодняшнего дня и Пауль будет давать вам буханку ежедневно. На работу вас больше не пошлют. Но уговор: держать язык за зубами!

— Яволь!— ответил я, зная, что это слово Ауфмайер предпочитает всем остальным.

Выйдя из комнаты, мы вздохнули с облегчением. На редкость удачный день! Добытое золото в какой-то мере гарантирует нам пусть даже шаткое, но не такое уже и безнадежное положение. Сегодня золотые франки мы передадим подпольному центру.

Прежде всего мы достали из-под матраца монеты и спрятали в кладовке в бочке с известью. Одну монету оставили при себе, чтобы отдать Вацеку. Только после этого пошли к Грише Шморгуну. Он знал, куда и зачем мы ходили, переживал за нас.

— Уже и не надеялся вас увидеть,— прошамкал он, и по его щекам покатались слезы. Мы принялись его кормить. Гришин рот представлял собой сплошную рану, а жидкой пищи у нас не было. Мы разжевывали хлеб с маргарином и с грехом пополам накормили искалеченного товарища.

За этим занятием нас и застал Вацек. Он любил появляться неожиданно и успел заметить, как мы кормим Гришу.

— Когда-то он помог нам,— сказал Жора,— теперь мы обязаны помочь ему.

— Ладно, валяйте! А как насчет пети-мети? Жора протянул Плюгавому двадцатифранковую монету.

— О-о, это правильно. Пускай отлеживается, ладно уж,— сказал он и пошел прочь.

Я вышел на аппельплац, отыскал там Николая Ерошко и лег рядом.

— Ну как, у вас все в порядке? — спросил он. Я сообщил ему все детали операции. Он же рассказал мне, как издевался над узниками Янкельшмок

— В нашем положении пассивность — это гибель. Как можно скорее нужно уничтожить Янкельшмока — он один стоит десятка эсэсовцев.

— Да, но как это сделать?

— Очень просто: заманить в туалет и трахнуть по черепу.

Меня поразила решимость Ерошко, а его план показался простым и убедительным.

— А как на это посмотрит начальство?

— Никак не посмотрит. Янкельшмок ведь не немец. Да и подозрение падет прежде всего на «зеленых»; сегодня Янкельшмок сцепился с одним и заехал ему в рожу. Я не кровожадный, но сам понимаешь, такая тварь не

имеет права на жизнь.

— Хорошо. Только сам пока ничего не предпринимай. Сначала надо посоветоваться с товарищами.

На том и разошлись.

С каждым днем мне все больше и больше нравился этот светло-русый парень с ясными, как день, голубыми глазами...

Вечером пришел Володя Белгородский. Мы отдали ему одиннадцать монет — двести двадцать франков. Володя сказал, что подпольщикам еще никогда не удавалось за один раз добыть столько золота.

Не успел уйти Володя, как пришел Ганс.

Он принес Грише горячий чай в термосе, несколько кусочков сахара, ломоть белого хлеба и необходимые лекарства. Осмотрел и перевязал раны. Снова огорчился тем, что мы занялись этим опасным промыслом... Он сказал, что попросил кого следует, чтобы нас включили в списки на этап в один из филиалов лагеря.

— Оставаться здесь вам больше нельзя! — предупредил он на прощанье.

Мы дали согласие на отъезд в другой лагерь. Договорились встретиться завтра вечером перед отбоем. Но получилось так, что встреча произошла раньше условленного часа...

Глава 24

На этот раз визит Ганса был совсем неожиданный. Он пришел не вечером, как обещал, а в десять утра. По выражению его лица я понял: что-то стряслось. Таким я еще не видел нашего друга, обычно уравновешенного, спокойного. Волнение Ганса передалось и мне. Когда мы зашли в Жорину кладовку, немец обнял нас поочередно и после минутной паузы сказал:

— По приказу Гесса Ауфмайера переводят на работу в «Канаду».

Известие ошеломило нас. Мы слишком хорошо понимали возможные последствия этого перевода.

Оказывается, после визита Гимmlера в Освенцим Гесс назначил специальную комиссию для проверки работы команды «Канада». В комиссию вошло двенадцать эсэсовцев из центрального лагеря. Ауфмайера, считавшегося образцовым офицером и лучшим блоковым, сделали заместителем председателя комиссии, которая должна была начать работу с понедельника 26 июля. Вместо Ауфмайера блокфюрером у нас будет какой-то унтер-офицер.

Над нами нависла смертельная опасность. Не позднее послезавтрашнего дня Ауфмайер встретится с капо Вернером и, конечно,

проверит, сколько тот дал нам золота за спирт. Не позже вторника или среды холуи Ауфмайера утопят нас в бочке или подвешат к трубе.

Спасти нас могло лишь внезапное исчезновение из лагеря. Как я уже упоминал, Ганс просил кого следовало устроить нам перевод в один из филиалов Освенцима. Но когда это будет? Ни один подпольщик не знал точной даты отправления транспорта, не знали этого даже сами эсэсовцы. Все зависело от того, когда в Аушвитц прибудет автоколонна.

— Будем надеяться на чудо,— хмуро заключил Ганс.

Мы попрощались и условились о следующей встрече. С этой минуты я и Жора словно на пороховой бочке сидели в ожидании неминуемой развязки.

Перед обедом Жора куда-то ушел, а я стоял посреди шлафзала такой растерянный, что даже забыл сбросить мютцен перед Янкельшмоком, который словно из-под земли вырос. Согласно существующих правил рядовой узник обязан снять шапку и стать по стойке «смирно» перед любым должностным лицом. У Янкельшмока на рукаве повязка с надписью «младший писарь», и я всегда снимал перед ним шапку. А в этот раз забыл. Это считалось мелким нарушением, и кто-либо другой не обратил бы на него внимания. Но не таков был Янкельшмок. Со своими подручными он однажды загнал всех узников блока на чердак и держал их там без воды долгое время. Это было в середине июля. Стояла немилосердная жара. Чердак напоминал душегубку. Узники обливались потом, задыхались. После этой операции тридцать два человека пришлось заштабелевать в туалетной комнате, а на следующий день тележка совершила не один, а два рейса в крематорий...

Среди тех, кто находился и умирал на этом чердаке, был узник Терещенко Иван Дмитриевич (освенцимский номер 127402) — мой земляк с Киевщины. Он потерял сознание, и его вместе с умершими отнесли в туалетную. Там он пришел в чувство и с помощью товарищей выбрался из штабеля трупов, уже посыпанных хлоркой. Это происходило на моих глазах. Я дал ему миску супа и помогал, чем мог. Впоследствии он стал членом подпольной организации и пережил Освенцим. Двадцать семь лет мы не виделись. Я ничего не знал о его судьбе. В 1970 году по моим выступлениям в прессе Иван Терещенко нашел меня.

Но вернемся к событиям дня.

Нетрудно представить, что я почувствовал, оказавшись с глазу на глаз с этим садистом. Вблизи никого не было. Янкельшмок отлично понимал, что заступиться за меня некому. Одним ударом он сбил меня с ног и принялся месить ногами. Спасаясь, я полез под нары. Янкельшмок,

взбешенный неожиданным сопротивлением, схватил меня за ноги и одним рывком выволок на свободное место. В следующее мгновение он схватил меня за голову и начал колотить о пол. Как мог, я отбивался, но силы были слишком неравны, а мое сопротивление только подзадоривало бандита.

Неожиданно прозвучало «Хальт!». Янкельшмок выпустил мою голову, удивленно выпрямился, но, тут же сбитый с ног чьим-то мощным ударом, упал рядом.

Это был капо Зигфрид, которого Ауфмайер послал за мной.

Тут я должен сделать небольшое отступление и разъяснить суть иерархической субординации в среде самих узников. Должность капо была командной во всех лагерях гитлеровского рейха. Чаще всего капо управляли арбайтскомандами. В распоряжении одного капо находилось, как минимум, сто узников, один помощник — унтер-капо и четыре форарбайтера (бригадиры). На эту должность большей частью назначались немецкие уголовники — так называемые «зеленые». (Само слово «капо» итальянского происхождения. Оно означает «командир сотни», то есть сотник.)

Должность шрайбера (писаря), а тем более унтер-шрайбера (младшего писаря) нередко занимали узники любой национальности, от них требовалось только знание немецкого и умение каллиграфически писать готическим шрифтом. Писарская должность была сугубо канцелярской, но довольно часто, чтобы удержаться в этой должности и выслужиться перед начальством, писари, кроме своей основной обязанности, добровольно помогали блоковым, штубовым и капо наводить порядок в блоке. Такими писарями в нашем блоке в данном случае являлись Плюгавый Вацек и садист Янкельшмок.

В самом лагере было, по сути, два лагеря: лагерь уголовных преступников, ставших эсэсовскими холуями, и лагерь антифашистов. Именно по этим признакам, а отнюдь не по расовым или национальным, разделялись и противостояли один другому узники. В количественном отношении лагерь преступников был ничтожно мал, не идя ни в какое сравнение с лагерем антифашистов. Но на стороне первых стояла администрация и эсэсовская охрана.

Следовательно, фронт был и здесь, бои происходили здесь, порой жестокие и кровавые, но формы и методы борьбы были иными. А о значении этого фронта для победы союзных армий над гитлеровской тиранией могут служить в данном случае признания многих гитлеровских генералов. В своих мемуарах они жалуются, что в последний год войны им присылали неисправную военную технику, например, танки, которые

выходили из строя, даже не добравшись до передовой. Генералы объясняют это «преступным саботажем коммунистических элементов».

Эти неисправные танки выпускались также заводом «Герман Геринг верке», где работали десять тысяч узников фашистского лагеря смерти «Линц-111». Это был филиал Маутхаузена.

Таким образом, в Освенциме, повторяю, фактически существовало два лагеря: фашисты и антифашисты. Была, правда, незначительная, так сказать, нейтральная прослойка узников, которые не участвовали в этой борьбе и не принадлежали ни к одному из названных лагерей. В основном это были священники, сектанты, служители культа, сами себя выключившие из реальной жизни. Никто не обращал внимания на этих забытых богом праведников... Но вернемся в блок 2-А.

— Как же ты, негодяй, посмел поднять руку на привилегированного гефтлинга, которого удостоил своим вниманием сам рейхсфюрер Гиммлер?!— грозно спросил Янкельшмока Зигфрид и принялся его дубасить. Тот извивался, как уж на вилах, но отбиваться не посмел.

Следует заметить, что среда немецких уголовников взаимовыручка и круговая порука считались неписанным законом воровской этики, которую они свято соблюдали. Зигфрид отлично понимал, с какой целью Ауфмайер посылает нас в «Канаду».

Мы вошли в комнату старосты Пауля. Там уже был Жора. Ауфмайер нервно похаживал по ковру.

— Почему так долго?

Зигфрид доложил об инциденте с Янкельшмоком.

— А ну позови его сюда, — приказал Ауфмайер. Через несколько минут Зигфрид привел бледного Янкельшмока.

— Ты зачем обидел узника, который получил благодарность от самого лагерфюрера и признан администрацией лагеря привилегированным?— спросил Ауфмайер.

— Простите меня. Я виноват... В шлафзале темно, я не узнал его...

— Ладно, на первый раз прощаю, но наказать обязан. Зигфрид, сделай ему просветление: всыпь двадцать пять горячих. Только не перед строем, а в туалетной. И сделай это немедленно.

Когда за ними захлопнулась дверь, Ауфмайер усмехнулся и сказал:

— Теперь он будет тебя узнавать и днем и ночью. Его следовало бы послать в штрафную за неуважение к распоряжениям администрации лагеря, но такие, как Янкельшмок, нужны и здесь. Ну ладно. Вызвал я вас вот для чего: повезите «канадцам» обед и сделайте все, как вчера. А пока что приведи себя в порядок. Через десять минут жду вас здесь.

Жора повел меня в туалетную, чтобы я вымыл окровавленное лицо. Там мы увидели такую картину: Янкельшмок, спустив штаны, лежал брюхом на ящике с хлоркой и стонал, а Зигфрид неторопливо наносил ему удары куском резинового шланга. Двое пиплей ассистировали Зигфриду. Тут же на цементном полу лежали несколько мертвых узников. Несмотря на то что их лица обильно были посыпаны хлоркой, над ними летали большие зеленые мухи...

Мы вернулись в комнату блокового старосты, взяли у Ауфмайера четыре фляги со спиртом и, сопровождаемые Зигфридом, пошли на кухню. Шли молча. Возле самой кухни Зигфрид с видом заговорщика подмигнул мне и сказал:

— Сегодня, если бы не я, тебе пришлось бы киснуть в бочке или валяться возле ящика...

— Мы вас поняли,— ответил за меня Жора,— но покамест давайте не будем делить шкуру неубитого медведя. А то еще как бы не потерять свою...

— Ясное дело — рассчитаемся потом,— поспешно согласился Зигфрид.— Ну а теперь шуруйте. Я загляну к мадам Пуфмуттер в двадцать четвертый блок. Если вернетесь, а меня не будет, подождите возле моечного цеха,— распорядился Зигфрид.

Все обошлось и на этот раз. Вернер дал нам двадцать пять золотых монет. Мы пронесли их сквозь штубвахту во рту. Просто удивительно, что во время обыска эсэсовцы не заглянули нам в рот. Должно быть, действовала определенная договоренность с Ауфмайером.

Как и следовало ожидать, Зигфрид задержался в двадцать четвертом блоке. Обрадованные этим, мы поспешили к себе в блок. Спрятав в Жориной камере десять монет, мы с нетерпением ожидали Зигфрида. Он прибежал через несколько минут, запыхавшийся и взволнованный.

— Почему не подождали?— накинулся он на нас.

— Там было опасно — кругом эсэсовцы, — сказал

Жора и, вынув из кармана золотую монету, протянул ее Зигфриду.— Бери, ты ее честно заработал.

Зигфрид сразу смягчился, монету спрятал в ботинок, и мы втроем отправились к Ауфмайеру. В коридоре нас встретил Плюгавый Вацек. Обнажив в улыбке свои гнилые зубы, Вацек спросил:

— Ну как, порядок?

Вместо ответа Жора опустил ему в карман две золотые монеты, сделав это так, чтобы не видел идущий впереди Зигфрид. Плюгавый заговорщицки подмигнул и, насвистывая модную по тем временам блатную

песенку, свернул в сторону, а мы вошли в комнату Пауля, где нас ожидал Ауфмайер,

Вытянувшись в струнку, Зигфрид доложил блокфюреру, что его задание выполнено.

— Спасибо, Зигфрид, ты свободен,— улыбнулся Ауфмайер.

Зигфрид зарделся от удовольствия и выскочил из комнаты. Когда дверь за ним затворилась, Ауфмайер, сверля нас холодными серыми глазами, спросил:

— Ну как успехи?

Вместо ответа Жора вынул из кармана двенадцать золотых монет и положил их перед Ауфмайером. Тот сгреб монеты в горсть, подбросил их зачем-то и спрятал в бумажник. Сегодня у него уже не наблюдалось прежнего энтузиазма. Это настораживало.

— Разрешите идти?

— Ступайте. Не забудьте только взять хлеб и колбасу, я ведь обещал вам,— сказал Ауфмайер и кивнул на тумбочку. Там лежала еще и пачка масла. Должно быть, она также предназначалась нам, но блокфюрер по каким-то соображениям, видимо, передумал. Мы взяли хлеб и колбасу, преувеличенно вежливо поблагодарили Ауфмайера и поспешили в шлафзал. В коридоре Жора остановился.

— Итак, Малыш,— сказал он,— теперь о нашей работе знают Вернер, Зигфрид, Вацек, Пауль. Если нас не перебросят, дело наше дрянь.

Что я мог на это ответить? Я хорошо знал, чем кончают в Освенциме «организаторы». А наше положение было намного сложнее. Как только Ауфмайер узнает, что мы его «обкрадывали», нам капут!

Гриша лежал на своем месте. Увидя нас, улыбнулся. Вот уж второй день, как его и на работу не посылают, и на «спортивные занятия» не гонят. А сегодня Плюгавый даже приказал одному из пиплей принести Грише миску баланды. В погоне за наживой даже такие палачи и садисты, как Вацек, рискуя своей шкурой, невольно помогали подпольщикам спасать людей. Впрочем, они не столь уж многим рисковали; какая разница, в конце концов, когда перемелет нас Освенцим — сегодня или завтра. Так думали эсэсовские пособники. Мы думали иначе: каждый день, отвоеванный у фашистских палачей, значит для нас, освенцимских узников, очень, очень много...

Глава 25

Я и Жора прощались с Гансом. Тяжело разлучаться с человеком, спасшим тебе жизнь, да еще когда знаешь, что эта разлука навсегда. Как правило, в Освенциме люди вторично не встречались. Но прихотливая

судьба решила иначе и свела нас еще раз в декабре 1943 года. Это было в Биркенау, куда меня привезли после селекции, или, проще говоря, выбраковки. Высосав из меня все силы и соки, Освенцим посягал еще и на мой пепел. Ганс вторично спас мне жизнь... Но я забежал далеко вперед.

Началось с того, что к нам снова пришел Ганс. Он был очень возбужден: завтра, в воскресенье, меня и Жору отправляют в Явожно. Придут две автоколонны, которые должны забрать из центрального лагеря семьсот узников. Триста повезут на работу в угольные копи Кенигсхютте, а четыреста — в Явожно. Списки тех, кого отправляют на этап, уже утверждены лагерфюрером. Ауфмайер узнает об этом только завтра утром. Блокфюрер ничего не успеет сделать, даже если бы хотел. А поскольку Ауфмайер сам едет в «Канаду», ему не было смысла задерживать нас.

Мы радовались так, словно нас ждала свобода.

— В Явожно постарайтесь найти моего земляка из Кельна, зовут его Франц Норден, — сказал напоследок Ганс. — Его легко узнать: низенький, весь седой, на правой руке не хватает двух пальцев. Ему пятьдесят лет. В лагерях с 1933-го. Два года назад нас разлучили. Его отправили с первым транспортом на строительство нового лагеря в Явожно как капо. Не знаю, удержался ли он до сих пор на этой должности. Передайте ему привет и скажите от моего имени, что я прошу вам помочь. За Гришу не тревожьтесь, мы его поставим на ноги. Привет вам от Антоныча, Володи Белгорода (так Ганс называл Белгородского). Спасибо большое от товарищей за золото.

Ганс ушел, и мы почувствовали себя беззащитными и осиротелыми.

Воскресный день 25 июля начался как обычно, по давно установленному порядку. На аппеле Ауфмайер принял рапорт старосты Пауля, дважды пересчитал нас и пошел на доклад к рапортфюреру. Тот почему-то на целых два часа задержал блокфюреров. А в это время узники всего лагеря по команде «смирно» стояли перед блоками. Наконец Ауфмайер вернулся. Вслед за ним в лагере была объявлена блокшпера, и всех узников загнали в блоки. Мы уже знали, что блокшперу объявили в связи с отправлением этапа. С минуты на минуту ожидали прибытия автоколонны. Но прошел час, за ним другой, а машин не было. Мы сидели как на иголках. От того, придут ли сейчас машины, зависели Жорина и моя жизнь. Совершеннейшей бессмыслицей было бы погибнуть именно теперь, когда десятки подпольщиков приложили нечеловеческие усилия, чтобы вырвать нас из когтей смерти. Неужели все напрасно?! Завтра с утра Ауфмайер будет в «Канаде». И первое, что он сделает, это спросит Вернера, сколько тот дал нам золота в обмен на восемь литров спирта. Какую месть

придумает блокфюрер, узнав, что мы обманули его на целых двадцать три монеты? Ведь эсэсовцы убивали узника даже за одно лишь подозрение в краже картофеля или гнилой брюквы. А тут украдены двадцать три золотые монеты!

— Который час?— спросил я у одного из придурков, который как раз проходил мимо наших нар.

— Опаздываешь на поезд?— насмешливо ответил тот, но все же, поглядев на ручные часы, сказал:— Половина десятого, времечко идет и нам дорожку трет...

Тут же раздались короткие гудки сирены — отбой блокшперы. Итак, машины не пришли. Наши надежды рухнули.

— Что же теперь делать?— спросил Николай Ерошко.

Минут десять продолжалось тяжелое молчание. Неожиданно в нашем углу появился незнакомый узник с чешским винкелем на груди.

Пригнувшись, он обвел настороженным взглядом нижний ярус нар и, увидя нас, решительно подошел. Ощупал каждого острым взглядом, пробежал по номерам, после чего ошарашил нас паролем: «Жизнь Орлёнку!»— «Во имя победы!»— ответили мы. У незнакомца были живые карие глаза, открытое волевое лицо. По виду — бывалый узник.

— Кто из вас Орленок? Жора кивнул в мою сторону.

— Он.

— Я Йозеф,— коротко отрекомендовался гость и пожал нам руки. — Сегодня вы будете в Явожно. Не удивляйтесь, машины немного задержались, не было бензина. Но сегодня они придут. В Явожно разыщете узника чеха Карела. Его освенцимский номер 55014. Карел коммунист. Скажете ему: «Над Влтавой красивы рассветы». Он ответит: «И летом, и зимой». Это наш давнишний пароль. Карелу можно доверить все. Передайте ему сердечный привет. Спасибо за помощь движению Сопротивления. Желаю свободы!

Не успели мы толком ответить Йозефу, как он быстро зашагал к выходу, оставив нам небольшой сверток. В нем оказалось две пайки хлеба, две пачки сигарет и четыре кусочка сахара. Хлеб и сахар мы сразу же отдали Грише, а сигареты — Николаю Ерошко.

Нас не бросили на произвол судьбы. За нашу жизнь идет скрытая борьба, за нами стоят сильные, мужественные люди. И в эти минуты я крепко уверовал: мы не погибнем!

Вскоре снова завывла сирена: блокшпера! Всех узников загнали с апельплощадки в блок. И вот вдалеке послышался гул дизельных моторов. Он нарастал, и вскоре мощный грохот дизелей заполнил весь лагерь.

Машины пришли! Мы спасены!

В шлафзале появилась кабанья туша вечно сонного и распухшего от пьянства Пауля, на сей раз одетого по форме, с неизменной дубинкой в руках.

— Всем построиться на апельплаце, да побыстрее!— заорал он своим пропитым, хриплым басом.

То, что Пауль явился в шлафзал лично, да еще в форме, означало, что предстоит важное событие.

Двухтысячная толпа узников хлынула к выходу. Оглушительный перестук гольцшугов, шум, давка, крики, брань на всех языках — все слилось в сплошной грохот. Дикая круговерть, вавилонское столпотворение!

Нам стоило большого труда вытащить искалеченного Гришу из этой невероятной давки. Мы окружили его плотным кольцом и, поддерживая, вклинились в поток. Этим потоком и вынесло нас наружу.

На апельплаце десятки холуев, орудуя дубинками, строили узников, выравнивали ряды и шеренги, пересчитывали. Наконец все утихомирилось. Перед строем стоял Пауль и молча косил налитыми кровью глазами, наблюдая за дорожкой, чтобы не прозевать появление начальства. И вот наконец команда:

— Ахтунг! Штиль гештант!* Мютцен ап!

* Внимание! Смирно! (нем.).

На дорожке появился Ауфмайер в сопровождении какого-то незнакомого нам унтер-офицера. Пауль отрапортовал, после чего они втроем обошли строй узников, пересчитывая ряды и шеренги. Я догадался, что унтершарфюрер и есть назначенный вместо Ауфмайера наш новый блокфюрер. Нам было известно, что «лучшие» эсэсовские унтер-офицеры, перед присвоением им офицерского звания проходили стажировку на блоках в должностях блокфюреров для «морально-волевой закалки», а проще говоря, для применения на практике всех зверств и жестокостей, Привитых им во время учения в эсэсовских училищах. Очевидно, наш новый блокфюрер и относился к категории тех «лучших» унтер-офицеров, которых выдвигали по служебной лестнице. Он был высокий, худой, светловолосый, с нездоровым, лихорадочным блеском в глазах. Ему было не более двадцати лет. Несомненно, он только что окончил училище СС и прибыл на место службы. Возможно, даже окончил специальную «школу убийц», находившуюся в Австрии, вблизи города Эфердинг, в замке Гартхейм, где опытные эсэсовские инструкторы готовили кадры фашистских палачей, в первую очередь для лагерей смерти.

Проходя вдоль шеренги, унтершарфюрер методически и как-то, я бы сказал, деловито стегал узников нагайкой, стараясь попасть в лицо. Видно, что делал он это просто так, походя, удовольствия ради: никаких поводов для этого не было. Все стояли недвижимо, затаив дыхание.

Унтершарфюрер бил наотмашь, хорошо натренированным ударом рассекая до крови лицо. Два шага — удар, два шага — удар. На его лице блуждала улыбка отпетого садиста.

Ритм ударов был настолько точный, что я рассчитал — один из них придется на мою долю. «Неужели Ауфмайер не заступится?» — закралась наивная мысль. Резкая, как удар ножом, боль полоснула лицо. Ауфмайер опустил глаза и сделал вид, что ничего не заметил.

После обхода Ауфмайер объявил, что блокфюрером нашего блока отныне будет унтершарфюрер Вурм, и выразил надежду, что блок 2-А и впредь будет образцовым.

Вурм стоял перед строем, сузив глаза, презрительно ухмыляясь. При этом он похлестывал себя по голенищу нагайкой; точнехонько так делал лагерфюрер Гесс.

Но вот на брусчатке появилась группа людей. Впереди шли два эсэсовца, а за ними с десятков узников с папками в руках и повязками на рукавах. Вне всякого сомнения, это были писари из центральной канцелярии. Наконец-то!

Процедура отбора узников была простой и быстрой. Один из писарей громко выкрикивал номер по списку, узник выходил из строя, подкатывал рукав левой руки, на которой был вытатуирован номер. Под наблюдением эсэсовцев писари сверяли номер на руке с тем, что значился в списке, после чего узник переходил на другую сторону площадки, где становился в строй отобранных.

Наконец назвали и мой номер. С замиранием сердца я подошел к писарю. Один из них пристально поглядел мне в лицо, словно стараясь запомнить. Я не сомневался, что это был один из тех, кто устроил мне перевод в Явожно. Я и представить себе не мог, что спустя шестнадцать месяцев встречу с ним и познакомлюсь ближе, но уже не в Освенциме, а в Маутхаузене. Это был Юзеф Циранкевич — один из авторитетнейших руководителей освенцимского подполья.

Вызвали и Жору. У меня сразу отлегло от сердца. С Жорой хоть на край света!

Из нашего блока на этап забрали всего сто человек. Остальные были из других блоков. После окончания отбора всех оставшихся загнали в блок, а мы прождали еще с полчаса, пока закончили отбор узников из других

блоков. На меня раз или два поглядел Ауфмайер, но ничего не сказал. Очевидно, наше исчезновение его вполне устраивало.

Нас подвели к машинам, еще раз сверили номера со списками, после чего эсэсовский офицер начал отсчитывать по пятьдесят человек на каждую машину. Это были специально оборудованные для перевозки узников мощные дизельные грузовики с высокими бортами. Но брезентовых тентов не было. По-видимому, эсэсовцы не пожелали задыхаться в такую жару...

Мы с Жорой взобрались в кузов и стали у правого борта. Пятьдесят человек образовали плотный живой четырехугольник, который огородили от эсэсовцев стальной сеткой. У заднего борта была скамья для автоматчиков, расположившихся лицом к нам.

Узники радовались, что наконец-то вырвались из этого ада, в котором бесследно сгорали десятки и сотни тысяч человеческих жизней.

Нас ожидало путешествие в неизвестность, и все-таки это было путешествие, а неизвестность — ведь это еще не крематорий!

Говорят, человек ко всему привыкает. В центральном Освенциме я пробыл двадцать пять дней, нашел здесь верных друзей и благодаря им уже не голодал, но разве можно было привыкнуть к лагерю?

Когда наша колонна была уже готова к отъезду, дали отбой блокшперы. Из блоков высыпали полумертвецы, между блоками забегали лойферы. Вот капо погнал группу узников с носилками и метлами убирать мусор. А вот над выгребной ямой копошатся несколько «мусульман» в надежде отыскать что-нибудь съедобное... Жизнь лагеря постепенно входила в свой обычный ритм. По-прежнему работал крематорий. Из трубы валил густой черный дым. В воздухе стоял тошнотворный смрад.

За двадцать пять дней тут ничего не изменилось. Все было таким же, как в первый день: изнуряющая жара, невыносимое зловоние, дыхание смерти. Как и тогда, над лагерем кружились черные снежинки — это из трубы крематория валила пушистая жирная сажа.

Ничего не изменилось. Изменился только я. Освенцим выжал из меня сыромятину — я стал морально и физически закаленным гефтлингом, готовым к любым испытаниям. Я прошел большую школу борьбы и страданий и стал совсем другим человеком. В Освенциме я нашел ту незримую черту, которая разграничивает добро и зло, и глубоко осознал, чему обязан посвятить свою жизнь.

Колонна машин вышла на шоссе, по которому двадцать пять дней назад нас привезли в Освенцим. Тогда меня поразили тысячи людей в полосатых арестантских робах. Они стояли по колено в болоте и, не

разгибаясь, копали водосточные канавы. И сегодня я увидел по обочинам дороги тысячи людей в полосатых робах. Только они уже не стояли, а сидели на коленях. В руках у них были тяжелые стальные молоты. Узники подымали и опускали их на камни, которые они разбивали на щебень. Изпод тысячи молотов летели искры. Мне казалось, что это были искры великой ненависти...«Рано или поздно,— подумал я,— эти искры испепелят кровавый фашизм...»

1950—1970

СОДЕРЖАНИЕ

Бойтен.....

Краков.....

Мысловицы.....

Освенцим.....

Слово после казни



79-летний киевлянин Вадим БОЙКО — единственный человек, которому удалось бежать из газовой камеры за несколько секунд до того, как захлопнулись бронированные двери и пустили газ «Циклон Б». Ему удалось выжить и после расстрела 28 июня 1943 года в гестаповском подвале.

Лет 20 назад на Куреневке Бойко остановили несколько бандитов. Раздели, отобрали часы, одежду, обувь. Заметили татуировку на левом предплечье. «Что это, батя?»— «Мой освенцимский номер...» Грабители слушали Вадима Яковлевича минут 15, потом вернули вещи и дали ему 100 рублей: «Уважь, отец...»

Я уже умер?

— 16-ЛЕТНИМ парнишкой меня схватили на улице Сквиры и вывезли в Германию. Шесть раз я убегал, на брюхе прополз всю Германию и половину Польши, крался по чужой земле и снова попадался. Все побеги кончались неудачей. В застенках фашистского рейха повторялось одно и то же: меня фотографировали, брали отпечатки пальцев, допрашивали, пытали. За 13 месяцев я успел побывать в тюрьмах Лейпцига, Берлина, Франкфурта-на-Майне, Дрездена, Бреслау, Гинденбурга, Кройцбурга и Бойтена.

На допросах я неизменно повторял одну версию: меня, затравленного беспризорника, везли на работу в Германию, по дороге я отстал от эшелона. Следователи спрашивали: «Как? Разве эшелон не охранялся?» Отвечал, что на одной из станций, когда часовой отвлекся, я выскочил из вагона и побежал искать воду, потому что ее нам не давали, а меня мучила жажда. Не успел напиться, как поезд тронулся. Мол, боялся, что, если сдамся властям, меня будут бить. Вот и попрошайничал, пока меня не задержали.

Меня спасало то, что был маленьким, тощим, выглядел как 14-летний мальчишка. Каждый раз я называл придуманные имя и фамилию. Ловили меня далеко от места побега, так что мои версии было сложно проверить. Обычно через пару недель меня отсылали в ближайший концлагерь.

Последний побег кончился драматически. Я долго пробирался по территории оккупированной Польши, сам себя убеждал, что каждый шаг приближает меня к родине. Опух от голода, у меня начался страшный авитаминоз, куриная слепота (я почти ничего не видел, особенно в сумерках). Замечу, в какой стороне красный шар солнца садится — значит, там запад. На ощупь вхожу в темный лес и через два шага практически слепой. Руки вытягиваю, чтобы глаза не повредить ветками.

Однажды в темноте меня ударили прикладом по голове. Так я попал в гестаповское управление Кракова. Руководил им главный следователь Краус. Обычно палачей гестапо изображают недоумками, а Краус был полиглот, владеющий многими европейскими языками, чистюля — форма с иголочки, ногти отполированы и бесцветным лаком покрыты.

Три раза водили меня к нему на допросы. Очевидно, я хорошо играл роль недоразвитого пацаненка Вани. Сначала Краус напоил меня чаем с бутербродом, а потом спросил: «Знаешь ли, Ванюша, куда ты попал?» «Вроде полиция, — говорю. — Но я не вор. Не крал никогда, только просил

Христа ради. Иногда какая-нибудь старушка давала кусочек хлебушка или картофелину». — «Расскажи: кто, с какой целью и как тебя забросил на секретный объект». — «А я туда забрел вслепую...»

За спиной Крауса висел парадный портрет Гитлера, а под ним — коллекция нагаек. Штук 20 их там было самых разных — кожаных, резиновых, из воловьих жил, из проволоки. **Красивым перочинным ножиком Краус затачивает спички. Вдруг два мордovorота хватают меня за руку, а он загоняет мне под каждый ноготь по две-три спички до самого конца, обламывает их и оставляет под ногтями. Потом, улыбаясь, ломает мне семь пальцев.**

Как-то утром заводят меня в зал, посреди него — продолговатый стол, похожий на прилавок закройщика в портняжном ателье. За столом спиной ко мне сидит гестаповец, перед ним карабин, нацеленный в массивный квадратный щит размером с одежный шкаф. А вся поверхность щита изрешечена пулями и покрыта ржавыми пятнами.

Рядом на уровне поднятой руки в стене торчат металлические крючья, как в мясном магазине. Десятка два. На крайних висят какие-то лохмотья. Присмотрелся, вижу — это трупы трех мужчин со скрученными назад руками в наручниках, пробитые крюками за подбородок. «Кто тебя послал на объект? — спрашивает Клаус. — Молчишь? Возьмите его!» Двое гестаповцев схватили меня под руки, потащили к щиту, поставили лицом к нему. «Буду считать до трех, — цедит сквозь зубы Краус. — Не признаешься, дам команду «Огонь!».

Черный глазок дула смотрит мне прямо в зрачки. Резко и противно раздается команда. Ослепительный сноп пламени бьет мне в лицо. Я куда-то проваливаюсь.

Когда очнулся, увидел у себя на груди черные распухшие пальцы, под ногтями торчали сломанные спички. Где я? Меня расстреливали. Я уже умер? Ощупал голову, но не нашел дырку от пули. Это меня поразило больше всего. Жив!

Настоящий немецкий порядок

В ОСВЕНЦИМЕ, как штрафник, я носил красный круг, нашитый на груди и на спине. Нас называли «флюгпункт» — живая мишень.

Штрафникам миски и ложки не давали. Обед мы получали прямо в шапки. Они были настолько засалены потом и грязью, что суточная порция баланды — четверть литра отвара нечищенной брюквы — почти не вытекала. Да и не успевала: мы ее мгновенно выпивали.

Больше месяца штрафники не жили. Нас выгоняли на минные поля: пробежал 125 метров и падай камнем. А на огневом рубеже стояли эсэсовцы и тренировались в меткости стрельбы из всех видов стрелкового оружия — парабеллума, карабина, пулемета, автомата. Каждый день выбивали примерно десятую часть штрафников...

В 1942 году лагерь с инспекционной проверкой посетил Гиммлер. Через специальный глазок от начала до конца проследил за тем, как в газовой камере погибают от «Циклона Б» две тысячи людей. Пообщался с узниками. Ради этого наш блок выстроили на плацу.

Я привлек внимание Гиммлера, потому что по ранжиру стоял крайним левым — как самый низкорослый. «Спросите у этого русского, за что он попал в штрафники», — приказал Гиммлер офицеру-переводчику. Я знал, что отрицать свою вину — значит озлоблять фашистов, ставить под сомнение их право наказывать. Решил опять сыграть роль наивного простака, который раскаялся в ошибках, совершенных по молодости и неопытности.

Узники ловили каждое мое слово, понимая, что судьба всех и любого сейчас зависит от прихотей грозного и всемогущего рейхсфюрера. Если бы я сказал что-то не то, погиб бы не только сам. Отправили бы в газовую камеру весь блок — две тысячи человек. Но, наверное, в те минуты мной руководило само провидение.

«Господин рейхсфюрер, разрешите ответить на ваш вопрос?» — сказал я по-немецки. Гиммлер изумленно шевельнул бровями: «Ты меня знаешь?»

— «Вас знает вся Германия!» — не моргнув глазом, выпалил я. «Откуда немецкий язык?» — «Изучал в лагерях, он очень мне понравился». — «Похвально, похвально... — сказал Гиммлер, и его непроницаемое, каменное лицо ожило. — Ну а почему же ты, такой сознательный рабочий, попал в Освенцим?» — «Я убежал из Германии». — «Не захотел работать?» — «Работал я хорошо, и немецкие мастера были довольны мной, но меня плохо кормили, и я убежал, надеясь найти лучшее место и лучшее питание».

По правую сторону от Гиммлера стоял генерал с безобразным асимметричным лицом. Это был Кальтенбруннер. Рядом — Шелленберг. По левую сторону от Гиммлера — Рудольф Гесс, а возле него штандартенфюрер с внешностью непорочной девы. К нему и обратился Гиммлер: «Слышите, Эйхман, этот гефтлинг (узник) искал райский уголок и нашел его в Освенциме. — И опять ко мне: — Ну и как, ты нашел то, что искал? Тебе лучше здесь?» — «Здесь не лучше, но здесь настоящий порядок, немецкий, — ответил я. — Каждый гефтлинг знает свое место, никто не смеет нарушать приказ. Ну и думать не надо — начальство за тебя думает». — «Ты хотел бы быть на воле?» — вдруг спросил меня Гиммлер.

Свобода? Из рук Гиммлера? По горькому опыту других знал, что гестаповцы и эсэсовцы даром ничего не делают. Они даже могут выпустить меня на волю, чтобы потом устроить пропагандистский балаган: мол, отчаянного преступника, большевистского фанатика перевоспитали национал-социалистические идеи, работа, и он получил свободу. Нет, такой свободы мне не надо. «Я искренне признателен вам, господин рейхсфюрер, но не могу воспользоваться вашим предложением. Хочу разделить судьбу своих соотечественников. Кроме того, до конца войны мне все равно, где работать на великую Германию».

«Посетители, будьте взаимно вежливы!»

ГАЗОВЫЕ камеры были оборудованы под баню. Но в заблуждение это могло ввести только тех, кого отправляли туда, едва сгрузив с эшелона. При газации старожилов Освенцима камуфляж был ни к чему: обмануть нас было невозможно. Однажды ночью мы были разбужены страшным криком, и на следующее утро узнали, что накануне не хватило газа и еще живых детей бросали в топки печей.

Второй и третий крематорий в Биркенау были самыми большими. Кроме главных входов они имели еще и черные, расположенные с тыльной стороны. Черный ход — это наклонный бетонный спуск без ступеней, который вел прямо в газовую камеру.

Нас, обреченных, привезли в это адское место на четырех грузовиках. Один из них с ревом развернулся. Возле меня прозвучал нечеловеческий вопль — у кого-то не выдержали нервы. Зондеркомандовец кованым ботинком ударил кричавшего по черепу, и вопль оборвался. Грузовик сдал назад, приблизившись задним бортом вплотную к каменной пристройке с распахнутой железной дверью.

Зондеркомандовцы прыгнули на землю, резко поднялся кузов, люди вперемешку полетели по крутому спуску прямо в газовую камеру. Я оказался в мешанине человеческих тел, но, к счастью, не повредил ни рук, ни ног. Груда шевелилась и медленно, словно густая жидкость, расползлась по большому квадратному ярко освещенному помещению.

Я выбрался из переплетения тел и встал возле бетонного спуска. Прижался к стене, зная, что грузовики будут разгружаться в той последовательности, в которой двигались по дороге к крематорию. И так, еще один самосвал. До начала газации не больше двух минут...

После невыносимого лагерного холода в газовой камере жарко, как в духовке. Оглядываюсь — под потолком висят душевые воронки, намного больше обычных, похожие на раскрытые дырчатые зонты. На белых стенах — лозунги на нескольких языках: «Дезинфекция!», «Душевая», «Соблюдайте порядок и чистоту!». И циничный призыв: «Посетители, будьте взаимно вежливы!»

Процесс длился не более 15 минут

ПОТОЛОК камеры подпирали несколько бетонных колонн. Между ними были две вертикальные трубы, оплетенные проводом, внизу дырчатые. Сквозь бетонный потолок и крышу газовой камеры эти трубы выходили на поверхность и там заканчивались герметичными клапанами, в которые эсэсовцы засыпали «Циклон», то есть кристаллизованную синильную кислоту. Она вступала в реакцию с воздухом и превращалась в сильнодействующий отравляющий газ.

Для отравления тысячи человек хватало одной банки «Циклона», причем этот процесс длился не более 15 минут. За четыре года освенцимские эсэсовцы получили 20 тысяч килограммовых банок кристаллов-убийц.

Кристаллы по трубам падали в газовую камеру, рассыпаясь сквозь дырки в трубах по бетонному полу. Вверх начинал струиться газ, который тяжелыми волнами расползлся вокруг, поднимаясь все выше. Обреченные приходили в неистовство, метались по всему помещению, затаптывая более слабых, стараясь убежать от смертоносных волн, рвали кожу лица, лезли на стены, сходили с ума. И гибли в страшных мучениях...

Несмотря на сверхсекретность, узники Освенцима, в особенности подпольщики, знали все о газовых камерах и крематории. Знали и мы. В газовой камере людей охватила дикая паника. Сотни полуживых ползали по бетонному полу, рыдали, зывали, истошно кричали, проклиная фашистских палачей. Это была ужасная агония фактически уже уничтоженных людей. Почти никто уже не имел сил подняться на ноги. Многие покалечились при падении на бетонный спуск. Сломанные руки и ноги, позвоночники, разбитые головы, зияющие раны...

Наверху заканчивалась разгрузка. Там произошла небольшая заминка. Пьяный в честь Нового года эсэсовец-шофер (дело было 31 декабря 1944 года) перекинул самосвал не точно над спуском, а немного дальше, и зондеркомандовцам пришлось вручную бросать в подземелье полсотни узников.

Прозвучало три коротких гудка. Я видел, как эсэсовец, заглядывавший в нашу душегубку через глазок, уже натянул противогаз. Пустили «Циклон»? Неожиданно погас свет. Люди замерли. Значит, конец. Минута

мучений — и все.

«Тихая ночь, святая ночь»

НО ЭТО БЫЛА воздушная тревога. Налет американских самолетов. Погасли освещенные полосы, прожекторы на сторожевых башнях, фонари на дорогах, лампочки во всех помещениях, фары автомобилей. Я понял, что обесточена и колючая проволока, которой был опутан весь лагерь.

В кромешной тьме я бросился вверх, к двери. Зацепился за трупы, споткнулся, упал, но поднялся и на карачках выбрался на воздух бесшумно, как белка. Помогло то, что был голый и босой...

И тут внезапно дали электричество. Я стоял, залитый светом, посреди пустой площадки. В шоке. А с вышки на меня уставился часовой, который только что в темноте пел рождественскую песню «Тихая ночь, святая ночь». Сейчас в меня ударят пули...

Я понял, что терять мне нечего, и почувствовал абсолютный покой. Но вместо пулеметной очереди услышал крик эсэсовца: «Эй, сумасшедший! Ты что здесь делаешь?» Отвечаю по-немецки первое, что пришло в голову: «Я решил прогуляться и поздравить вас с Новым годом». Он смеется: «Спасибо. А тебе не холодно?» — «На земле холодно, а на небе тепло». — «А где ты сейчас: на земле или на небе?» — «Между небом и землей». — «Чудесно! То есть ты висишь в воздухе?» — «Конечно. Вы ведь тоже висите в воздухе. Вы же на вышке». — «Ты кто?» — «Людвиг ван Бетховен». Почему так сказал, не знаю. «Откуда ты?» — «Берлин, Лейпцигерштрассе, 13», — называю адрес, услышанный от своего немецкого друга Франца Нордена четыре дня назад. «А чем ты занимался?» — «Фортепьянная фабрика Георга Гофмана». — «Как попал сюда?» — «Прилетел послушать «Тихую ночь, святую ночь». — «Понравилось?» — «Да, ведь пел ангел». — «А ты не боишься, что этот ангел выпустит в тебя небольшую очередь из этого симпатичного пулеметика?» — «Надо беречь патроны». — «Для чего?» — «Для решающего боя». — «С кем?» — «С Люцифером». — «Ну хорошо, Людвиг ван Бетховен, топай в барак и садись за рояль».

Мне надо было попасть в один из ближайших барачков. Но как проскочить сквозь ворота? И тут опять неправдоподобное везение: фашисты хлестали шнапс, встречая Новый год. Я на карачках прополз сквозь щель незапертой калитки и толкнул дверь барака в 15 метрах от

ворот. Заперта!

Всего бараков было 40. Прошел 12 — все заперты. Падаю в снег, чувствую, что замерзаю. Неужели конец? Вдруг вижу — из дверной щели 13-го барака на мороз вырывается пар. Туда спрессовали тысячи три человек. Пробрался внутрь, нащупал в проходе возле четырехэтажных нар только что умершего узника (их сбрасывали с нар, чтобы освободить место спящим вповалку тысячам тел), натянул на себя его одежду и обувь. Втиснулся между спящими на первом ярусе и провалился в бездну...

Когда Гитлер пришел к власти, немецкая компартия насчитывала пять миллионов членов. Никто из историков не интересовался, куда они делись? Гитлер их держал в лагерях и «воспитывал». Многие подписали бумагу: «Фюрер — наш вождь». В лагерях остались одиночки.

50 кг женских волос стоили 50 марок

В ОСВЕНЦИМ советские танки пришли 27 января 1945 года. Но меня к тому времени переправили в другой лагерь смерти — Маутхаузен. Немцы понимали, что дело швах, мотались взад-вперед на машинах, наскребли два паровоза, погрузили в вагоны 2819 человек — ветеранов лагеря, почти все освенцимское подполье.

Основателя подполья Эрнста Бургера привезли в Освенцим в ручных и ножных кандалах, но сразу не расстреляли и не сожгли. Его и вождя компартии Германии Эрнста Тельмана уничтожили только осенью 1944-го.

Эрнст Бургер был очень образованным человеком. Его поставили руководить освенцимской канцелярией. Там же работал и Юзеф Циранкевич, один из авторитетных руководителей подполья. Когда после войны я рассказал об этом в прессе, Циранкевич от меня отвернулся. Я написал ему несколько безответных писем. Может, их перехватили спецслужбы. Он ведь вернулся в Польшу и стал премьер-министром, ему создали имидж великомученика. А он в лагере жил в роскоши: ходил в лаковых сапогах, наглаженный, чистый. Правда, проводил огромную работу.

Кстати, все они получали посылки Международного Красного Креста — 10 килограммов деликатесов в месяц. Плюс родственники имели право присылать вещи и еду.

Существовали и лавки, где можно было отovarить выданные за выполнение плана талончики. Имелось все необходимое, кроме спиртного и курева (для эсэсовцев и их приспешников — даже бордели).

Аушвиц — самая большая тайна фашизма, потому что это был лагерь уничтожения — фернихтунглагер. По инструкции Гимmlера за шесть месяцев из узников выжимали мускульную силу. Вся их еда — черпак баланды. А потом — газовая камера.

Два дежурных врача осматривали заключенных, прибывавших эшелонами, и принимали решение: пригодных к работе направляли в лагерь, остальных же немедленно посылали на фабрики истребления. Маленьких детей убивали всех: они не могли работать. То же делали с женщинами-узницами, забеременевшими в борделях. Если дитя успевало родиться, его тут же уничтожали.

В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки, гистологические лаборатории...

В 10-м блоке лагеря содержались одновременно до 400 заключенных-женщин. Над ними производились жуткие опыты: их стерилизовали, облучая рентгеном, потом удаляли яичники, прививали рак шейки матки, убивали детей в материнском чреве и вызывали искусственные роды на разных сроках беременности.

В 21-м блоке производились массовые опыты по кастрации мужчин после облучения рентгеновскими лучами. Этим занимались профессор Шуман и врач Деринг. У детей забирали всю кровь, чтобы потом переливать ее немецким солдатам. Перед ликвидацией узникам вырывали золотые коронки, снимали искусственные челюсти. После того как тела были превращены в пепел, его просеивали снова в поисках золота. Главный «дантист» Освенцима Фельдман за четыре года превратил в слитки более восьми тысяч килограммов золота из зубов жертв. Золото каждый месяц посылали в Центральный институт охраны здоровья!

Немцы — народ практичный. Из костей в специальных дробилках делали щебенку, которой в Биркенау, построенном на болотах, укатывали все дороги между секторами. Делали насыпь высотой в полтора метра, трамбовали, добавляли битум для стяжки.

Пепел шел на удобрение немецких полей. Одежду, обувь, белье, очки, детские коляски, даже костыли и протезы рук и ног складировали для нужд Третьего рейха. В Берлин шли по 20 вагонов с вещами в сутки. Только за полтора месяца — с 1 декабря 1944 года по 14 января 1945 года — в Германию было отправлено 192 652 женских платья и 222 269 мужских костюмов.

Женщинам срезали волосы, сортировали и паковали в тюки по 50 килограммов. На них стояла цена — 50 марок. Как оказалось, морской канат, сплетенный из женских волос, в семь раз прочнее стального, к тому же не ржавеет. Еще делали войлочные прокладки под станки для устранения вибрации и шума, седла, чуни для солдат, воюющих на Восточном фронте. Ну и парики, конечно.

После войны одна американская миллионерша, путешествуя по Западной Германии, купила красивую девичью косу и послала своей дочери за океан. Через несколько лет эта же миллионерша побывала в Освенциме и среди экспонатов музея увидела косы сожженных фашистами девушек. Туристка потеряла сознание и в тот же день телеграфировала

дочери, чтобы та сожгла подарок. Говорю вроде бы о вещах общеизвестных, но сейчас об этих зверствах мало кто помнит.

Театр абсурда

ПОЧЕМУ после лагерей меня не упекли на Колыму, как поступили с большинством тех, кто был в плену? Опять повезло. Я всего четверо суток просидел в Смерше. Но меня спас земляк-генерал — он оказался из Сквиры.

Может, крамольные вещи скажу как участник заключительных боев Отечественной войны. Мы, победители, боялись друг друга — в каждом взводе на 35 человек было по три стукача.

Мог бы остаться в армии, но я, фанатичный человек, хотел стать таким же сильным, как до войны. Занимался спортом, ходил зимой на лыжах в одной майке, купался в проруби. А в армии кормили ужасно плохо. После войны пехотная норма питания номер два была на 100 калорий меньше, чем получали узники советских концлагерей.

Как-то один солдат на политзанятиях встал: «Рядовой Серошапка. Разрешите обратиться. Скажите, пожалуйста, почему мы всегда голодные?» Начальство аж взвилось: «Как вы смеете! Это душком антисоветским пахнет. Еще Суворов сказал: русский солдат должен быть худым, но выносливым. У нас полно мяса и масла, но это вам не откорм свиноматок! А если начнете языком молоть, у нас есть штрафбаты». Вот такие были порядки в сталинской армии.

Несколько раз ко мне прилетал лауреат Ленинской премии писатель Сергей Сергеевич Смирнов. В последний — уже смертельно больной. Лицо белое, как мука. Рак на последней стадии...

Так вот, Смирнов пробился к самому Брежневу, просил представить к правительственным наградам меня и двух старших лейтенантов, переживших ужасы плена.

Зашел Смирнов в кабинет, а там в кресле, как император, восседает Брежнев. Вокруг стоят начальник Главного политуправления Советской Армии и Военно-Морского Флота Епишев, члены Политбюро Гришин, Суслов, еще человек семь. И секретарь.

Леонид Ильич прокашлялся и вещает: «Дорогой Сергей Сергеевич, вы настоящий герой-ветеран, коммунист, фронтовик. Вот вы опять принесли представление на трех человек. А вы задумывались, нужно ли это партии? В Уставе нашей армии

сказано: «Ничто, даже угроза гибели, не должно заставить советского воина-патриота оказаться в плену». А тут три года шлялись по Германиям... У молодых воинов в армии начнется брожение: «Если случится ядерный удар, зачем мне жизнью рисковать? Люди же сдались в плен, а потом стали героями, награждены. Чем я хуже?» Вы разрушаете всю нашу идеологическую воспитательную систему!»

Смирнову даже присесть не предложили. Когда ему дали слово, он попытался объяснить свою позицию: «Я должен сказать, это мой святой долг. Во-первых, Бойко не коммунист». Суслов: «Ах, еще и беспартийный!» И руками замахал. «Да, беспартийный. Но он — легенда, символ борьбы. Совсем мальчишкой стал членом подпольной освенцимской организации. Его многократно перебрасывали из одного блока в другой, чтобы местные гестаповские стукачи не капнули, где он. Вадим Бойко не принимал присягу, как красноармеец, не давал клятву партии, как коммунист. Он боролся по зову своего сердца. С первого дня оккупации совершал диверсии в Сквире».

«Товарищ Смирнов, — прогундосил Брежнев. — Мы вас очень ценим, но надо прекращать эпидемию ваших выступлений. Хватит будоражить народ неизвестными героями. На будущей ядерной войне (не дай Бог, она стряется) нам будут нужны тысячи таких, как Матросов, а не таких, как этот... как его... ваш Бойко. Но вы много сделали и на фронте, и после войны. Поэтому мы награждаем вас орденом Дружбы народов». Выносят орден и цепляют Смирнову. Театр абсурда.

Божественная рука

ИСПЫТАНИЯ, выпавшие на мою долю, привели меня к глубокому убеждению: никакой самый мудрый, сильный, удачливый человек не смог бы в одиночку пройти сквозь тысячу смертей. Меня вела Божественная рука. Я стал глубоко верующим человеком. Кстати, эта Божественная рука соединила меня с моей глубоко верующей женой Капитолиной. Она ушла из жизни прошлой весной.



Капа была младшей в семье. Ее родителей раскулачили. Видела она их в последний раз в семилетнем возрасте. Воспитывалась в приюте. Получила образование, работала на военном заводе. Вышла на пенсию начальником крупного цеха. Производство сверхсекретное, а она беспартийная. Но, когда ее пытались за это уволить, начальник-генерал сказал: «Сначала увольняйте меня, лучше Капитолины никто не справится».

За два года до пенсии стряслась с ней трагедия. В цехе были высокие, под потолок, стеллажи. На них стояли ящики с деталями. А за стеной работали 40-тонные прессы. От постоянной вибрации ящики медленно сдвигались к краю стеллажей. И однажды, когда Капитолина шла по проходу, с верхнего стеллажа упал ящик. Кто-то успел крикнуть: «Берегись!» Она пригнулась. Удар пришелся по спине, но по касательной. Не убило. Но были компрессионные переломы позвонков.

Ровно год она пролежала в гипсовом гробу. От пролежней тело гниет. Гипс разрезают, моют раны спиртом и опять гипсуют. На пенсию оформили инвалидом второй группы. Нас свела судьба уже после несчастья. Я понял,

что этот человек тоже очень много страдал.

Вадим Бойко

мастер спорта по стрельбе и акробатике.

1954 г

Побеседовали мы с ней минут пять, глядя друг другу в глаза. Говорю: «Вы многострадальная, и я многострадальный. Давайте соединим наши судьбы». Было мне тогда 59 лет, а ей 61 год.

А первая любовь у меня была трагическая. Всю жизнь я любил одну женщину. И сейчас люблю. Когда она вышла замуж, даже хотел броситься под поезд. Прихожу на станцию, себя не помня. Встал на рельсах и жду. Вдруг, откуда ни возьмись, какой-то мужчина. За руку меня схватил, на платформу рывком поднял, в глаза смотрит, не отрываясь, просто прожигает насквозь взглядом, и говорит: «Ты не такое пережил. Переживешь и это. Только через страдание приходят к истинной вере». И буквально втащил меня в вагон как раз подошедшей электрички.

Пришел я в себя немного, полез в карман — там 10 хрустящих 100-рублевых дореформенных. Хотя денег не было совсем. Оглянулся по сторонам — незнакомца нет. А электричка до следующей станции еще не доехала...

http://www.aif.ru/online/longliver/59/18_01

«АиФ Долгожитель» N 23 за 2004 г.

OCR и вычитка Инклер.

Последние изменения внесены 22 мая 2006-го года